



Михаил Лоскутов
СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ

ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ



ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ • ПУТЕШЕСТВИЯ •
ФАНТАСТИКА

Leo
2018

МИХАИЛ
ЛОСКУТОВ
**СЛЕДЫ
НА ПЕСКЕ**



Рассказы о пустыне
и дорогах





*Советский автомобиль впервые появился среди
горячих песков пустыни*

ШАГИ НА ПЕСКЕ

Черные пески вели себя так же, как тысячу лет назад. По вечерам ветер шумел на фантастических барханах и тогда в темноте песок тихо пересыпался, как на невидимых ладонях. Днем барханы стояли ослепительными сугробами и одна сторона их была покрыта неподвижной зыбью, точно морщинами... Но все это уже не могло скрыть кое-каких перемен. Признаки перемен можно было увидеть повсюду. Нужно было только суметь разглядеть их.

В июне 1930 года мы получили первые уроки пустынного мореплавания в тесной кибитке у колодца Иербент.

Уполномоченный Туркменшерсти сидел в пустыне Кара-Кумы, в кибитке, на кошме. Босой ногой уполномоченный водил по горячей золе и рукой доставал из миски горсточку риса.

— Вы знаете, что такое пески?

— Мы не знаем и откровенно признаемся в этом.

— Я живу в них не первый год, — говорит уполномоченный и смотрит на нас. Потом неожиданно добавляет: — И я тоже их не знаю... Вы видите, что сегодня там делается?

Мы смотрим на тряпку, закрывающую низкий проход в стене кибитки. Ее жестоко рвет ветер, она надувается внутрь кибитки, как парус. Ветер в пустыне свирепствует. Там, за барханами он ворчит, как голодная собака. Издали видно, как он сдувает раскаленный песок с гребней барханов и несет его по воздуху.

— Сегодня за ночь он заметет все. Он работает, как хорошая вьюга. К утру от вашей дороги не останется следа. Завтра вы с успехом можете погибнуть в полуверсте от колодца. Но самое любопытное: после вас пойдет туркмен и найдет дорогу. Он сумеет гулять за сорок и пятьдесят километров, один без компаса и карты, без фляги и без верблюда. Пустыня? Он будет ходить по этой пустыне, как по географической карте. Да, они могут читать на песке, как в адресном справочнике!..

Уполномоченный тянется за рисом и на минуту умолкает. Ветер шелестит над юртой.

В том году на Верблюжьей тропе произошли большие события. До этого спокойно протекало несколько столетий.

Мерно звенят колокольцы караванов. Караванщик спокоен. Да и понятно. Все идущие через пустыню имеют шаги. И все шаги различны и детально изучены. Человек ступает на пятку. Верблюд ходит очень тяжело, выдавливая копытом ямы. Ящерица бежит по песку легко, на цыпочках, как балерина. Разве что-нибудь может не иметь следов? Что за чепуха! Это даже смешно.

След! Вот великая сила в песках. Человек, живущий здесь, не сможет даже представить что-либо на свете, что не имело бы следа. Это все равно, что не иметь тени.



**Человек пытался
спрятаться от солнца в тени
своего ишака...**

Песок—это большое рассыпающееся под ногами зеркало. Никто не ступит ни шага, чтобы не оставить на песчаном сугробе следа. Бросайся он вправо, влево, назад, убегай от собственной тени, но за ним сейчас же побегут следы. Вся жизнь видна на песке. Вот здесь полчаса или час назад пробежала большая свирепая ящерица зем-зем, а за нею гнался человек. Еще раньше здесь вертелся каракумский заяц, он н

следил и скрылся за кустом. Все большие и маленькие трагедии пустыни регистрируются на песке, как в судовом журнале. И только один ветер, вдруг, в один миг спутает все карты и очистит скатерть для новой игры.

Но ветер не сметет большой Верблюжьей тропы. Знающий караванщик всегда отыщет остатки следов. Наконец есть еще на небе звезды. Они не качаются от ветра и их не засыпает песком. Путь по звездам и путь по пескам. Так родились две тысячелетние науки пустынных стран.

Караванщик может быть спокоен. Он знает и другое средство. Всюду белеют на пути узкие тряпочки — это предшественники указывали дорогу. Тряпочки валяются в ямках, привязаны к ветке саксаула, к палке, к остову мертвой черепахи. И если бы туркмен-

кочевник мог привязывать тряпочки к звездам, то на них давно бы болтались ленточки...

Но вот на Верблюжей тропе в первый раз за столетия появился новый след.

Откуда он? В страну песков рвался кто-то неведомый. Наверное, он огромный и с большими лапами. Он прошагал от границ пустыни до самых Сорока холмов. До сих пор все следы были разложены в памяти, как на полках библиотеки. Зем-зем оставляет треугольные следики, джейран, газель пустыни, — разделенные печати копытец. Навозный жук имеет тройной след, так как между лапок он тащит хвост. Но этот новый след не похож на все известные до сих пор. Две широкие полосы протянулись по песку. На каждой полосе поперек отпечатаны палочки, как бы елкой. Можно подумать, что две невиданных размеров змеи полз и все время рядом, стараясь держать одну и ту же дистанцию.

Тогда еще никто из местных старожилов не знал, что лапы, оставившие след в елочку, были сделаны из прочной и толстой резины. Они имели марку «Красный треугольник».

Мы пожимали эти честные советские лапы уже позже. Пожимали их, чтобы узнать, как они над ты воздухом. Автомобили «Рено-Сахара» провели крепкую зарубку через пески. То был двенадцатый или тринадцатый рейс на резиновых лапах к сердцу Кара-Кум.

В котловине у серных сопок, в центре Песков за 250 километров от их границ люди строили дома, копали глубокие ямы. Сотни караванов везли туда баки, муку, гвозди, колеса, проволоку. Люди катались на жестких неудобных спинах верблюдов, отставали в дороге, обжигали лица о горячий воздух, жадно пили у колодцев воду и мчались дальше, к Серным холмам.

Верблюды падали по дороге. Они не могли вытащить груды широких досок, поставленных на железные колеса. Поц лавину

досок, из которых каждая стойла по 70 рублей, пришлось бросить в пустыне. Серые чудовища авто на шести колесах несколько раз осиливали барханы, хрипя и кашляя над песками, как простуженные.

А звездными ночами по всем тропам от Тенжена и Ашхабада, от Бохардека и Геок-тепе мчались всадники к сердцу Кара-Кум. Днем взмыленные лошади отлеживались в тени кибиток, а с вечера, хрипя и подрагивая во тьме пустыни, мчались дальше.

Машины «Рено-Сахара» провели глубокую борозду по горячим пескам Кара-Кум. Так была подведена черта старой истории пустыни. Начинаясь новая история В пустыне запахло бензином и машинным маслом.

К колодцу Бохурдок машины спешно подвозили мешки с цементом. Здесь их клали на верблюдов и мчали дальше к Северной долине. Посреди песков вдруг выросли два каменных домика. У домика в центре появился милиционер-туркмен, с красными петлицами, с винтовкой на ремне. Над сопками взметнулась высокая мачта. Появились ящики первой коротковолновой радиоустановки. В тесной землянке человек с наушниками возился над блестящими рычагами и вскоре смог уже передать первую депешу в далекий цивилизованный мир.

Как появились первый европейцы в долине Сорока холмов? Зачем люди расковыряли все сопки, одну за другой, и после этого спешно начали рыть ямы и строить землянки?

Лет через двадцать все это уйдет в туман. Каракумский ветер сметет эти следы и раздет по воздуху. В памяти останутся только слабые очертания наиболее значительных этапов борьба с пустыней.

Вот, например, первый поход двух шестиколесных машин по нетронутым пескам. Тогда еще на сопках ничего не было. Две машины брели по пустыне, затерявшись в бесконечных кустах

саксаула. На одной из машин ехал пожилой ученый, неутолимый человек, академик Ферсман. Это была необычайная экспедиция. Машины шли, точно пьяные, дороги никому не были известны. Люди в автомобильных очках, с кожаными сумками, ориентировались в песках по звездам. Караван вышел к холмам, содержащим в себе серу. Потом он ушел в противоположную сторону, на Хиву. Автомобили пересекли пустыню. Это было сигналом к наступлению.

В следующем году на тропах уже копошились люди. Человек поднялся в поход на пески. В следующем году мы на тех же машинах везли не измерительные приборы, а котлы для серного завода.

... Лет через двадцать там, где брели две смелые машины, будет уже хороший шоссе́нный путь. Будут выстроены станции, гаражи, водопровод. Серная котловина оденется камнем и электричеством. Время унесет из памяти лица первых строителей поселка. Косматая борода Василия Ходова, главного инженера, странного всклокоченного человека с разметанной по ветру судьбой. Широкая спина и красное полное лицо старшего механика Куприянова. Серьезное лицо директора Марли-Мурада с туркменской головой и черным взглядом. Его все называли просто Марли. Они не будут больше носиться среди канав, лесов и землянок. Громадная папаха Марли не будет чернеть на склонах холмов, как в далекие дни постройки завода.

Никто из них не был героем. Прибитые разными ветрами к холмам в беспредельных песках, они делали первые шаги «социализма в пустыне». Так называли смелую мысль — дать туркменскому кочевому народу индустриальный центр.

Каменщики, землекопы, кровельщики, плотники, ехали на высоких верблюдах. Обвязав лица рубахами, они прорезали километры раскаленного воздуха, дальше, дальше к серным

буграм. Новые люди наполняли долину голосами, согревали ее дыханием. Врытые в склоны холмов землянки стали тесны и в середине поля был сложен первый дом из белых камней, с желтыми прожилками.

Это была сера.

На склоне одного холма рос корпус завода. Не хватало домов для жилья. Нужны были каменщики. Каменщиков!.. Серная долина кричала ночью по радиотелеграфу в большой, оживленный и далекий мир.

И каменщики шли. Караваны выбрасывали новые партии рабочих на остров в пустыне.

Весть о серном заводе прошла от Ашхабада до Самарканда и ползла выше. На запад она прошла через Каспийское море и толкнулась в Баку и Тифлис. В котловине появились армяне, грузины, туркмены, русские, персы.

Просыпались в пять и работали до десяти. Потом приходили жара и ветер. Люди отходили назад, как на пожаре, при наступлении огня. Пустели каменоломни и постройки. В три часа солнце падало вниз и люди снова набрасывались на камни.

... И когда первого мая люди собрались вместе на недостроенной стене и водрузили мемориальную доску, а потом с красным флагом прошли из пустыни вниз, в долину, — на диких холмах был уже настоящий, большой поселок.

Двести человек, брошенные в сердце песков, в пять часов утра просыпались на далеком и хмуром острове. Двести человек поднимались на склоны сопок. Пески были еще холодными и в сером ночном тумане колкий ветер лизал человеческие лица. П сок хрустел на зубах. Стучали мотыги. Двести человек пели на разных языках. Но песен хватало только до шести вечера.

С вечерним колоколом начиналась жуть. С востока, с запада, с юга, с севера подползала тьма к домикам, не заметно обхватывала их и начинала давить. Тогда люди начинали с страшной четкостью видеть, что есть только эти домики и они, двести человек. Вверху, на гребне сопки бешено качался фонарик метеорологической станции. Ученый человек в пальто бежал по гребню, чтобы посмотреть на крутящиеся шары и поскорей скрыться от ветра. Кругом была темная пустыня.

Иногда казалось, что крепкие, загорелые люди дрогнут, бросят мотыги и уйдут, оставив долину ветрам.

Они молча сидели, глядя на огни. Выйти за дверь — означало выйти в пустыню. И с наступлением темноты мало кто выходил на улицу. Иногда вдруг заговаривала гармоника. Вокруг собирался кружок утомленных людей. Но гармошка еще сильнее подчеркивала тоскливое однообразие обстановки. Она вдруг застенчиво замолкала. Утром каменщики и землекопы обступали директора, махали кулаками и на всех языках твердили одно слово:

— Караван,

— Когда же пройдет он, обещанный караван, который заберет очередную партию возвращающихся из песков? Где он? Что с ним? Где его носят черти, по каким тропам он спотыкается, этот долгожданный и проклятый караван? Нам нет никакого дела, вы должны выполнить договор и доставить нас обратно. Если нет каравана, подавайте нам машину! Люди не хотят сидеть здесь и строить этот проклятый дом на песке. Из вашего серного завода ничего не выйдет, он лопает людей и деньги, точно верблюд листья. Нам наконец нет дела до вашего завода, до вашей пустыни.

На суровом, черном лице директора сдвигаются скулы. Директор снимает тубетейку и надевает ее на голову. Он смотрит на бледные лица армян, русских, поляков, но не видит их. Он

видит за их спинами будущий завод, блестящий, сверкающий в песках. И человеку в тюбетейке на миг становится не понятно, почему они, европейцы, не видят того, что видит он — потомок кочевника. Он еще раз снимает тюбетейку и спокойно пожимает плечами. У директора такой вид, будто караван спрятан у него в кармане и ему нужно только вынуть его оттуда и положить на стол.

— Все в порядке. В чем дело? Завтра будет.

А ночью коротковолновик шлет в Ашхабад нервные телеграммы. В чем дело? Где же караваны, куда они пропали, чёрт возьми!.. Так невозможно работать.

Говорят, что идти в пустыне не так уж страшно и одному. Нужно только запастись водой и не есть соленого. Главное — пить реже. Все говорят. Но никто не пробовал. Решился только один счетовод. Он не выдержал. Он смеялся и шил брезентовый мешок. Он плевал на все. Не так страшен чёрт, как его малюют.

— Я обойдусь без ваших караванов!

Ушел счетовод на рассвете. Спереди шел ишак, сзади счетовод. Солнце выходило из-за барханов и пригревало песок. Сзади, за песчаными буграми, скрылись сопки. Впереди был день, песок, саксаул. Еще дальше, где-то впереди, был колодец. До колодца должно было хватить воды в бочонке. Все рассчитано, как в балансе.

Но счетовод в первый раз ошибся.

Ноги сделались тяжелыми, как в гипсе. От этого человек задыхался. Пот стекал с носа, с ушей, с прилипших волос. Нужно было стараться, как можно меньше пить. Появлялась только одна тревожная мысль, она была пока очень глухая, не ясная: воды все-таки не хватит. Счетовод знал, что это означало конец. Больше пяти минут нельзя быть без воды. И когда все-таки приходила эта мысль, то пить хотелось еще сильнее и пот выступал сразу на всем теле.

Не следует волноваться и спешить. Нужно бы почаще отдыхать в тени. Но ишак дает досадно мало тени. Человек кладет голову в тень ишака, а сам остается наружи. Почему проклятая природа дала ишакам такое узкое тело и жиденькие ноги? Они совсем не дают тени. И кроме того ишак тоже требует воды. Нужно его лишить этого удовольствия.

Счетовод снимал бочонок, прикивал к нему горячими губами, ишак смотрел на него добрыми, измученными глазами, как нищий, просящий подаяние.

Счетоводу стало жалко оставленного поселка и людей. Он побежал. Он не должен был бежать и он наверное знал это, но он не мог идти. Ноги в последний раз зацепились за бугор. Здесь на песке счетовод подвел итоги своим ошибочным расчетам.

Он лежал на песке за километр от колодца без сознания. Потом он говорил, будто его кто-то разбудил и крикнул, что колодец находится недалеко. Он поднялся и почти без сознания добрал до колодца. На губах у него запеклась кровь...

Высоко на верблюдах покачивались каменщики, плотники, землекопы. Они прибывали на серный завод и сменяли бежавших, уверенно и весело становились на работу. Человечество посылало на смену ушедшим новые шеренги пионеров. Одни ехали, чтобы подвигать пески, другие — чтобы поддержать редкое дело, третьи приехали за длинными рублями. Говорят, что каменщики вырабатывали свыше двадцати рублей в сутки. Весть о каракумских рублях схватывала людей, как золотая лихорадка. К сопкам съезжался разный народ, с неизвестным прошлым и неизвестным будущим, случайно прибитый к песчаным берегам.

Началось с картежа. Первая колода карт, появившаяся в Кара-Кумах, упала на свободные деньги, на тоскливые вечера, на золотоискателей. В поселке появились признаки болезни. Ночью при фонарях в центре пустыни Кара-Кум шла бешеная игра.

Потом еще был случай с одним человеком, который случайно стал поваром. Ехал он на завод, чтобы стать всем, чем хотите — водоносом, стекольщиком, киномехаником. Так как он был человеком без специальности, то он стал поваром. Он варил очень скверную бурду, но это не помешало ему сколотить восемьсот рублей. Такая сумма ему редко даже снилась, и он решил уехать с ней к огням большого города. Ехали в авто. С рабочими мчался в Ашхабад директор Марли-Мурад. Тяжела пустынная дорога. В дороге рабочие вынули картишки и начали потихонечку перекидываться. На одном из барханов машина влезла в песок, захрипела и стала. Пока шофер, обмазанный маслом, лазил под колесами, парни сели в кружок под кустом и вынули колоды — играть всерьёз. Повар полез за своими деньгами. Когда приехали в Иербент и пошли к лавчонке, повар подошел к шоферу и попросил одолжить ему... две копейки на спички.

Черный вспотевший шофер взглянул на Марли. Тот сжал кулаки. Шофер коротко сказал:

— Если вы, с-сукины дети, не вернете ему денег, мы бросим вас в песках!

Парни посмотрели на шофера, потом на Марли. Через минуту повар получил обратно свои деньги.

Водка была строжайше запрещена в серной долине и ввоз ее строго карался. Контрабанду душили, как маленьких, ядовитых каракумских змей. Но это вызывало небывалое повышение цен на алкоголь. За бутылку, привезенную неведомыми путями, платили 30 рублей. Пили одеколон.

Дело в том, что в долину пришло много чужих людей. Это было, как наводнение. В трудовой коллектив шли темные люди. Обстановка становилась нездоровой. И в этой атмосфере сгустившихся газов мог во всякую минуту произойти взрыв.

Тогда произошло событие, которое взволновало все Кара-Кумы. Кочевники передавали от кибитки к кибитке весть о преступлении, совершенном близ колодца Кзыл-Такыр. Случись это преступление в большом городе, оно затерялось бы между громадами этажей в уличном грохоте. Но здесь оно сразу привлекло внимание всех людей.

Замки на дверях конторы оказались взломанными и из кассы исчезли все деньги.

Когда на плывущем в океане корабле или в далекой экспедиции совершается преступление, люди прекрасно знают, что его совершил один из них. И дальнейшее путешествие они вынуждены совершать рядом с вором, разговаривать с ним, может быть работать с ним и не знать его. И тут это незнание еще больше подчеркивало загадочность преступления, нервировало, лихорадило головы.

Механик Куприянов, полный и коренастый, перебежал от землянки к землянке, проходил между рядами заскорузлых тужурок и загорелых лиц. Не нужно было показывать никакого волнения и делать вид, что ищешь гайку. Механик вглядывался в пыльные лица молчаливых людей, провожавших его глазами. Серьезные, улыбающиеся, хмурые, молодые, старые, злые и приветливые, но какие все новые, поразительно новые лица! Механик вдруг увидел, как мало осталось знакомых лиц. Понемногу исчезли все старожилы, с кем вместе начинал он ковыряться в этих камнях. Как много появилось новых, чужих, неизвестно откуда появившихся людей! Они размешивали цемент, выючили верблюдов, просто сидели на камнях, жевали завтрак и смотрели вслед механику, усмехаясь или разговаривая. Может быть среди них есть хорошие рабочие, славные парни, неплохие товарищи. Но ведь, кто-то из них совершил первое преступление,

и для того, чтобы не было второго, нужно во что бы то ни стало ликвидировать первое.

На колодец Бохурдок было отдано распоряжение — тщательно обыскивать всех, уезжающих из пустыни. Расчет был верен, кто-то в конце концов вывезет деньги из песков. Ведь не для того он их взял, чтобы зарыть навеки в песках.

Только из этого ничего не вышло. Загадка осталась загадкой. Время шло, оно затягивалось петлей. Были приняты всевозможные меры, никаких результатов. Кто взломал замки? Может быть кассир? А может быть доктор, радист, каменщик, каждый из двухсот человек?

Вдогонку механику бросали колкие смешки. Широкая спина механика не поворачивалась.

Вечером к директору пришло несколько человек из группы местных туркмен, работающих на заводе. Они снимали шапки и размахивали руками перед лицом директора. Но тот сам знал все. Когда тьма спустилась на долину и ветер закачал фонарик метеорологов на гребне, было принято окончательное решение.

Зорек глаз у кочевника. Он прекрасно знает, что происходит на песке. Ему для этого достаточно взглянуть на пески, так же, как доктору на язык больного.

Жизнь в песках наделила туземцев особым искусством, которого нет у бледных людей, живущих среди высоких домов и каменных мостовых. На асфальте ничего нельзя читать. Но народ, живущий на песках, передавал из поколения в поколение редкое искусство — читать отпечатки ног и пальцев. Среди этих людей еще и в наше время бродят в глубине песков великие виртуозы этого искусства. Их называют следопытами. Они могут разбираться в сложнейшей мозаике отпечатков на песке, как в линиях собственной ладони.

Каждый туркмен должен знать след своего верблюда. И если у него пятьдесят верблюдов, то он должен знать пятьдесят следов, потому что верблюды пасутся сами, одни уходят в пески, куда хотят. Но все они связаны с хозяином нитками своих следов и ему, ничего не стоит найти их. Бывает так, что верблюдица уходит надолго одна, а возвращается с целым стадом молодняка. Тогда хозяин по верблюдице узнает, что это стадо принадлежит ему.



Старый туркмен заставил людей пройти по песку и внимательно разглядывал их следы...

Он узнает по следу, где шел молодой верблюд и где шла его мать. Скажет по следу — сколько лет верблюду, проходившему здесь. Знает, где шел кривой верблюд и на какой глаз он кривой.

Если шло по песку несколько человек, то он скажет—были ли среди них европейцы и сколько.

Высокий человек, в высокой бараньей шапке, пришел в долину. Его провели в контору. Это был следопыт, живой следопыт, потомок следопытов. Его не звали—Орлиным глазом и был он босой и обычный. Тогда на заводе никто не подумал о том, как затейливы великие пути нашей переходной эпохи. Они проходят через индустриальные аванпосты XX века и через страны ушедших веков. Следопыту подали табуретку и коротко объяснили в чем дело.

Туркмен покачал головой, потом прошел к взломанным замкам и нагнулся над землей. Там на полу он нашел пыль и остатки следов. Потом он сказал что-то, что на его языке означало — все в порядке.

Следопыт велел собрать всех людей, всех, сколько есть, больших и маленьких, старых и молодых. Люди выходили в долину, на песок, покачивая головами. Может туркмен вздумает у всех рассматривать пятки?

Двести человек стали на песке. Потом туркмен велел им пойти. Они пошли по песку, затем он вернул их обратно. Ловкими босыми ногами следопыт ходил между следами и осматривал их. Потом он разделил людей на две половины и одну из них опять провел по песку. Затем из этих он отделил новую группу. Группа все уменьшалась, Круг сужался как петля. К вечеру два человека были арестованы. Один из них был счетоводом, а другой рабочим,

Поселок молча провожал следопыта. Тот спокойно и уверенно пошел за холмы и вскоре скрылся в горячей пыли, пронизанной заходящим солнцем, за буграми, в бесконечных песках, из которых он появился. Закат освещал долину и людей, стоящих там, — загорелых, черных, в заскорузлых тужурках. Они были старые, молодые, хмурые, веселые, дикие и умные. Это было

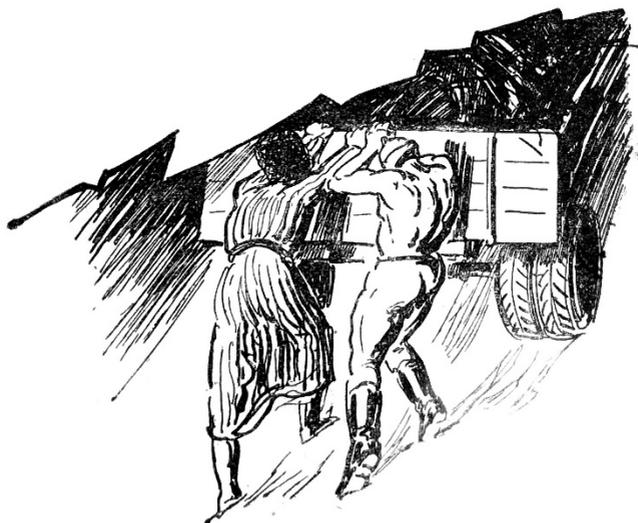
сырье. Это была толпа, на плечах которой подымался и вырастал будущий завод. Это били крупницы коллектива. Их нужно было только размешать и отобрать зерно к зерну,

Когда мы приезжали на завод, там уже зарождались партийная ячейка и профсоюз. В комсомольскую ячейку входили три молодых туркмена из кочевников. Поселок развиваясь шагал дальше...

Позже, в Иербенте, уполномоченный Туркменшерсти открыл нам некоторые тайны пустынного искусства. След европейца и след туркмена различить нетрудно: европеец ступает непривычно, носком и пяткой. Подошва же туркмена ступает вся, ровно и сразу. То, что шел кривой верблюды, можно видеть по веткам саксаула. Он скусывал листья все время только с одной стороны, там, где видит его единственный глаз.

— Но в песках есть еще много таких тайн, которых я не знаю. — сказал уполномоченный. — А может быть их никто и никогда не узнает. Это тоже бывает в истории.





Ночью и днем через песчаную пустыню Каракумы, из Ашхабада к шерному заводу, идут автомобили. Они идут по шесть машин в колонне. Они движутся через колодцы Бохордок, Мамедяри, Иербент к центру пустыни. По шесть машин в колонне, чтобы помогать друг другу запасными частями, шинами, инструментом, запасной водой и запасными людьми. Они движутся друг за другом по узенькой дороге, укрепленной фашинами и грунтом. Это первая автомобильная дорога в сыпучих песках. Она слаба и часто портится, осыпается под колесами. Машины буксуют, ломаются, застревают в песках и отстают от колонны. Их перегоняют новые и новые автомобильные караваны.

Песок, пропитанный маслом, старые шины и бидоны, валяющиеся на песчаных барханах, бензиновые бочки рядом с пустынными колодцами... Мимо километровых столбов и

сломанных машин за двести пятьдесят километров, туда, где в центре пустыни горят огни электрической станции завода и где неподалеку от первого уже вырастает второй такой же завод; вот и привычны уже стали здесь автомобильные караваны. И часто днем шофер, застрявший в песках, услышит в небе клекот перелетных птиц: то четырехмоторные ТБ-3 несут по воздуху серу. И уже мало кто из местных людей знает всю историю этой замечательной дороги, которая открыла целую страну. Прошло всего лишь несколько лет, и я не узнаю этой дороги, этих барханов, этих колодцев.

Мне вспоминается одна из первых автомобильных поездок к Сорока Буграм — Кырк-Джильба. Это был тринадцатый автомобильный караван в Каракумах, и весь он состоял лишь из двух испытанных шестиколесных машин “Рено-Сахара”, которых уже не существует. Тогда еще не было завода, не было дороги, не было автобаз и разговоров в песках.

Был 1930 год. К центру пустыни Каракумы отправлялся довольно необычный груз: два котла для выплавки серы, два ящика махорки, один бухгалтер и два журналиста.

Каракумы — это одна из величайших песчаных пустынь мира. Есть несколько таких пустых пространств на земле. Люди входят в них, как в море. Караваны сопровождают лоцманы, компас, карта. Автомобили в них необычны. Они вызывают удивление.

В 1923 году капитан французской армии Делингет с женой на автомобиле фирмы “ситроен” проехал через все пески Африки, от Орана до Капа.»

Об этом подвиге очень подробно писалось в заграничных газетах. “Мужественные супруги Делингет пересекли песчаный ад”, “Автомобиль борется с пустыней” — так назывались статьи.

На картинках рисовали маленький, приземистый автомобиль, упорно карабкающийся на песчаные холмы.

Я встречал потом эту машину в Ашхабаде, в гараже туркменского Автопромторга.

Это было несколько лет спустя. Директор Автопромторга подошел к сараю и открыл ржавый замок. Двери распахнулись, и мы увидели в темноте сарая кучу поломанных, мертвых автомобилей. Среди них стояла маленькая машина, похожая на крепкого паука с блестящими глазами. Это был экспедиционный трехосный автомобиль с обычной гусеничной передачей — металлической лентой системы “Кегресс”.

— Она прошла три части света, — сказал директор. — Сделана в Париже, пересекла Сахару, ехала вокруг Европы в Мурманск, оттуда — сюда, в Азию. Ну и вот: стоит у стенки сарая. Она негодна для регулярной эксплуатации. Наши пески труднее, чем в Сахаре: там песок крупнозернистый, у нас он мелкий. Гусеница засоряется и утопает...

Мы выехали в Каракумы с юга, со стороны Ашхабада и железнодорожной линии Чарджуй — Красноводск.

Через четыре дня после нашего отъезда в газете “Туркменская искра” была напечатана такая статья:

“На днях к центру песков отправились две трехосные машины типа “Рено-Сахара” для выполнения ответственной задачи переброски двух котлов для строительства серного завода. В случае успеха этого рейса будет одержана еще одна победа человеческой техники и большевистского упорства над песками и в стройке серного завода будет завершен один из труднейших этапов — доставка самого тяжелого оборудования завода.

Попытки овладения песчаной дорогой при помощи автомобиля имеют свою историю. Еще в марте 1925 года машина “ситроен” прошла 150 километров в глубь песков, но здесь была

вынуждена сбросить часть груза, а затем лента окончательно испортилась, и машину в разобранном виде доставили на верблюдах обратно. В 1926 году Главхлопком организовал экспедицию на легковом авто от Чарджуя, но машина также застряла в песках. В 1927 году Автопромторг одержал первую огромную победу над песками, пройдя на машинах “рено” через все пески от Чарджуя до Хивы — 500 километров вдоль Амударьи. Затем состоялась известная экспедиция академика Ферсмана, впервые пересекая Каракумы от Ашхабада через серный завод до Хивы.

Сейчас машины отправились после предварительной подготовки и с учетом опыта предыдущих рейсов. Но необычность такого тяжелого груза, как двухсотпудовые котлы, и отсутствие до сего дня сведений о положении экспедиции не дают нам пока оснований говорить о ее исходе”.

Еще в Ашхабаде я просматривал отчеты первых экспедиций. Это были краткие и сухие документы, похожие на судовые журналы. “Сегодня — 12 километров”, — писалось в них. “Немного сдает рессора”. Или: “Вечером видели человека. Он шел по направлению на ю.-ю.-в. от колодца Беш-Кудук”.

Был конец мая. По вечерам из песков приходила удушливая пыль. Ашхабадцы толпились у бесчисленных киосков с теплым и кислым лимонадом, в городском саду музыка играла тусклые вальсы, на панелях сидели пестрые и загорелые люди в текинских папахах, в тубетейках, фетровых шляпах и тропических шлемах; люди грызли подсолнухи и говорили на разных языках: это были дехкане из аулов Ашхабад и Аннау, счетоводы из Туркменгосторга, туристы из Москвы и с Кавказа, контрабандисты из Фирюзы с персидской границы.

Я занимался собиранием материалов о песчаной части Туркмении. Я бродил по чайханам, перетряхивал пыль архивов,

дни проводил в глухих и грязных аулах. По вечерам мы с товарищем выходили на холмы за городом и видели небо, хребет Копетдаг, огненный шар, падающий за пески, черную синеву туркменской ночи. Крыши города толпились у предгорья. За огнями шелкомотальной фабрики уже желтели пески.

В 1831 году лейтенант Ост-Индской компании Бернс пробирался по сыпучим пескам, там, где теперь проходит железнодорожная линия Ашхабад — Чарджуй. Бернс сказал о Каракумах:

“Индийские пустыни ничтожны по сравнению с этим беспредельным океаном песков. Я не представляю себе зрелища более ужасного, чем эта пустыня”.

Бернс путешествовал сто лет назад. Ост-Индская компания стала древностью. Ужасы уменьшились. Большой город стоит в садах. У кассы вокзала ежедневно толпятся люди, командированные из Москвы и Ленинграда. Но пустыня осталась за вокзалом: о ней не многие знают больше, чем Бернс.

“Далеко не всякий знает, где находится пустыня Каракумы.

Одни путают ее с горным плато Каракорум в Центральной Азии, другие относят ее к Северной Персии. Еще меньше знают о том, что она собой представляет, живут ли в ней люди, какова ее природа” — это писал академик Александр Евгеньевич Ферсман.

Пески Каракумов целиком находятся в пределах СССР. Их площадь превышает 250 тысяч квадратных километров.

Цифры говорят здесь мало. Они не показывают ни величины, ни своеобразия этой страны. Читателю все равно, если я назову цифры в 300 или 500 тысяч квадратных километров. На Каракумах можно поместить две Англии, или две Чехословакии, или три Австрии.

В Каракумах живут люди, люди завоевывают пески. Пустыня понемногу присоединяется к миру.



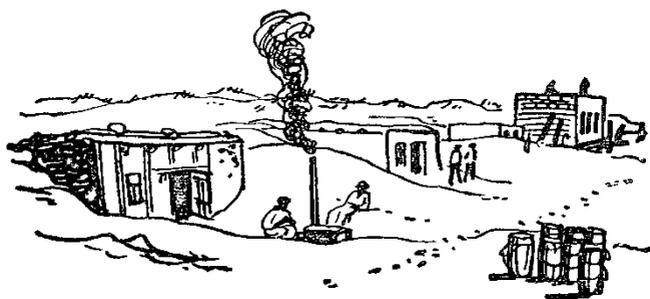
Я приведу небольшой отрывок из письма одного товарища, работающего по изысканию новых каучуконосов в северо-восточных Каракумах:

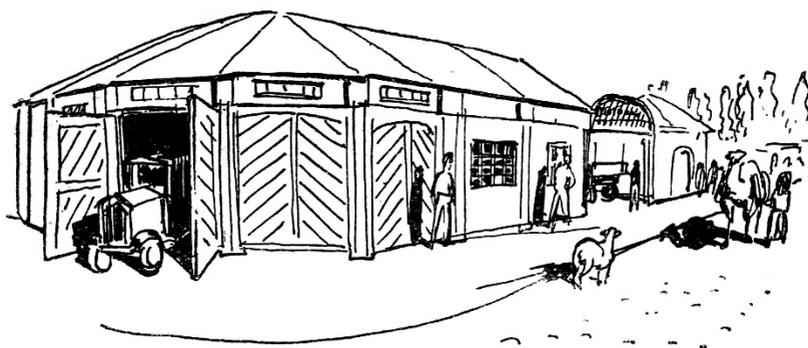
“Около года я провел в будке. Фанерная будка стоит на песках в полукилометре от глухого колодца. Иногда ночью песком засыпает тропу, ведущую к моей двери. Ночью мне кажется, что моя будка стоит одна на краю мира. Тогда я встаю и пытаюсь вспомнить человеческие лица. Мне кажется, что они исчезли. Исчезли и города. Я зажигаю свечу и рассматриваю волосы на своей руке, даже считаю их.

Вот я посылаю письмо. Наш караван или верховой придет и возьмет его с собой. Просто. Но я ощущаю это письмо, я “переживаю” почту — чувство, которое у вас атрофировалось. Здесь ведь видишь, как нигде, протяженность мира. В городе, среди поездов, телеграфа, авто, газет, кино и множества событий, забываешь про силы природы. Они побеждены. Ничего не стоит перебраться за 100—300 верст. К вашим услугам железная дорога, телеграф. Ведь верно: вы даже никогда не представляете, как долог, велик и трогателен путь простого письма, отправленного вами в другой конец Союза. Так просто это: сегодня послано, а вскоре там. А ведь оно движется через степи и горы, через ветры и циклоны, через землю, такую большую, что человек, как затерянная точка, не виден на этой земле. Но вот тут, в пустыне, вдруг ощущаешь эту проклятую и непобежденную природу во всем ее объеме.

Когда мы говорим, что победим все стихии, подчиним их себе, мы представляем это очень отвлеченно. А здесь я вижу: вот эти необъятные пески мы подчиним себе, мы засеем их травами и кустарниками, мы запрежем ветер, мы пустим воду. Я верю: ужасное солнце, жгущее меня в пустыне, мы “используем при помощи новейших научных достижений”. Мы зажжем иные

солнца здесь, где ночью непроглядная тьма. Выкопаем серу. Возьмем мирабилит, уголь. Построим города. Я чувствую эту борьбу, встречаю противника, везде вижу работу. И честное слово, это одно из прекраснейших чувств...”





АШХАБАДСКИЕ НОЧИ

ТОВАРИЩ КОРАБЕЛЬНИКОВ ТЕРЯЕТ ПУСТЫНЮ

Всю ночь над Закаспийской низменностью проносились ветры, происходили атмосферные разряды, всякая чепуха. Коротковолновик Корабельников, голый и волосатый, в маленькой душной комнатке сидел над радиотелефонным аппаратом. Руками, потными от жары и напряжения, он давил москитов и записывал на бумажке обрывки фраз.

Приему обыкновенно мешали Ташкентская ширококвещательная станция, Стамбул и железнодорожная морзянка. Радист пытался на ночь оторваться от всего мира. Он называл это “интимной беседой с серным заводом”. Но в беседу с далекими Буграми попеременно врывались депеши железнодорожного диспетчера, рояль и какие-то крикливые

женские голоса. Тогда Корабельников крепко ругался и начинал подкручивать ручки настройки. В ночном мире угасали невидимые женщины и возникали свисты и грохоты. Утром, приходя в радиоцентр, мы читали невероятные записи Корабельникова:

“...Серном заводе нуждаются запасных...

...Умболо... умболо...

...Прочтем программу на завтра...

...Подтверждается безвыходное положение табаком. Долгое отсутствие караванов, а также со...

...Двенадцать десять — концерт немецких композиторов...



*...А также совершенное неведение... Караваны пропали в песках.
Директор завода выехал Ашхабад...*

*...Повторяем: двенадцать десять — концерт немецких компози...
Международное положение Польши...*

...Р-р-р... раздается звон мечей..."

Это были дни терпения. Мы настраивались на пустыню. Ничего еще не было известно. Когда караван отправляется в дальний рейс, то верблюдов предварительно долго и внимательно наполняют водой. Затем на них грузят полные бочки. Хороший верблюд может не пить до пятнадцати дней в книжках и до шести суток — в действительности.

Теперь “дни наполнения водой” были совсем иными. Не было верблюдов; караван состоял из двух автомашин. Утром мы приходили на площадь перед Автопромторгом и видели ноги черного человека, торчащие из-под автомобиля. Черный человек обстукивал каждую частицу машины и прислушивался к ее голосу. К автомобилям крепкими веревками и проволокой были привязаны бочки. Из-за бочек возвышались громадные и пузатые котлы — автоклавы.

Запыленное ашхабадское солнце висело над площадью. Температура поднималась за сорок. Площадь была наполнена парами бензина, сиренами машин, криками людей, ослов и верблюдов. Новенький бетонный дом Автопром-торга смотрел окнами в гущу текинского базара; там продавали халаты, урюк, баранов, сушеные дыни. Кудрявые овцы толпились у колес красного автобуса и лезли в тень кузова. Это был вокзал автомобилей. Автобус отправлялся в горный поселок Фирюзу. Грузовик, идущий в Персию, наполнялся ящиками, персидскими купцами и их женами.

Дороги расходятся отсюда далеко в стороны... Но среди них нет еще нашей дороги. Может быть, машины пойдут через день, а

может быть, и через неделю. Расписания движения по Каракумам еще не существует. Асфальт тротуара вздымался от жары, лопался и прилипал к ногам.

Какой-то босой старик подошел к нам и предложил купить у него парочку-другую змей. Он сунул руку в мешок и действительно вынул оттуда целую связку змеек. Они были извилистыми и совершенно неправдоподобными. Они болтались и высовывали языки. Прохожий сказал, что две из них ядовиты. Старик наловил их в песках и просил за свой странный товар от одного до двух рублей за штуку. Ничего нельзя сказать: змеи в Ашхабаде сравнительно дешевы. Но змеи нам были как раз меньше всего необходимы. Мы поблагодарили старика и вошли в Автопромторг.

Директор одной рукой держал телефонную трубку, другой водил карандашом по столу.

— Сушеные яблоки, — говорил он. — Станция... Алло! Я говорю: к черту ваши яблоки! Очень вы хороший Церабкооп, если не можете дать мясных консервов... Почему-то, когда в пески идут геологи, у вас находятся консервы, и сахар, и то, и се. А вот наши шоферы никогда и десяти фунтов на брата не могут получить... Что? Какую неделю? А может быть, они на месяц застрянут! Вы их тогда, милый человек, песком будете снабжать?.. Я... Категорически... Срываете задание Совнаркома. Наши люди отказываются ехать. Не понимаю, каким образом... Глупости! Я говорю — глупости! Никакой консервированной камбалы! Садитесь сами за руль с вашей камбалой. На камбале до Серных Бугров не доедете. Вы понимаете, что...

Я взял со стола бумажку. Это было отношение Совнаркома, в котором в кратких словах обрисовывалось положение на Серных Буграх.



“Отсутствие котлов срывает и задерживает окончательный пуск завода. Среди рабочих строительства и окружающего кочевого населения затяжка в переброске котлов сеет недоверие к стройке. Обеспечение своевременного выполнения этой труднейшей задачи — переброски автоклавов через пески — окончательно сломит ликвидаторские настроения и вызовет подъем энтузиазма. Поэтому Совнарком предлагает...”

Отношение было напечатано на пишущей машинке, по обыкновению, на двух языках — русском и туркменском, латинским шрифтом, но почему-то с арабской подписью секретаря.

Черный шофер вошел в комнату и вытер руки о засаленную тряпку. Он был похож на цыгана.

— Ну хорошо, товарищ Каланов, — сказал он, сплевывая на руки. — Эти штуковины весят двести пудов. А вот чем мы будем их сошвыривать на песок в случае, если того... — Он подмигнул и свистнул. — Пальцем, что ли?

— Очень просто, — сказал директор. — Берете доску. Подпираете автоклав под бок...

Говорил он это так, будто много раз ему приходилось сбрасывать двухсотпудовые котлы в пустыне.

— Ну а если она мне тарантас испортит? Двести верст пешком путешествовать? Я не верблюд, товарищ, Каланов.

Его звали очень странно: Нарцисс. Нарцисс и Сергей, два шофера, должны были вести машины в тринадцатый рейс. Последний рейс перед нашим они шли до завода двенадцать суток. 250 километров пути они наполовину уложили ветками саксаула, так как машины отказывались идти по песку.

Люди приехали на серный завод в изорванном платье, почти голые, с изодранными руками. На заводе они достали трусики и в них вернулись в Ашхабад.

В Автопромторге ожидали директора серного завода. И в серной конторе ожидали директора. Всюду мы слышали обрывки фраз: “Он уехал... Он поехал... Он не доехал... Завтра... сегодня... послезавтра...” Он выехал с Бугров три дня назад, и до сих пор его не было. На Буграх ожидали караваны с махоркой и продовольствием. Караванов тоже не было.

Караваны должны были разбросать для нас в разных пунктах бидоны с бензином. Это освобождало наши машины от большого груза. Здесь в расчет принимался каждый килограмм. Если бы я был толстым, меня бы не взяли в экспедицию.

В Ашхабаде по улицам бежали горячие ветры. Они подметали мостовую.

Пески начинались рядом, за железной дорогой. Мы выходили смотреть на них; это было скучно: желтые бугры, покрытые зелеными бородавками.

Пустыня ежедневно приходила в город в виде зноя и мириадов песчинок. Она оседала на зубах, и ее нужно было сплевывать каждую минуту.

Мы вошли в ашхабадскую контору серного завода.

Управляющий конторой нанимал рабочих на завод — высоких туркмен в бараньих шапках и кожаных сандалиях.

Жена одного рабочего, находящегося на Серных Буграх, просила место в караване.

— Мы не имеем права посылать женщин. Женщин не берем, — твердил управляющий конторой. — Не потому, что страшно, а потому, что нам запрещено.

Управляющий был спокойный человек, не любящий преувеличений.

— Давайте условимся, — говорил он нам, — что вы не будете писать никаких ужасов. Вы не встретите никаких там белеющих костей и других глупостей. Все обстоит гораздо проще.

Никаких потерянных дорог. Наши рабочие вдоль всей дороги саксаул повыжгли, нечем костер развести, всю дорогу вытоптали, а вы говорите — потерянные тропы.

В контору вошел высокий старик. Это был худой, очень смуглый туркмен из жителей песков. Он снял шапку и протянул директору смятую бумажку.

— Ас-салам алейкум, — сказал он. — Мана когас, иолдаш. Бумажка... директор. Иолдаш директор Марли-Мурад дан.

— Записка от директора Марли-Мурада?! Наконец он нашелся! Где же он?

Мы добрые полчаса читали смятое и неразборчивое письмо директора. Оно было покрыто грязью и пахло бараньей шапкой и жевательным табаком. В письме сообщалось, что директор выехал с завода три дня назад, что при отъезде дул западный ветер и что проводник был слепой, одноглазый мошенник, которого послал дьявол, если он существует.

“Утром мы сбились с тропы и заблудились. Пока в наших (затерто) не иссякла вода. Тогда мы готовились погибать. Если (затерто) встретили кочевника. Послали за водой. Восемь раз ездил за водой, и восемь раз выпивали до капли. Я нахожусь сейчас в районе колодцев Яннык. Буду завтра...”

Директор Марли-Мурад был туркмен, выдавший пески, много раз их пересекавший.

Директор исчезал и находился. Церабкооп изыскивал сахар. Автопромторг измерял и увязывал ящики.

Вечером мы с товарищем приходили в радиоцентр и садились возле радиста. Корабельников был большой, рыжий, с красным носом. Носу мы завидовали, потому что он обгорел в Каракумах.

Радист шесть месяцев проработал на радиостанции серного завода. Он любил говорить научно и изысканно, как музейный работник:

— Пески есть не что иное, как бывшее дно большого моря. Пески ходят по твердому дну. Въезжая в область открытых песков, вы видите иногда белые поля совершенно гладкой поверхности. Это и есть солончаки.

Начинал шуметь блестящий ящик, и радист протягивал нам наушники. С заводом обязательно нужно было связаться, без этого наш караван не может тронуться. Но ящик кричал в уши какую-то непонятную, нелепую песенку. Очень далекий и очень тонкий голос путешествовал по спящей земле. Вместе с жалкими обрывками скрипки он забредал в Закаспий и рассказывал нам о какой-то девушке Мен, уехавшей в чужой город.

Очевидно, теперь уже в песках расставлены бидоны с бензином и Серные Бугры должны предупредить о нашем рейсе все колодцы. Но смогут ли они сообщить нам хоть два слова?

Корабельников злился и снимал потную рубашку. Он поворачивал все ручки, но никак не мог нащупать голоса Серных Бугров.

— Ночью мы на заводе ловили ядовитых фаланг, — рассказывал Корабельников. — Это чрезвычайно просто: следует открыть дверь землянки, и они приползут по песку на свет. Когда же я работал радистом на афганской границе, там мы фаланг и скорпионов ловили, так сказать, на фонарь. Поставишь только фонарь на землю...

Потом Корабельников начинал рассказывать о каком-то неизвестном, может быть придуманном им, караване, и мы следили за его похождениями.

Караван шел ночью через пески, и мы даже слышали звон его колокольцев. В ящике радио девушка Мен еще не умерла, но

теперь она спорила с преподавателем немецкого языка — сиплым, лающим баритоном. Звон каравана проходил между ними где-то в ночном пространстве.

Плачет Мен, и рыдает оркестр до зари,
И по улицам прячутся вдаль фонари...

“...Ни в коем случае не следует произносить “еи” как “ей” — “клейн”. Произносите “кляйн”. Маленький”.

— Завода не будет, — заявил Корабельников и захлопнул крышку. — Пески окончательно исчезли. Сейчас начинается морзе. Это ночная передача корреспондента ТАСС из Индии по трансляции Тегеран — Ташкент — Москва. Они уже будут стучать до самого утра.

Так рвалась последняя связь с песками.

Радист надевал рубашку, тушил свет, открывал окно. Но мы уже не могли спать. Мы хотели, чтоб пустыня продолжалась. Тогда мы выходили на улицу и направлялись к маленькому домику на улице Маркса. Здесь мы во всякое время дня и ночи могли получать каракумские новости. Здесь жил гидрогеолог Константин Павлович К., человек, готовившийся к экспедиции. Мы не представляли себе, чтобы он когда-либо спал. Он сидел за своим огромным столом в десять часов вечера, в два часа ночи и в шесть часов утра. Если он не писал каких-то заметок, то читал записи. Если он не писал и не читал, то бегал по городу. По городу он бегал так же, как и по своей комнате, заложив руки за спину и хмуря брови.

Встречая его таким в Совнаркоме, мы ожидали, что он скажет: “Ну, садитесь, садитесь... Чай извольте разогревать сами. Мне некогда. А впрочем, слушайте, я вам расскажу один любопытный случай”.

С геологом мы встретились в серной конторе. Мы готовились к поездке в одни и те же места: мы на машинах, он на верблюдах.

Одна из геологических партий отправлялась на верблюдах в Центральные Каракумы и сейчас переживала суетню подготовки.

В Ашхабаде готовилась парусиновая палатка. Из Москвы шли астрономические приборы. В горном отделе составлялась смета. В Бохардене нанимались проводники...

Вечером высокий и хмурый на вид геолог, с трубкой и в тубетейке, хватал охотничью двустволку и бежал с нами на холмы, бил зайцев, рассказывал, терял трубку, рассказывал, находил ее и опять рассказывал.

Он смеялся над нашими машинами и расхваливал верблюдов:

— Вы не знаете, что такое верблюд. Это остроумнейшее изобретение на Востоке! Верблюду не нужны никакие подшипники — раз. Он долго не пьет и вынослив как дьявол — два. Он красив. Да! Нет ничего грациознее и величественнее хорошего великана инера, не из зоологического сада, не опаршивевшего от тоски и недоедания, а настоящего где-нибудь в дебрях. Когда он шагает через пески — это шествует сама история! Да, ведь недаром же он — самый испытанный здесь транспорт, это проверено человеком пустыни и изучено веками, понимаете, веками! А этим нельзя бросаться. Возьмите простую вещь: идет караван и все верблюды связаны друг с другом веревочками. Общая дисциплина. Но стоит одному упасть — разве он потянет за собой других или разорвет себе ноздрю? Нет. Палочки и кольцо так хитроумно продеты через ноздрю, что при падении цепь автоматически разъединяется. Для этого нужно искусство.

Ночью мы приходим к геологу, к его столу. Этот стол был собранием самых невероятных предметов. Мы могли найти там

связку веревок из хлопка-сырца, готовальню, русско-туркменский словарь, “Полное описание завоеваний в Средней Азии со времен Петра Великого с приложением списка георгиевских кавалеров и получивших медали за храбрость”. Но больше всего мы любили огромную изношенную карту-двадцативерстку издания Туркестанского военно-топографического кабинета 1879 года.

— Вот, — говорил Константин Павлович, бережно раскладывая карту, — прошли войны и революция, а в теперешней карте Туркмении вы найдете то же, что и в 1879 году. Почти никаких изменений, если только не считать последних трех-четырёх лет. Вот здесь была экспедиция Ферсмана, а здесь — Нацкого. А тут — никого.

— Позвольте, позвольте, а Калитин, а Коншин?

— Что Коншин? Что ваш Коншин?! Еще при царе Горохе и генерале Скобелеве...

Здесь начиналась история. В нашу комнату врывались воспоминания. Шли генералы и научные экспедиции. Блестели очки. Гремели лафеты мортир и походных кухонь. Рыжие пятна карты-двадцативерстки превращались в песчаные сугробы.

Геолог доставал свою записную книжку с какой-то особой нумерацией, где были занесены всевозможные справки, факты, выписки.

Мне уже было известно, что о Каракумах обычно говорят много вздора. Сведения часто неправильные, факты встают в искаженном и преувеличенном виде.

Так, например, утверждают, что западнее Серных Бугров в пустыне есть река Узбой, на которой стоят аулы и растут сады; что за Каракумами, на плато Устюрт, живут неизвестные племена, и тому подобное.

Все это совершенно не соответствует действительности.

РАССКАЗЫ У ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ

На географических картах Средней Азии пустыни рисуют желтой краской, а орошаемые земли оазисов — зеленой. На этих картах желтого цвета раз в тридцать больше, чем зеленого. На землях, показанных на картах желтым цветом, растет очень редкий кустарник и бродят пески. Города Ашхабад, Мерв, Чарджуй лежат на узких зеленых пятнышках среди желтого моря. Туркменская республика находится в пустыне!

В шестнадцатом столетии реку Амударью протягивали в Каспийское море, Каспийское море неизвестно где начиналось, и вообще южнее Оренбурга было много пустых мест. Но из этих пустых мест приезжали на оренбургский базар люди с черными бородами и длинными головами, в полосатых халатах и в бараньих шапках. Они продавали текинские ковры, кожу, баранью шерсть, шелка, щербет и опиум. Потом несколько месяцев ехали на верблюдах через пустыню к себе домой, в Хивинское ханство. Часто они похищали русских купцов и увозили в рабство. Хивинское же ханство — оазис у Аральского моря. Южнее — Каракумы, что значит Черные пески, северо-восточнее — Кызылкумы, что значит Красные пески, на западе плато Устюрт.

Хива и пустыни лежат на пути к Индии. Туда давно стремились проникнуть русские цари-завоеватели. Но так как и англичане интересовались Индией, то они пытались загородить дорогу России через пустыни Азии.

В свое время Павел I “подарил” Индию и Хиву казакам. Перед этим он с Наполеоном хотел идти на Индию, но предприятие оказалось слишком сложным.

Казаки отказались от подарка: они очень хорошо знали ему цену.

В 1605 году, почти за два столетия до Павла, тысяча яицких казаков отправились в пустое место, чтобы напасть на Хиву. Месяц они шли по голым пескам и съели всю пищу. Потом они решили повернуть назад, но у них не хватило воды. Казаки начали пить кровь лошадей. Из тысячи казаков ни один не вернулся обратно.

Английские купцы и военные с давних пор вынюхивали воздух среднеазиатских пустынь. Когда русские сквозь пески и неизвестность проникли в оазис Мерв, то там на базаре уже сидел на рундуке толстый лысый человек в чалме и халате, сидел и весело торговал кишмишом и сушеными дынями. Звался он армянским купцом Ибрагимса-абом, а на самом деле был капитаном английской армии. Но об этом после.

— Поедем сегодня в Геок-Тепе, — сказал однажды геолог. — Вы не были еще в Геок-Тепе? Стыдно! Геок-Тепе — это туркменская история. Я вам покажу крепость. Мы пробудем там два дня, пока я найму верблюдов и проводников.

Геок-Тепе — станция по пути к Красноводску. Случай побывать в Геок-Тепе в сопровождении такого знатока истории я решил использовать.

Ехали мы, так же как и в Ашхабад, по бывшей Закаспийской железной дороге. В перерывах между городами-оазисами поезд шел через пустыню. Она врывается в окна, была ослепительна, как море. Проводники закрывали окна и сметали с полок песок.

Всего лишь пятьдесят лет назад не существовало этой дороги. Это было время “белого генерала” Скобелева, пироксилиновых ракет, первых конных паровозов в пустыне, всемирной газетной шумихи.



Вот выписка из записной книжки геолога. Часть историческая. Раздел “Генералы в пустыне”. Факты, справки, старые книги, газетные вырезки.

“Кавказ и Меркурий” — парходное общество, перевозившее в то время из Баку на тот берег Каспийского моря необычайные грузы. На совершенно пустынном берегу выгружали солдат в белых полотняных рубашках, мортиры, двести тысяч порций консервов “щи-каша”, десять тысяч лимонов, керосиновые фонари, скипидарные распылители.

Все это спешно отправлялось в пески.

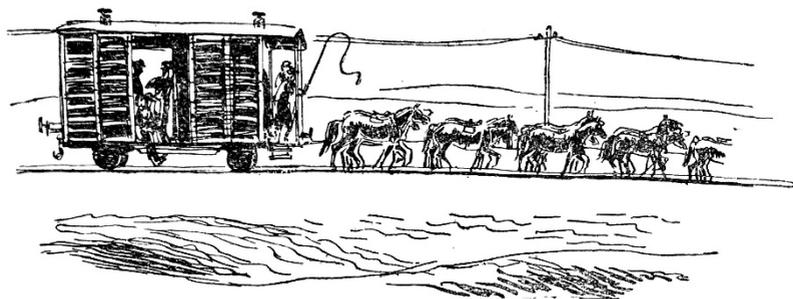
“Азиата нужно бить по воображению” — одно из любимых выражений генерала Скобелева. Ночью он приказывал разжигать распылители, ракеты, факелы, старинные электрические фонари Яблочкова. Пушки брались такие, которые давали побольше огня, дыма и грохота.

Генерал Скобелев держал себя великим человеком, любил важные и красивые позы. Ездил он всегда в белой папахе, бурке и на белой лошади. Всю армию он одел в парусину, тоже белую. Это был очень хитрый расчет, который никто тогда не разгадал. Дело в том, что по белой мишени гораздо труднее целиться среди белых такыров и желтоватых песков. Люди же, одетые в черное, могли бы явиться прекрасной мишенью.

Скобелев был белым яблоком. Адьютанты, ездившие по бокам, были черным кругом. У Скобелева очень часто менялись адъютанты. Они все были убиты туркменскими стрелками, метившимися в Скобелева.

Итак, строилась Закаспийская дорога.

С парохода были выгружены два рутъера — особых паровика, работающих на жидком топливе. К ним прицепили вагоны, и они пошли без всяких рельсов, по песку. Их называли огнедышащими колесницами. Они начали Закаспийскую дорогу.



Но прошли эти паровики немного — тут же застряли в песке, и их не могли вытащить. Тогда стали по песку прокладывать рельсы, и лошади возили вагоны по этим рельсам.

Дорогу прокладывали, воюя с туркменами и с пустыней.

Туркмены налетали из-за барханов и расстреливали строителей. Ветер засыпал рельсы песком.

Весь мир следил за горсточкой людей, прокладывавших дорогу в закаспийской глуши. Когда в глубине страны обессиленные люди встретили невероятное сопротивление песков, кто-то предложил проект: всю дорогу, несколько сот верст от Ашхабада до Мерва, закрыть искусственным туннелем. И до наших дней пески еще не помирились с железной дорогой, они пытаются ее засыпать и погresti под собою...

Про многие дороги обычно говорят, что они построены на костях. Тех костей, которые легли на закаспийские линии, никто еще не сосчитал. Это кости русских солдат и туркменских пастухов. Одной только цингой, и только за два года, болело четыре тысячи строителей-солдат. Выздоровело из них, по официальным отчетам, тысяча.

О туркменах не говорили отчеты.

В далеком Петербурге имя Скобелева гремело в свете. Он был любимцем женщин и художников.

Мы поднялись на стены старинной крепости. В городе зажигались огни. Старый туркмен Кият-Мурад, заведующий геоктепинской красной чайханой N 4, постучал палкой по растрескавшемуся валу. Куски засохшей глины полетели в расщелины. С развалин еще не была видна зелень Геок-Тепе и желтизна песков.

— Здесь был Денгиль-Тепе — Горка совета, — сказал Мурад. — Геок-Тепе — это неправильно. Геок — это весь оазис. — Он провел палкой по воздуху. — Шесть дней и шесть ночей продолжался бой. Воздух был черным и земля красной. Крепость была разрушена... Ее построили очень-очень давно, еще во время Огуз-хана.

Старик многое, конечно, преувеличивал. Геоктепинская крепость имеет совсем иную историю.

Едва ли земля была красной, но бой действительно шел много дней и много ночей. Небо было черным.

Мортиры и керосиновые фонари работали непрерывно. Пироксилиновые ракеты жгли далеко в окрестностях кибитки мирных жителей.

У подступов к Геок-Тепе было сооружено несколько укрепленных линий. Поселки из землянок и палаток тянулись на барханы.

Солдаты варили щи, копали рвы, иногда охотились на туркмен. Конные вагоны и паровики привозили из Красноводска солдат, наблюдателей и маркитантов. Маркитанты втридорога продавали солдатам гнилые пряники, губные гармошки и спирт. Пиво стоило пять рублей бутылка. У походных Кабаков плясали толпы. За околицами поселков дымилась большая и однообразная пустыня.

Это было в восьмидесятых годах прошлого столетия.

Вечером на четвертом редуте горнисты проиграли зорю. Офицеры отправились в штабную палатку играть в карты. Ночь наступила почти без сумерек. Неожиданно, чертыхаясь и натываясь на рвы и обозные колеса, пробежали люди. Тревога докатилась до землянки Скобелева. В нее вошел бледный полковник Мечников с рукой у козырька:

— У западной заставы задержан неизвестный человек. Он пришел из песков. У нас никто его не знает.

Последние рутеры давно ушли к Красноводску. На окраине лагеря крайний сторожевой пикет составил ружья в козлы. Солдаты легли отдыхать у палатки.

Солдаты говорили о России и смотрели на пустыню с опаской, как будто оттуда должны были прийти чудовища.

Вдруг перед ними на линии дороги появился человек в фетровой шляпе, с большим чемоданом в руке, с трубкой и в туркменском халате. Он ехал по шпалам верхом на персидском осле. Он пел песню и бил ослицу по шее длинным полевым биноклем.

Солдаты с перепугу ахнули в него из пяти винтовок.

Человек упал с ослицы и встал, ругаясь на плохом русском языке:

— Проклятье! Вы так можете испугать моего ослицы...

Выслушав рассказ обо всем этом, Скобелев взглянул на Чечникова:

— Вы знаете, полковник, о чем я думаю? Если это он, то... лучше бы нам встретить целую дивизию туркменцев.

— Именно о том же, ваше превосходительство, и я думаю. Я не понимаю, зачем эти мерзавцы здесь шляются?! Они вынюхивают воздух, как ищейки. Они знают, что мы их ненавидим, но они нахальны безмерно, ваше превосходительство.

Когда я участвовал в хивинском походе, у нас тоже был один такой господин. Тот самый мистер Мак-Гахан, который написал книжку “Военные действия на Оксусе и падение Хивы”. Мы высадились на Мангышлакском полуострове и собирались уже двигаться в пустыню, когда к нам в штаб приехал этот мистер. Наш генерал был насчет их решительных правил и потому наотрез запретил ему ехать с нами. “Как так? — кричал тот. — Вы не хотите, чтобы о событиях знала Европа? — “Насчет Европы у нас позаботится немецкий корреспондент поручик Штумм, — отвечает генерал. — Путешествие по пескам я нахожу вредным для вашего здоровья...”

— Ну, и?.. — перебил его Скобелев нетерпеливо.

— Ну, и... и мы пришли на колодцы Турт-Адам без Гахана. Шли мы три недели по пустыне. И потом пришли на не ведомые никому дотоле колодцы. И на не ведомых дотоле колодцах нас ожидал английский корреспондент мистер Мак-Гахан, от скуки забавлявшийся охотой на пустынную антилопу.

— Я бы их вешал, — сказал Скобелев коротко.

В это время за порогом раздался шум, ругань конвойных, и в двери ввели человека, размахивавшего чемоданом.

— Оччень рад! — кричал он. — О'Доннован, честь имею... Представитель британской прессы.

— Наш штаб, — сказал Скобелев, вставая и закусывая ус, — наш штаб счастлив... в вашем лице... великую нацию. — Вежливо улыбнулся и пододвинул табурет.

Английский премьер-министр Веллингтон в газетах расхваливал русскую армию и писал о ее героических подвигах в Туркестане.

Через моря он протягивал русскому царю дружественную руку. Одновременно он посылал в Туркестан офицеров Бутлера и Непира с приказом поднять в песках восстание туркмен против русских.

С начала прошлого столетия города Средней Азии начали наводняться подозрительными странниками, фальшивыми дервишами и миссионерами.

Даже в русском Оренбурге сидели английские миссионеры Бернс, Аббос, Шекспир и другие. И Лондону не хуже, чем Петербургу, были известны запахи, цвет и цены кавказской нефти и туркестанского хлопка.

Утром О'Доннован лазил по окрестностям и в бинокль рассматривал стены Геок-Тепе. Боевые действия не начинались. Все, что нужно, было уже записано.

Днем О'Доннован пил английский коньяк, а к вечеру кончал туркменской бузой. Он был веселым человеком, да к тому же пили в лагере все.

Однажды вечером полковник Мечников пришел к Скобелеву сияющий:

— Мы имеем великолепный повод... Полное изъятие корреспондента без нарушения международной вежливости.

В официальных материалах говорилось, что О'Доннован напился пьяным, разделся голым и в таком виде плясал и буйствовал возле походного кабака. Корреспондента связали и тотчас же отправили в Красноводск.

О'Доннован очнулся на пароходе, идущем по Каспийскому морю в Баку. Он потребовал, чтобы пароход вернулся обратно. Капитан вежливо улыбался и молчал.



За кормой уходил вдаль желтый берег пустынной страны.

Полковник Чечников долго еще нервничал и помнил о корреспондентах. Допрашивая пленных туркмен, он всегда искал среди них разговаривающих по-английски.

В битве у Геок-Тепе ему участвовать не пришлось. Туркмены оказались сильнее, чем все думали. Осада затянулась. Полковника послали к красноводской бухте за транспортом



сухарей и противоцинготных лимонов. Когда он возвращался, на востоке горело зарево.

— У Геок началось! — воскликнул какой-то офицер. Все бросились на холм и молча смотрели на клубы коричневого дыма. Оазис горел в дыму и грохоте. Мечников обернулся и вздрогнул... Недалеко в толпе стоял О'Доннован в костюме русского офицера и в бинокль смотрел на зарево.

— Олл-райт! Салам алейкум! — кивнул он полковнику. — Теперь мы можем разговаривать честно. Хлопок стоит хорошего зарева. Это сделано чисто.

О'Доннована схватили и отправили на Запад. Русские шли на Восток.

Если бы много времени спустя полковник был при взятии Мервского оазиса, он узнал бы в местном купце Ибрагим-саабе английского корреспондента О'Доннована.

Зарево было сделано чисто. Штурм Геок-Тепе был кровопролитным для обеих сторон. Туркмены сражались как львы, и об этом до сих пор поют песни. Но пушки победили...

Генерал Скобелев взошел на глиняную стену. Крепость догорала и дымилась, как брошенный путниками костер в пустыне. Вдруг генерал вздрогнул. Взгляд его упал на глиняную стену. Там чем-то, наверно палкой, было начертано по-английски: *“Двенадцать, 47-С...”* Потом еще какие-то формулы, и, говорят, еще будто в конце было приписано: *“До свиданья”*.

Генерал испугался. Он не любил англичан, тем более таинственных.

Однако в английской надписи не было ничего таинственного. Теперь уже доподлинно известно, что крепость Геок-Тепе строил для туркмен, против русских, английский инженер Ботлер.

Заброшенные и потерявшие форму валы проросли травой и репейником, белая коза путешествовала по остаткам стены.

ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ

Странные легенды встречаются в пустыне. Если старые туркмены Центральных Каракумов, рассказывая тайны песков, перечисляя старинных ханов и родственников дьявола, покажут в

качестве реликвии рыжие подтяжки или стоптанный штиблет с остатками шнурков, не нужно удивляться. Это остатки последней легенды пустыни. Она же была ее первой основательной деловой прозой.

Вот человек, который был некоторое время хозяином собственного государства в песках. Он оставил в истории след самой забавной неопределенности. Среди первых путешественников и пионеров пустыни этот человек занимает своеобразное место, точно бакалейный лавочник среди ученых.

Он ворвался в историю Каракумов в длинном сюртуке одесских коммерсантов и исчез, как комета, создав за собою хвост канцелярской переписки. И к науке он имел лишь поверхностное отношение. Нас он интересует как необходимый этап в повести о Серных Буграх. До сих пор еще на холмах Кырк-Джуньба — Сорок Бугров — кочевники рассказывают о неизвестных людях, ковьявшихся когда-то здесь, и можно видеть странные ржавые предметы, полусасыпанные песком.

В один ясный день 1881 года в область песков вошел караван верблюдов. Он нес офицера колониальных русских войск поручика Калитина, отряд солдат в белых рубашках, несколько бочек воды, сухари в мешках и ряд второстепенных предметов.

Верблюды шли тихим шагом, белые кители блестели под неистовым солнцем, поручик Калитин с трепетом смотрел на открывавшуюся перед ним страну. Пески и пески лежали по обе стороны поручика. До него только один ученый-европеец — Вамбери — проник в этот непонятный край, причем сообщил о нем очень мало приятного. Это была страна, неизвестная начальству.

Древнегреческий историк Геродот указывал, что здесь живут массагеты; они убивают своих стариков и съедают. Но, конечно, административная деятельность краевых властей не

могла строиться на сообщениях древнегреческих авторов. Поэтому было приказано поручику Калитину елико возможно привести это место географической карты хотя бы в относительный порядок.

Офицеры вообще занимали в истории Каракумов странно значительное место. Так, из имевших отношение к Серным Буграм можно насчитать до десятка капитанов в отставке, генерал-майоров и поручиков. Но поручик Калитин сыграл совсем особую роль, не столько как поручик, сколько как серьезный исследователь. Горсточке колумбов на верблюдах приходилось удивляться с утра до вечера.

Сухопутные маленькие крокодилы — вараны — бегали по барханам. Они тоже удивлялись, так как раньше никогда не видели русских войск. Иногда экспедиция встречала кочевых людей, которые назывались туркменами. Почерневшие в пустыне, они пасли верблюдов и овец на жидкой растительности песков.

Змеи шипели под ногами верблюдов и расплзались в разные стороны.

Так шла экспедиция дни и ночи. Когда люди подходили уже к самой середине песков, перед ними открылись разбросанные вдалеке остроконечные холмы. Здесь исследователи увидели туркмен, выкапывавших желтые камни.

Поручик поднял один камень и понюхал: камень пах спичками и порохом.

Бугры были начинены серой, мыльным камнем и пестрыми глинами. С тех пор они вошли в географию.

С того дня, как поручик поднял с земли желтый камень, запах Серных Бугров начал распространяться из Центральных Каракумов по всему миру.

Добрая дюжина отчаянных предпринимателей бродила вокруг песков, как шакалы. Здесь были поручики, инженеры и

присяжные поверенные. Они подавали в отставку, покупали верблюдов, делали массу глупостей, обивая пороги канцелярий. Дюжина опытных носов втягивала в себя воздух. Бугры пахли не только серой. Бугры пахли большими деньгами. Люди не выдерживали и подавали заявки в центральные местные канцелярии.

Здесь разворачивается Файвишевич, человек-сюжет, комета в сюртуке.

— Покупаю Бугры. Почему? — сказал он в канцелярии.

— Непродажные, — ответили ему.

— Ну, тогда заберите их себе, — сказал он небрежно. И поехал в Каракумы.

Он подъехал к Буграм на верблюде, с зонтиком. От одного этого могло покачнуться все величие песков.

Человек в подтяжках сидел высоко на верблюде, перекинув через руку длинный местечковый сюртук, и в другой руке держал зонтик. Он качал головой и говорил Льву Рейцигу, своему помощнику:

— Ты видел? Хотел бы знать, кто так разбрасывается песком?

Горы чайников свисали с верблюдов. Дополнял картину необъятный клетчатый саквояж комиссионера. Несомненно, сейчас же после этого и начали умирать восточные тайны.

Файвишевич подъехал к Буграм, осмотрел их со всех сторон, постучал о камень зонтиком и сказал спутникам:

— Ничего себе. Сто процентов.

— Инженер Коншин говорит: сорок процентов, — вежливо напомнил ему помощник.

— Что сорок? Камень содержит серы? Возьмите серу себе. Я говорю: сто процентов прибыли.

И уехал в Ашхабад.

Вот какие люди в Ашхабаде! Они готовы любую мелочь тянуть и тянуть без конца. А здесь ждать просто некогда.

— Я не могу ждать, — сказал Файвишевич сухому человеку в золотых пуговицах.

— Кто вас просит ждать? Вам в заявке на Бугры отказано. Во-первых, потому, что вы еврей и вообще не имеете права жить в этой области. Во-вторых, участки отведены инженеру Коншину.

Тогда Файвишевич подумал немного и подал заявление о том, что Коншин передал участки ему. Коншина вызвали и узнали, что он никому и никогда участки не передавал.

— Не передавал?! — искренне удивился Файвишевич. — Вот как? Ну и что же, пусть он их держит у себя!

И опять помчался в Каракумы.

День и ночь сухопутные крокодилы выбегали из-под ног. День и ночь качались верблюды над песком. У Серных Бугров появились рабочие. Они вырыли землянки, вскрыли два бугра и выбирали желтый камень прямо сверху, как колют сахарную голову. От сырости и ветра сера теряла свое качество. Но Файвишевич расцветал. От этого Коншин поворачивался в постели у себя в городе. У него под подушкой лежала заявка, но между подушкой и Серными Буграми простиралась пустыня, двести пятьдесят верст ужаса, и, чтобы их преодолеть, требовались громадные труды, подготовка, время, деньги.

А в центре песков, на гребнях Бугров, крепко поселилась черная фигура предприимчивого и для пустыни странного человека. Он, как коршун, носился над Буграми в черном сюртуке и с большим зонтиком.

Кочевники видели, как по вечерам в палатке, сняв сюртук, он зажигал свечку и замусоленным карандашом делал таинственные подсчеты на бумаге. В уши ему дули ветры, и пески рассказывали свою тысячулетнюю сказку.

Это был оптимист. Кочевники привозили ему рыбу с Амударьи. Аккуратно он писал письма на далекую родину.

“Я живу ничего себе, — писал он. — Много ли человеку нужно? Здесь неплохой климат. Немножко скучно: пески и нет ни одного полицейского...”



Начальство издало приказ: Файвишевичу прекратить работы. От этого Файвишевич даже поморщился: зачем начальство расстраивается? В ответ он послал просьбу снизить ему железнодорожный тариф на перевозку серы. Невозможно перевозить серу честному человеку.

Генералы были ошеломлены. Разве можно, чтобы в подведомственной им пустыне, в песках, подвластных государю императору, один человек разводил такую анархию?! Это волнение, это бунт в песках!

— Пресечь! — сказали они и послали предписание задержать Файвишевича.

Потом послали еще предписание. Все они аккуратно возвращались с мудрой надписью: “За нерозыском”. С большим успехом можно посылать повестки на луну, чем на Серные Бугры. Доставить их Файвишевичу было некому. В пустыне не было даже квартальных надзирателей.

Ахалтекинские начальники сообщали по восходящей линии: *“Файвишевич появляется в Ашхабаде, как метеор, обдeldывает свои дела и, как метеор, исчезает”*.

Даже больше того: Файвишевич вдруг появляется в одной из канцелярий и неизвестным чудом добивается разрешения на вывоз трехсот тысяч пудов серы; трехсот тысяч пудов, правда, далеко еще нет. Что значит нет? Будет.

Тем временем русской армии отставной штабс-капитан Алфераки получает право на участки. Здесь опять начинаются офицеры.

К Серным Буграм посылается классный топограф Шатилов для отвода участка. Сопутствуемый пожеланиями и бумагой командующего войсками, он разыскивает колодцы Шиих и поднимается на бугор. Архивные записи об этом событии уже пожелтели от старости.

“Подoшел к нам управляющий Файвишевича, отставной капитан Романскевич, с несколькими рабочими и предложил внушительно (!) обратиться с бугра немедленно, так как г. Файвишевич отдал, говорит, приказ никого не допускать до горы. Несмотря ни на какие наши увещевания и просьбы, капитан оставался непреклонен, и дело принимало для нас дурные обороты...

Пытки, устроенные для нас г. Файвишевичем, однако, этим не кончились. Как известно, единственный имеющийся там колодец — Шиих, из которого все берут воду, не исключая даже и караванов, следующих в Хиву; почему-то нам было отказано в воде... Так как этот вопрос был посерьезнее столкновения с капитаном на горе Дарваз, то мы употребили все меры для добытия воды...”

Но это были уже последние судороги Файвишевича. После этого метеор начал закатываться.

Он ушел за барханы, продав напоследок Бугры за шесть тысяч рублей некоему Ахвердову. Только офицеры почти ничего не сделали, и с той поры Бугры опустели на многие десятилетия.

Еще раз метеор мелькнул в Ашхабаде вскоре после продажи Бугров; Файвишевич заключил большие договоры, как якобы единственный хозяин участков. Может быть, он договаривался о продаже всех Каракумов? Только кому это здесь было нужно?

Песок и унылые горизонты, ветры гуляют на просторе, да ящерицы кувыркаются вдали. Разве что торговать легендами...

Ветер... Песок... Ослепительные сугробы. Тишина.

Едва заметные следы жизни бороздят песчаную зыбь.

Человек тяжело ступает пяткой, оставляя глубокий след. Верблюды ходят легче... Ящерица бежит по песку легко, на цыпочках, точно балерина.

Спросите у кочевника: разве что-нибудь может не иметь следов? Чепуха! Это даже смешно. След — вот великая сила в мире песков. Кочевник Каракумов не может себе представить что-либо на свете, что не имело бы следа. Это все равно что не иметь тени, не иметь ног, ничего не иметь. След в песках — это карта и компас, ключ и история, проводник и всё на свете.

Пески сделали пустыню малолюдной. Но те же пески дают возможность жить в пустыне. Песок — это большое, рассыпающееся под ногами зеркало пустыни.

Жизнь отражается на песке. Бросайся она вправо, влево, назад, убегай от собственной тени, но за ней сейчас же побегут треугольные следы жука, маленькие отпечатки заячьих лапок и



тяжелые — ступней верблюда. Вся жизнь большой желтой страны видна на песке.

Все большие и маленькие трагедии пустыни регистрируются здесь. И только один ветер иногда вдруг спутает все карты в один миг и очистит скатерть для новой игры.

Но ветер не сметет большой верблюжьей тропы, пересекающей пески через Иербент и Сорок Бугров.

Опытный караванщик всегда отыщет остатки следов — если не внизу, то сверху. Есть еще на небе звезды. Они не качаются от ветра, и их не засыпает песком.

Путь по звездам и путь по пескам — так родились две тысячелетние науки пустынных стран.

Караванщик знает, что есть еще одно, последнее средство. Караванщик берет свои белые штаны и отрывает от них узкие ленточки. Всюду узкие тряпочки белеют на пути: то предшественники указывали дорогу. Эти тряпочки валяются в ямках, они привязаны к ветке саксаула, к палке, к остову мертвой черепахи. И если бы туркмен-кочевник мог привязывать тряпочки к звездам, то на них на всех давно бы болтались ленточки...

И вот что-то случилось над коричневым сыпучим миром. Остановились караваны. На большой тропе произошли в этом году серьезные события. Стоят верблюды и смущенно топчутся на месте. Молва полетела от колодца к колодцу. Люди стоят на тропе и, смотря под ноги, разводят руками. На верблюжьей тропе первый раз за столетия появился новый след.

Откуда он? В тысячелетие песков ворвался кто-то неведомый. Наверно, он огромный и с большими лапами. Он прошагал от границ песков до самых Сорока Бугров.

До сих пор все следы были известны наперечет. Зем-зем оставляет тонкопалые следики. Джейран, пустынная антилопа, — разделенные печати копытец. Навозный жук имеет тройной след. Но этот новый след не похож на все известные до сих пор две широких полосы протянулись по песку. На каждой полосе поперек отпечатаны палочки, как бы елкой. Можно подумать, что две невиданных размеров змеи ползли все время рядом, беседуя и держа между собой одну и ту же дистанцию.

Тогда еще никто из местных старожилов не знал, что лапы, оставившие след в елочку, — эти лапы сделаны из прочной и толстой резины марки “Красный треугольник”. Автомобили “Рено-Сахара” провели крепкую зарубку через пески.

Вот как это началось. В 1925 году большой караван брел через пески, затерявшись в сотнях километров, в бесконечных кустах саксаула. Во главе каравана ехали пожилой ученый, неутомимый человек, и его помощник. Это были академик Ферсман и геолог, ныне тоже академик, Щербаков. Караван шел точно пьяный, дороги никому не были известны. Люди в автомобильных очках и с кожаными сумками мало полагались на рассказы стариков проводников. Они ориентировались по звездам, по компасу, по карте.

Караван шел к Серным Буграм, о которых, как и обо всей стране, имелись очень туманные сведения.

Караван шел, чтобы рассеять каракумский туман и добросовестно рассказать миру о Серных Буграх.

Караван нес радиоприемник, вертикальные круги для определения астрономических пунктов, деклинаторы, горные компасы, гипсотермометры, анероиды и другие научные инструменты. Термометры в ноябре в центре Каракумов отмечали 29 градусов тепла. Астрономические измерения и радиопеленгация позволили установить, что многие пункты стоят совсем не там, где их поставили на географических картах. Например, самые Серные Бугры отклонялись ровным счетом на 80 километров. Больше ста обнаруженных колодцев вообще были до сих пор неизвестны и нигде не отмечены.

Вечером на два бамбуковых шеста натягивали антенну, и радиоприемник принимал в пустыне сигналы с площади Карла Маркса в Ашхабаде и из Пулково под Ленинградом, а также концерты из Москвы, Бордо и Науэна...

Иногда путешественники видели колодцы, вырытые на больших глиняных площадях — такырах. У колодцев жили туркмены-кочевники — неизвестные дотоле жители этой страны.

Когда караван становился на ночлег, Ферсман с Щербаковым обычно поднимались на ближайшую песчаную грядку и пытались как можно дальше разглядеть горизонт.

“Вокруг расстилалось, — вспоминает Ферсман, — безбрежное море песков, не тех голых песчаных дюн и барханов, которые рисуют на картинах, а море холмов, гряд и бугров, густо заросших кустами саксаула и песчаной акации; бесконечно вдаль уходили эти пески, как застывшие волны беспокойного моря, как прибрежная пена бурых валов. Яркую синюю полосой высилась на юге длинная цепь Копет-Дага...



Так шли мы день за днем, и похож был один день на другой, и похожи были вечера.

Наконец на десятый день с вершины песчаного увала мы увидели что-то новое: среди моря песков, далеко на горизонте, мы подметили какие-то отдельные остроконечные горы и скалы; нам, потерявшим все масштабы, казались громадными эти вершины, как бы рождавшиеся из сплошных песчаных волн; и еще дальше за ними какая-то песчаная полоска, едва различимая в бинокль, — это линия Заунгузского плато, а перед ней таинственные Бугры, к которым мы стремимся...”

Необычный караван вышел к Буграм, содержащим серу. Потом караван ушел дальше на север, на Хиву, пересекши всю пустыню...

— Разрешите доложить вам, что пустыни нет, — заявил академик на заседании в Совнаркоме.

Собравшиеся с удивлением посмотрели на докладчика. Заседание происходило в светлой, уютной комнате, было тихо, слушатели напряженно следили за речью академика.

— Да, да, разрешите доложить, что край, который мы привыкли считать пустыней, на самом деле является населенной частью Туркмении. Мы ожидали там найти полное безлюдье, а встретили богатое население, скотоводов, со своеобразным бытом песчаного человека — “кумли”. В песках живет свыше ста тысяч полукошачников. Правда, они разбросаны на огромном расстоянии, и, в то время как плотность населения в оазисах Туркмении — сто человек на один квадратный километр, в песках на квадратный километр приходится всего полчеловека. Эти люди привязаны к колодцам, у которых живут. Точное количество колодцев в Каракумах не подсчитано, но известно, что их больше двух тысяч. В Каракумах свыше трех миллионов голов скота — верблюдов, овец и коз. Мы считали, что Каракумы не нуждаются

в нас — людях науки, культуры, в работниках хозяйства, медицины. Но там имеется население. Это люди, находящиеся в плену у местных богатеев — владельцев колодцев, в плену у знахарей, суеверия, темноты. Среди этих людей грамотных меньше одного процента. Они не знают о существовании Советской власти. Они нуждаются в советской работе, в хозяйственной и культурной помощи.

Руда с Бугров Кырк-Джульба, расположенных в центре “черных песков”, содержит в себе от сорока до пятидесяти процентов серы. Общее количество серы еще не подсчитано, но и то, что известно, говорит, что эти залежи имеют большое промышленное значение. Сейчас понемногу обнаруживаются всё новые и новые месторождения...

Караван открыл новую страну. И это было сигналом к наступлению на пески. На Сорока Буграх было решено построить завод, поселок, город в пустыне, центр страны “песчаных людей”.

В Ашхабаде начали производить опыты плавки каракумской серы, заготавливать оборудование, собирать людей.

Завод выростал. Но как доставлять готовую серу с Сорока Бугров, когда завод будет построен? Для этого нужно будет по крайней мере двадцать тысяч верблюдов. А нельзя ли попробовать на этом деле автомобиль?

Это была мысль очень смелая, очень новая и рискованная. В Ашхабаде знатоки недоверчиво качали головами. Они вспоминали Главхлопком и машину, прошедшую Африку. Автомобиль “ситроен” стоял в Автопромторге, уткнувшись в стенку сарая.

Тогда через несколько лет после первой поездки в Каракумы, в 1929 году, академик снова вернулся в Ашхабад. Он снарядил в дорогу шестиколесную машину. Через несколько дней они пришли на Сорок Бугров.

С тех пор большая верблюжья тропа была окончательно завоевана.

Автомобили стали все чаще появляться на Буграх. Их всегда пускали по два вместе, на случай какого-либо несчастья. Это был совершенно правильный расчет: если в караване один верблюд падает, его заменяют другим; если один автомобиль не вынесет дороги, его заменит другой, а в дальнейшем — третий и четвертый.

Нужно делать караваны автомобилей.

Караван, идущий сейчас, — тринадцатый.

В котловине у Серных Бугров, в центре песков, за 250 километров от их границ, строили дома, копали глубокие ямы. Сотни караванов везли туда людей, балки, муку, гвозди, колеса, проволоку. Люди качались на верблюдах, отставали в дороге, обжигали носы, пили и пили у колодцев воду, как паровые насосы, и мчались дальше, к Серным Буграм. Верблюды падали по дороге. Они не могли вытащить штабеля широких досок, поставленных на железные колеса специальных двуколок. Половину досок, из которых каждая стоила до ста рублей, бросали в пустыне, а остальные тащили к Серным Буграм. Серые чудовища авто на шести колесах появлялись несколько раз, осиливая барханы, хрипя и кашляя над песками, как простуженные.

А звездными ночами по всем тропам от Теджена и Ашхабада, от Бохардена и Геок-Тепе мчались верхами всадники к сердцу Каракумов и обратно. Днем взмыленные лошади отлеживались в тени кибиток, а с вечера, храпя и подрагивая во тьме пустыни, мчались дальше.

Машины “Рено-Сахара” провели глубокую борозду в горячих песках Каракумов.

Так была подведена черта старой истории пустыни. Началась новая история. В пустыне запахло бензином и машинным маслом.

К колодцу Бохордок машины спешно подвозили мешки с цементом. Здесь их клали на верблюдов и везли дальше, к Серным Буграм. В середине песков вдруг выросли два каменных домика. У домика появился милиционер—туркмен из кочевников, с красными петлицами, с винтовкой на ремне. Над Буграми взметнулась высокая мачта. В один из вечеров прибыли ящики первой коротковолновой радиоустановки. В тесной землянке человек с наушниками возился над блестящими рычагами и вскоре ночью смог уже передать первую депешу в далекий мир. Эта депеша говорила, что контакт есть, и затем передавала ряд деловых сообщений для серной конторы. В них сообщалось, что “доски прибыли, гвозди также, дополнительно шлите продовольствие”. Так вошла в мир первая радиостанция в пустыне Каракумы.

Время уносит из памяти лица первых строителей поселка. Никто из них не считал себя героем. Прибитые разными ветрами к Буграм в беспредельных песках, они сделали первые шаги “социализма в пустыне”.

Так называли смелую мысль: дать туркменскому кочевому народу индустриальный центр.

Смелая мысль обрастала досками, цементом, железом.

Каменщики, землекопы, кровельщики, плотники ехали на высоких верблюдах. Обвязав головы рубахами, они прорезали километры раскаленного воздуха. На пустом месте уже был быт. Врытые в склоны Бугров землянки стали тесными, и началась постройка домов. В середине поля был сложен первый дом из белых камней с желтыми прожилками. Желтые прожилки — это была сера. Были и зеленые и красные камни. В Буграх выходили

наружу красные, зеленые, белые фарфоровые глины. Бугры были еще раз расковыряны очкастыми геологами и признаны хорошими, серьезными.

На склоне одного Бугра стал расти корпус завода. Не хватало домов для жилья. Нужны были каменщики. Каменщиков!.. Пустыня кричала ночью по радиотелеграфу в большой, оживленный и далекий мир.

И каменщики шли. Новые партии выбрасывали караваны на остров в пустыне.

Весть о серном заводе прошла от Ашхабада до Самарканда и ползла дальше. На запад она прошла через Каспийское море и толкнулась в Баку и Тифлис. На Буграх появились армяне, грузины, туркмены, русские, персы. Некоторые приезжали целыми национальными группами с общим котлом.

В пять просыпались и работали до десяти. Потом приходили жара и ветер. Пустели каменоломни и постройки. Люди отходили назад, как на пожаре при наступлении огня. В три часа солнце падало вниз, и люди снова набрасывались на камни.

И когда Первого мая 1930 года на недостроенной стене водружали мемориальную доску, люди собрались вместе, а потом с красным флагом прошли из пустыни вниз, в котловину. Это был уже настоящий, большой, живой поселок.

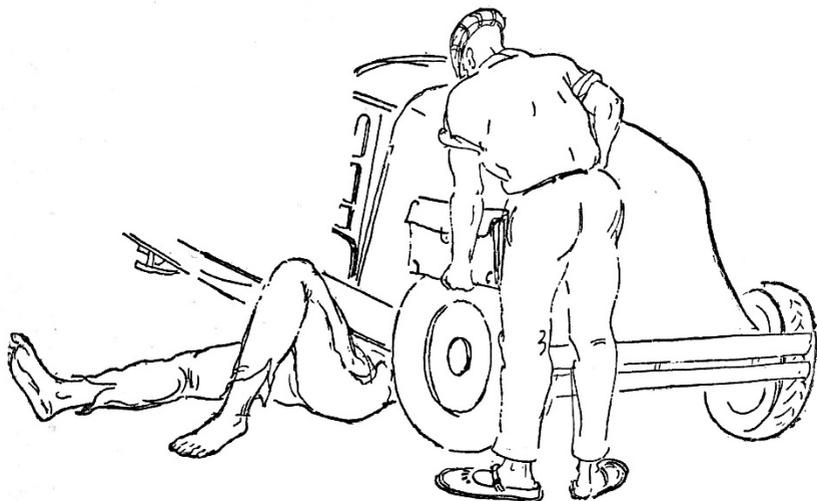
КАК НАЧИНАЛАСЬ ДОРОГА

В шесть часов утра под окном Автопромторга кричал осел. Бухгалтер сидел на крыльце и кидал в осла камешками.

День начинался на конце текинского базара встающим солнцем и пылью. Он начинался трудно и продолжительно, словно восхождение на гору.

На столе директора Автопромторга стоял электрический настольный вентилятор и отгонял жару от стола. Тогда она собиралась в углы и ползла по стенке. На стенке висели схемы: “Автопромторг в пятилетке”. Красные и синие линии дорог бежали в Персию и Афганистан, провозжали Амударью и влезали в пески, разрезая Туркмению на квадраты и многоугольники.

Я увязывал чемодан. Бухгалтер запасал лимонад на дорогу. Мой товарищ в десятый раз рассматривал карту.



“Линии А — функционирующие дороги, линии Б — строящиеся, линии В — запроектированные. Условные цвета: желтый — открытые и подвижные пески, зеленый — районы саксауловых зарослей, серый — известковые и глиняные плато”.

Спутником моим был товарищ Урнис, специальный корреспондент среднеазиатской радиогазеты. Это был сухой и очень длинный человек. Он только что проскакал верхом шестьсот пятьдесят километров вдоль Копетдага, успел уже съездить на

посевную компанию в Ферганскую долину и испытал на себе все азиатские прелести: на лице его красовались четыре шрама от “пендинской язвы”, кожного лейшманиоза — болезни, распространенной в Ашхабаде и вдоль границы. Пендинкой заболевают от укуса москита под названием флеботомус, что значит — кусающий молча.

К машинам уже привязали котлы, и они стали от этого еще больше и необычней. Верблюды, проходя мимо на текинский базар, недовольно плевали в сторону. Шоферы были молчаливы и заняты.

Вот как произошел первый наш разговор с командиром экспедиции.

— Товарищ командор! — сказал Урнис ногам, торчащим из-под автомобиля. — Как вы думаете, сколько дней потребуется нам для переезда?

Ему никто не ответил.

— Дней пять или шесть? Не правда ли, будет горячая прогулка?

Но шофер не считал нужным разговаривать.

— Опыт... Сложная наука управления машиной... — пробормотал я, чтобы поддержать как-то разговор.

— Убирайтесь вы все к дьяволу! — закричал вдруг Нарцисс, показываясь из-под машины. — Нелегкая вас тут носит! Знаешь, Сергей, я бы этих бездельников сбрасывал по дороге, чтобы не совались в пески со своим носом. Пасса-жи-и-ры...

На совещание у директора Автопромторга пришли представители серной конторы, горного отдела и еще нескольких учреждений. Когда были окончательно решены все вопросы, связанные с экспедицией, в комнату влетел Нарцисс и за ним — второй шофер.

— На! — крикнул Нарцисс директору.

Он бросил на стол засаленные рукавицы, сплюнул в угол и сел в стороне сворачивать сигарку. Директор посмотрел на рукавицы.

— На, на! Веди сам машины. Мы, знаешь ли, решили отказаться. Хватит!

— Хватит, — подтвердил другой шофер и несмело посмотрел на Нарцисса и директора.

Представители начали растерянно просматривать бумаги. Нарцисс сидел черный и засаленный, низкорослый и белозубый. Он закурил и теперь смотрел в окно на ишака, как будто все, что от него требовалось, — это наладить машину и отдать директору перчатки. Все остальное его не интересовало. Представители молчали. Спокойствия же Нарцисса хватило ненадолго. Он вдруг вскочил, ударил кулаком по столу и начал кричать, плевать и размахивать руками так быстро, что представители отодвинулись на стульях в стороны.

— Довольно! Двенадцать раз ходил с Сережкой! — кричал Нарцисс. — Дураков мало стало. А на фирюзинскую линию благородных берете?! Нарцисс в отпуск не ходил. А в гараже других шоферов нету? Бока отлеживать... На “фордах” по бульвару кататься! А Нарцисс — опять глоткой песок загребать! Кто мне голыми руками машины из барханов будет вытаскивать? Эти вот твои корреспонденты, что ли? Пассажиры с жиру...

Директор стучал карандашом по столу.

— Ты знаешь... Ты же знаешь, — говорил он, стараясь попадать в перерывы между взрывами бушевавшего шофера. — Ответственный рейс. Никто, кроме тебя, не сможет пройти по пескам.

— А мне плевать! — крикнул шофер. — “Ответственный рейс”! Может, без меня вы штанов надеть не сможете! А моя какая тревога от этого? Я нянькой к вам не приставлен.

— Нарцисс, ты пошел бы потом на месяц отдыхать, мы это уже решили, ты знаешь... Ты знаешь, что с вами идут два помощника на ознакомление с рейсом. Ты знаешь, что в следующий раз они сами поведут машины... Ты что же, хочешь, чтобы мы оба “рено” поломали?

— Нет, товарищ, вы должны понимать, что эта история... — попробовал вмешаться какой-то представитель. Он вежливо улыбался, выбирал выражения попроще и потому рейс называл “история”. — Эта поездка, ее результат касается вас также... Потом насчет глотки: я не думаю, что поездка будет уж такой тяжелой...

Это окончательно взбесило шофера.

— Ты не думаешь?! — кричал он, тараща на представителя глаза. — А? Ты на которой перине будешь спать, гражданин начальник? Ах, ты... Довольно! — гаркнул он директору. — Вот он поведет машину! Энтот вот ферг.

— Заседатель! — добавил молчаливый второй шофер.

Заседатель совсем смутился и начал внимательно рассматривать вентилятор.

— Ну хорошо, хорошо, — говорил директор. — Ты не волнуйся. Все в порядке.

Он снял телефонную трубку:

— Алло! Совнарком, да?... Сегодня не пойдут... Нет... Да не знаю когда... Подыщем водителей.

Они долго еще переговаривались с шофером. Тот ругал Церабкооп, что там его заставили ходить от стола к столу за получением консервов. Ругал еще кого-то за то, что машины ненадежны, что задние рессоры уже прогнулись, что подшипники подозрительны. Потом, увидев в окно, что к машине подошла коза и терлась рогами о радиатор, шофер выскочил, ругаясь, из комнаты. Заседание продолжалось. Шофер вернулся через час.

— Сказку-то обещали хорошую! — крикнул он. — Где же она, я спрашиваю? Ведь сам ты, чай, шофер! Что ж, ты хочешь, чтобы я всю машину в дороге спортил? Не забудь, а то заседателей у вас много, а толку...— добавил он, возвращаясь на минуту.

— Значит, он идет? — спросил я директора. — А как же в Совнаркоме?

— Разумеется, идет. Я это и так знал. Это у нас парень — во! Лучший шофер. Золото. В Совнарком я не звонил. Это сделано лишь для видимости. Я только думал вот: что это так взорвало его? Оказывается, отремонтировали машину плохо. Да в Церабкоопе еще бюрократили. А шоферов таких нам бы еще давай. Всю серную дорогу на себе вывез...

Наши машины пересекли железнодорожную линию, вступили в пески и круто взяли на север. Через полчаса в корзине начали лопаться лимонадные бутылки. Было сорок три градуса тепла. Я обернул голову рубашкой и штанами. Начинались Каракумы. Великая пустыня шла нам навстречу.

Должен сказать, что я был немного разочарован тем, что не увидел сразу пустыни голой и сыпучей, как в учебниках географии. Вместо этого стояли какие-то грязные неподвижные волны, и на них торчали кустики саксаула.

Шли наши машины метров за тридцать друг от друга. Когда мы поднимались на бархан, то видели переднюю машину, когда опускались вниз, то передняя исчезала за песчаной грядой.

Мы стояли все трое, держась за проволоки, которыми был укреплен автоклав. Четверо шоферов сидели в закрытых кабинках.

Из-под колес разбегались в разные стороны маленькие и большие ящерицы. Маленьких было так много, что казались они рыбьей стаей. Ящерицы с желтыми и зелеными спинами бегали по гребням песков, закручивая кверху хвостики. Они были похожи на собачонок, это было очень смешно. Еще интересней ящерица

прячется в песок. Она начинает быстро дрожать, вибрировать всем телом на одном месте, и не успеешь моргнуть глазом, как она уже скрывается под песком.

Я оглянулся назад. Там исчезла уже полоска гор и ашхабадской зелени. Мы остались одни в пустыне.

Начал редеть саксаул, барханы стали круче. С трудом машины переваливали через их горбы. Рессоры подозрительно кряхтели, охали, визжали. Машины останавливались, припадали набок и выделяли всякие удивительные фортели. Потом колеса вертелись на месте и начинали зарываться в песок, как будто автомобиль хотел подражать ящерице. Шофер вытирал с лица пот и переключал скорость.

Когда мы поднялись на бархан, первая машина стояла внизу. Шофер сидел на земле и спокойно разглядывал автомобиль.

— В чем дело, Сергей? — крикнул Нарцисс.

— Ничего! Приехали! Рассыпались подшипники.

Нарцисс осмотрел подшипники, покачал головой и вытер руки.

— Что же, нужно чай пить. Этого и следовало ожидать.

После чая, согретого на костре и наскоро выпитого, мы взяли сломанную машину на буксир и отправились обратно в город.

Исчез тот мир, к которому мы только прикоснулись. Опять начинался текинский базар, караван-сарай, телефонные звонки. Где-то кричал петух. С базара вели баранов, и они поднимали над мостовой облако пыли.

Вечером мы видели геолога, трубу, карту-двадцативерстку, самовар, записные книжки геолога. Все было на своих местах.

— Вы ездите очень скоро, — издевался геолог. — Но не падайте духом. “Дорогу осилит идущий”, — говорит туркменская

пословица. Через пару дней я выезжаю на верблюдах. Тогда мы с вами посостязаемся в скорости...

РАЗГОВОР О СЛЕДАХ И ЗВЁЗДАХ

— Сегодня очень яркие звезды, — сказал геолог Константин Павлович. — В песках сейчас мертвая тишина.

Мы шли с ним по тихой ночной улице. Большая Медведица висела над городом. Пустые окна магазинов выглядывали черными провалами в домах. Шаги по мостовой отдавались на всех перекрестках города; казалось, что двойники наши шли сейчас по каждой улице. Геолог закурил трубку и показал на небо:

— Оно похоже на карту путей сообщения, а пустыня похожа на небо. Я очень привык к пустыне. Мне даже кажется сейчас, что по Млечному Пути движутся верблюды. Караван находится на пути к Луне... Вы же знаете: все путники в песках ориентируются по звездам. Так было тысячи лет назад. Теперь у меня на поясе болтается топографическая карта. Но — черт возьми! — тысячи лет дали ей очень мало пищи. О Каракумах она или очень мало знает, или ничего не знает, или же просто нахально врет. Приходится пользоваться звездными хронометрами, или деклинаторами, то есть снова теми же звездами. Путь к звездам! Вы видите где-нибудь в Мерве черного и сухого кочевника. Он продает на базаре саксаул или верблюжье молоко. А через несколько дней он пробирается за двести верст, в глухих песках.

Мы подошли к караван-сарая. За массивными и мрачными воротами сонные верблюды изредка потряхивали колокольцами.

В полумраке дворов обозначались длинные ряды фантастических тел. Из сарая шел тот душный и особенный воздух, который может быть только в караван-сараях: это воздух,

застоявшийся столетиями, и хотя, несомненно, очень почтенный, но не совсем приятный воздух.

“Ты слышишь усталый звон караван-сарая? — говорится в какой-то восточной песне. — Прислушайся: ты увидишь тысячи лет и тысячи троп, перекрещивающихся под глиняными стенами. То священный отдых путников, завтра на заре идущих в новую дорогу”.

Геолог скрылся в темноте двора, и теперь оттуда доносились обрывки его голоса:

— Караван-баши! О-эй, караван-баши из Бохардена!.. Как дела с бочками?.. А где проводник? Завтра ведь отправляемся, а его носит по чайханам!..

В темноте ему что-то отвечали, проснувшиеся верблюды заворочались и затопали по твердой глине, геолог покричал еще что-то и исчез в конуре чайханщика.

Отдав распоряжения, геолог вышел из караван-сарая, и мы отправились домой.

В ту ночь, между прочим, мне пришлось услышать от геолога любопытную историю, характерную для рассказов о песчаных тропах.

Она относится к 1927 году.

Изыскательские партии наводняли тогда учреждения. Они ехали уточнять географическую карту. “Белые пятна” на карте Туркмении дышали неизвестностью: двести тысяч квадратных километров песков были знакомы только по частям. В книгах спешно заполняли пробелы. В песчаной глуши белели палатки гидрологов, этнографов, геологов, медицинских и экономических партий.

Из песков, через моря, степи и горы, тянулись незримые нити к зданию Академии наук в Ленинграде и к Ашхабаду — столице Туркмении.

Экспедиция шла к югу от колодца Орта-кую.

Ночь перед рассветом. Длинный путь. Три шагающих верблюда. Шуршание холодных песков... Так начинается рассказ о приключениях двух геологов и их проводника в западной части Каракумов.

...К утру они выехали на большую песчаную поляну и остановились. Кусты были охвачены свежестью.

На фоне огромного встающего солнца возвышалась полуразваленная пирамида, неровные глыбы были слеplены из обожженной глины, глина потрескалась от солнца и ветра.

— Стой! — сказал геолог старому проводнику Мухамед-Кули и спрыгнул на песок.

Он подошел к подножию пирамиды.

— Оюк, — сказал геолог, и этим было много сказано.

Оюк — дорожный знак, каменная глыба, которой отмечают в пустыне дорогу, если хотят ее сохранить. Это такая уважаемая, ценная и красноречивая вещь, что перед нею можно снимать шапку.

Оюк, оюк! Мы находимся на неизвестной тропе. Может быть, перед нами один из путей, по которым в течение многих столетий из Хорезма пробирались караваны в Персию, Индию и Афганистан. У этой развалины должны быть товарищи.

Они поднялись на песчаный сугроб и действительно вдалеке увидели вторую пирамиду. Две глыбы издали и молча переключались друг с другом, словно линейные часовые, стерегущие дорогу древности. Они указывали невидимый путь на юго-запад.

Геологи прошли немного в ту сторону и увидели на толстом стволе кустарника грязную, полуистлевшую тряпочку. Когда ее взяли в руки, она рассыпалась.

Все же ей, тряпке, не больше десятка лет. Чьи-то руки непрерывно поддерживают эту дорогу. Но откуда взялся вот этот предмет?

Он нагнулся и поднял какую-то заржавевшую железку. Он повертел железку в руках.

Черная, похожая на гвоздь и на пулю, она была непонятна в пустыне.

Геологи стали вспоминать все когда-либо прочитанные ими книги об этих малоизвестных местах. Перед ними по песку, по барханам проходили ханы и помощники ханов со своими полчищами. Персы гнали туркмен, туркмены — казахов, казахи — опять туркмен. Вся история туркменского народа проходила по тропам, между колодцами. Заблудившиеся отряды Александра Македонского поили взмыленных лошадей. Арабы скакали, размахивая руками, черными от солнца. Блестели кривые шашки персидских солдат Надиршаха. Нукеры — солдаты хана Хивинского — шагали босиком, в сандалиях, в высоких шапках и синих штанах.

Странные народы, давно прошедшие по земле, чтобы исчезнуть в глухих переулках учебников, забегали в эти края: согдийцы, половцы, массагеты.

Геолог даже вспотел от мыслей, от напряжения и поднимающегося солнца.

— Мухамед! — крикнул он проводнику. — Сворачивай! Вот она — наша тропа.

Он махнул рукой на юго-запад. Проводник подъехал, улыбаясь и покачиваясь на высоком сиденье, как гипсовый игрушечный китаец.

— Иолдаш — товарищ — поедет на край земли. Мухамед тоже поедет. Мухамеду все равно, по какой тропе ехать. Яхши, товарищ... Эгей! — закричал он верблюду.

Свирепело солнце. Когда оно уже стояло над головами, нужно было раскидывать палатку, кипятить чай, поить верблюдов.

— Мы приехали на гечемсез-ел, — сказал Мухамед, качая бородой, — непроходимый путь.. Колодцев нет. В наших челеках мало воды. Три бочки пустые и три с водой. Когда все бочки будут пустые, мы умрем.

— Мы будем экономить воду. Верблюдам мы больше не дадим ни капли. Нам хватит на два дня. Это — самый худой случай, — ответил геолог.

В этот день чай был отменен.

К вечеру пропала тропа. Она затерялась в песках. Утром геологи разыскали дорожные знаки. Младший нашел обрывок тряпки. Но один знак не мог указывать направления. Нужны были две точки, чтобы соединить их прямой. Вторая точка была потеряна. В течение этого дня был выпит предпоследний бочонок воды.

Старший геолог устанавливал по компасу обратный путь, когда его товарищ вбежал в палатку.

— Следы! — сказал он. — Я видел их на песке. Они ведут прямо на юг. Три человека и три верблюда.

Втроем они отправились на бархан. За гребнем вдруг начинались следы, глубокая и свежая цепочка ямок, разрезающих песчаную зыбь. В углублениях следов резкие и черные тени прятались от солнца.

— Так...— протянул Мухамед. — Здесь шел русский человек. Здесь также шла старая верблюдица и две ее дочки.

— Я верю, что прошли три верблюда, — сказал второй геолог. — И даже пускай две дочки... Я не верю в русского, Мухамед — не святой дух, а следы не разговаривают.

— Следы разговаривают! — засмеялся старший геолог. — Они разговаривают для Мухамеда. Все кочевники прекрасно

знают следы. Каждый из них знает след каждого своего верблюда хотя бы их было полсотни. Здесь случаются чудеса: при мне туркмен доказывал, что пришедшая из песков семья верблюдов принадлежит ему, верблюдица ушла полгода назад одна, в путешествии она родила верблюжат, их след — ее след. Как они это узнают? След европейца узнать просто; туркмен ходит по песку привычно, всей ступней, как доской, европеец нажимает, несомненно, носком и пяткой... Они узнают — совсем как у Марка Твена, — где шел кривой верблюд и на какой глаз он кривой. Тебе кусты саксаула ничего не говорят, а они видят, что верблюд все время срывал листки с одной стороны — с той, где у него здоровый глаз. При мне узнавали черт знает что. По следу узнавали точный возраст верблюда. Теперь я верю всему.

Если Мухамед скажет, что европеец был с черными усиками и в белом пиджаке, я буду ожидать именно такого...

Весь день они шли за черными усами. Не было ни усов, ни пиджака, ни европейца. Следы оборвались так же неожиданно, как и начались.

Они шли всю ночь без перерыва, взяв по компасу направление прямо на юго-юго-запад.

Компас оставался единственной реальностью: он был металлический, холодный и бодрый, в нем блестела сама цивилизация. В остальном их окружал мир хаоса и фантазий; не осталось ничего прочного, исчезли маршруты, спутались понятия о времени и пространстве, начинались мечты о колодце. В бочонке осталось тридцать стаканов воды.

В полдень геолог лежал над картой и компасом.

— По моим расчетам, мы сейчас находимся в полосе “белого пятна”. Мы забрели в неисследованные районы. Флора и фауна более чем скудные. И возможно, что наши ноги первыми ходят по этим пескам. И чем скорее мы унесем эти первые ноги

отсюда, тем будет лучше для нас. Продолжение прямолинейного пути на юго-юго-запад должно максимально через сутки вывести к Балханским горам.

Следы затерянного европейца, их загадочность, “белое пятно” — все отходило на задний план. Хотелось, чтобы была вода и начало “владений” географической карты.

Впереди качалась борода Мухамед-Кули, проводника, идущего сейчас по железной стрелке компаса. Экспедиция отступала в спешном порядке. Она спешила уйти за пределы “белого пятна”.

По ночам вверху рисовались звезды, тоже ненужные сейчас, спутавшиеся, оскорбленные строгой научностью компаса.

Высчитав по записям всех предыдущих поворотов направление и расстояние, геологи были бодры. Неточность могла выразиться только в одной лишней ночи. Они могли ее пройти напрямик, не взяв в рот ни капли воды.

Но вечером они увидели колодец.

Красная заря заката плыла по горизонту, красные такыры отсвечивали утрамбованной глиной. Три шагающих верблюда отбрасывали на песок чудовищные тени.

Поднявшись на бархан, люди увидели на далеком такыре неожиданную панораму. У колодца стояло несколько кибиток. Перед ними растянулся на отдых длинный караван. Верблюды жевали колючку, группа людей толпилась у кибитки. Люди были похожи на туркмен и в то же время не похожи. Три верблюда замедлили шаг.

— Мухамед, — сказал геолог, — пойди узнай, куда мы попали и что это за люди.

Мухамед отправился к каравану и вернулся, спокойный и равнодушный к происходящим событиям.

— Эти люди, — сказал он, — жители персидской страны. Они спрашивают, откуда мы приехали. Я сказал, что мы были в гостях у дьявола.

В кибитке геологи нашли европейца. Он был без усов, босой и загорелый. Он сидел перед чернильницей и писал какие-то бумажки.

— Расскажи ему, в чем дело, — сказал Мухамеду геолог.

Мухамед сел возле стола и начал с длинного и запутанного предисловия. Человек остановил Мухамеда.

— Я могу говорить по-русски, — сказал он. — Я слышал о вас. Мне передавали, что вы тут ходите. Два дня назад я был в Госторге, в Ашхабаде. Вы простите, товарищи, у меня сейчас горячая работа — контрактация шерсти. Райсовет предложил закончить ее в два дня. Хорошо, что вы пришли. Я работаю здесь полтора года, и никто сюда еще не наезжал из научных работников...

— Пойдите, пойдите, а это? — спросили окончательно запутавшиеся геологи, показывая на караван.

— Это? Караван из Персии. Разве вы не слышали? Караваны ходят к Серным Буграм за серой. Там же из камня делают жернова для растирания зерен. Еще они ходят на Узбой к Куртышу за солью. Они пересекают всю пустыню, а из Персии захватывают с собой шерсть и продают на наши пункты...

— На кой же дьявол тащить им шерсть в пески, почему они не продадут ее в Ашхабаде?

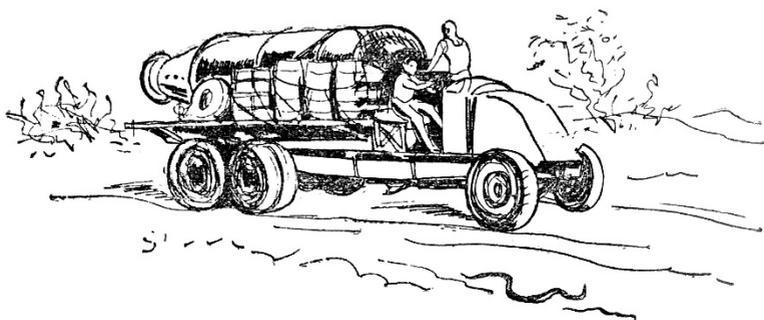
— Э-э-э, нет уж! Караваны на Серные Бугры ходят сотни лет и всегда именно здесь. Вы их никогда не заставите свернуть с этих троп куда-нибудь в сторону.

— Ну и как, советские скупщики пользуются у них доверием?

— Ого! Тут дело так: раз советские туркмены доверяют — значит, и персидские тоже. И мы им доверяем. Была бы бумажка, к которой они приложили свой большой палец. “Кол-басмак” — это крепче железа. Был у меня случай. Подписали договор по контрактации, несколько пальцев приложили, копию — себе, а сами ушли кочевать к самой Хиве, на тот край песков. Проходит — не шутка — целый год. Являются, показывают какие-то бумажки. “Мы, говорят, шерсть обязались сдать. Привезли вот”. Прямо катавасия с ними! Не спешат люди. А тут, сами понимаете, промфинплан, жесткие сроки, то да се...

— Великолепно! — сказал геолог. — Великолепно! Приготовьте нам, пожалуйста, ночевку. С дороги мы немного устали и совсем не прочь бы отдохнуть.





ПУТЕШЕСТВИЕ К СОРОКА ХОЛМАМ

ПЛОХОЕ СОЛНЦЕ

Мне не спалось в эту ночь, и я ходил около двух караван-сараев: старинного и нового, в котором фыркали автомобили. С текинского базара донесся гудок автомобиля. Нарцисс был уже там и делал последние приготовления. Он приносил веревочки, проволоочки, лез под машину и стучал молотком. От этого в старом караван-сарае верблюды вздрагивали и стучали ногами.

“Ты слышишь усталый звон караван-сарая? То тысячи лет и тысячи троп...”

Посреди пустой площади, на рундуке, сидел молодой туркмен: он болтал ногами, сочинял песню и, как обычно, тут же пел ее.

“Утро спит. Утро где-то задержалось в дороге. Почему же я так рано приехал в город? — пел он. — Смешные автомобили

стоят здесь, они очень плачут и очень ругаются. Им нужно ехать в очень плохую и ветреную дорогу. А я вот пойду к товарищу Ходжа в Туркменгосторг, и, как только взойдет солнце, он мне выдаст ордер на чай, сахар и мануфактуру. О!”

В пять часов утра мы уехали.

Мы ехали по колдобинам, по рытвинам, по ухабам, по выемкам. Мы проваливались в котловины, подскакивали вверх, наклонялись набок и снова падали вниз. Иногда спереди, из кабины шофера, появлялась голова; она смотрела вверх и произносила:

— Сегодня будет плохое солнце. Дай-ка, Ваня, потянуть.

Тогда Ваня, помощник, протягивал шоферу резиновую трубку от насоса, продетую в одну из наших бочек с водой. Втянув в себя немного воды, шофер опять давал ход, и мы снова цеплялись за выступы котлов.

На песчаном холме, за тридцать километров от города, стоял столбик, на столбике висели умывальник и полотенце. Сперва мы не поняли, в чем дело. Бугры расположены так, что не видно, что делается за двадцать шагов.

Когда машина поднялась на холм, мы поняли, что столбик не одинок. Там стояли палатки, у палаток были люди. Люди рыли дорогу. Она ровной стрелой бежала к северу, такой ровной, что было даже странно видеть прямую линию там, где царствуют нагромождения бугров и саксаула — самого кривого в мире растения. Это была линия Б карты — строящаяся дорога. Она дойдет до серного завода, перережет пески и отправится дальше к Хиве, соединит с железной дорогой Хорезмский оазис и целую республику — Каракалпакию.

Люди копали могилу старым Каракумам. Они работали в автомобильных очках, защищающих глаза от пыли. Они

дорывались до твердого грунта и развозили его, утрамбовывая им пески.

— Куда вы едете? — кричали они нам.

— На серный завод!

Люди удивлялись. До сих пор им приходилось видеть машины, едущие только до Бохордока. Опираясь на лопаты, они долго смотрели нам вслед.

Бохордок — это транспортная база серного завода. Он лежит за 110 километров от Ашхабада. Здесь граница тяжелых песков. Машины обычно довозят людей и строительные материалы до Бохордока. Здесь же машины передают свою ношу верблюдам.

В полдень мы выехали в сыпучие пески. Автомобили зарывались колесами в песок и не могли подниматься на барханы. Нужно было слезать и идти, проваливаясь в песок, собирать редкие ветки саксаула, кидать их под колеса, вынимать из-под кузова доски, толкать автомобиль, потеть и облизывать трескающиеся губы. Слезать вниз — все равно что ступать на горячую сковороду. Нам не хотелось вылезать. Тогда Нарцисс сходил с машины и начинал громко ругаться. Он бегал, черный и полуголый, по песку, размахивая руками. В одной руке у него был гаечный ключ, в другой небольшой ломик.

— Что же вам, фэзтон подавать, молодые люди? Пассажиры! Кто будет саксаул ломать? — кричал он. Мы вставали, ломали саксаул, вынимали доски, подходили к бочонкам и пили теплую воду, потом опять ломали саксаул, но вода сейчас же испарялась из нас.

Я видел, как у товарища моего, в то время как он пил, выпитая вода уже выступала на руке капельками. Его брезентовые сапоги пропотели насквозь, точно ситцевая рубашка. Мне уже нечем было потеть. Но человек должен потеть, а то он завянет, как

дерево. Я шел в комнатных туфлях по песку и чувствовал, как поджаривались мои пятки. На песке температура достигала 90 градусов, но я уже не видел ни градусника, ни автомобиля, ни шофера. У меня начинался жар.

Я ощупью находил раскаленный автоклав и садился около него. Автомобиль вздрагивал, и мы лезли с ним куда-то на гору. Под колесами трещали положенные нами ветки.

Мы ехали, отыскивая след верблюжьих двуколок, прошедших здесь раньше. Это особые колымаги с широкими колесами, служившие, наверно, еще во времена скобелевских походов для перевозок пушек. На двуколки кладутся доски, в них впрягают до двадцати верблюдов, и они тащатся через пески — тащатся день, другой, третий, неделю и другую, наполняя пустыню отчаянным скрипом.

После полудня мы потеряли след двуколок. Ветер поработал здесь над песком, нагромоздил свежие, рыхлые горы.

Передняя машина стала на вершине сугроба и даже как будто приподняла колеса, не осмеливаясь ступить дальше.

Сергей стоял на краю бугра и, приложив руку ко лбу, смотрел вдаль. Помощник побежал вниз и скрылся за барханом. Поняв, в чем дело, мы бросились в разные стороны.

Мы ощупывали глазами каждый холм. Дороги не было.

Потом вдали, на гребне, мы увидели помощника. Он стоял и размахивал рукой, давая понять, что им найдены какие-то признаки тропы.

— Живей, ребята! — крикнул Нарцисс.

И прежде чем мы успели ухватиться за веревки, державшие автоклав, он рванул машину вперед, и она понеслась по прямой, совершенно игнорируя тропу. В эти минуты она похожа на танк: она подминает под себя кусты саксаула и взрывает песок, мчась с бархана на бархан.

Мы понимаем, что не должны терять ни одной секунды. Мы с молниеносной быстротой соскакиваем и летим рядом с машиной.

Одолев две трети склона, машина теряет собственные силы, но мы подхватываем ее, и вот она на наших руках долетает до вершины и снова несется вниз. Ура! Ура! Мы бежим вокруг машины, размахивая руками и ветками.

Нам надо успеть забежать вперед и на подъеме подбросить под колеса ветки — опоздание на секунду грозит потерей инерции. При этом мы издаем максимальное количество звуков — нам кажется, что это помогает машине двигаться.

Какое-то радостное улюлюканье, крики, бухгалтер, подпрыгивающий, как леопард, бочки, качающиеся перед глазами, песчаный туман... У меня жар, я знаю: семь человек внезапно сошли с ума за двести с лишним километров от живого мира.

И вот в этот момент мой взгляд падает в шоферскую кабинку. Я вижу там человека, который превратился в камень. Это бронзовый монумент, отлитый в виде шофера, судорожно вцепившегося в руль. Его взгляд устремлен под колеса, и никакие силы его не оторвут оттуда.

Черные волосы и грязные капли пота лезут ему в рот, глаза засыпает пыль. Он открывает рот время от времени лишь для того, чтобы обругать кого-либо из нас, если тот не вовремя подбросит ветку.

Я знаю: он сейчас невменяем, у него глаза злые, как у змеи. Но все это будет продолжаться не больше двадцати минут.

Мы разведем костер. Из бочонка мы наполним чайник славной водой, теплой водой, пахнущей бочкой, Ашхабадом, автомобилем. Развернем кульки с сухарями и откроем консервы.

“Что же вы, ребятишки, — крикнет Нарцисс, — не идете чай пить? Ешь, ешь, небось проголодался, как волк...”



Он будет смеяться, скалить свои большие белые зубы и наливать чай.

Потом он достанет из своей памяти одну из бесчисленных историй.

Сегодня Нарцисс рассказывает о Персии.

Утром мы ехали по ровной тропе, идущей рядом с глиняными такырами. Вдруг передняя машина сделала прыжок в сторону, потом в другую, начала вихляться спиралью, вообще выделять движения, совсем недостойные машины, несущей на спине двухсотпудовый автоклав. “Это еще что за фокусы?” — подумали мы, соскакивая на землю.

Ближе нашим глазам открылась такая картина: перед радиатором автомобиля по песку бежала змея-щитомордник, быстро передвигая свои кольца, а автомобиль гнался за ней.

Нарцисс, улыбаясь во весь свой рот, направлял на змею машину.

Сделав последнее отчаянное усилие, змея прыгнула в сторону, в густой куст, и оттуда донеслось ее злобное шипение.

— Это пустячки, — рассказывает Нарцисс на привале. — Это щитомордник. Тоже ядовитая, как и кобра, но с коброй здесь придется встретиться не каждому. В Персии змей больше. Я ходил раньше от Автопромторга на Мешед.

Там тоже пески есть. Там бывает раз в сколько-то лет змеиный ход, это большая редкость: змеи идут валом, видимо-невидимо, переселение всех змеиных народов. Однажды я шел на легковом “форде”. Два пассажира со мною. Вечерок приближается. Солнышко заходит. “Не сделать ли привал?” — думаю. Поглядел на песок — что за нелегкая сила? Вроде как будто змеи ползут, ну, словно трава выросла, и вся живая — головами мотают и через тропу поперек лезут. Неприятно стало. Я ихней породы перевидал, но тут действительно немножко за сердце взяло: не слышал я раньше про такие штуки. Хорошо, если это безвредная какая, ну а если это очковая? Налезет в кузов — и пропадай тогда молодая жизнь. А тут пассажиры тоже заметили, наклоняются сзади. Бледные, руки трясутся. За пиджак мой уцепились, просят погонять скорей. Дал я третью — ну, пронеси нелегкая! И так, не знаю, долго ли, нет ли, лечу, а сам думаю: а ну как поломка и придется встать? Вниз не смотрю, только слышу свист из-под колес...

— Все-таки выбрались?

— Нет, как видишь, меня слопали змеи... Вот только, когда приехали в гараж... смотрю, а у меня колеса в зеленой грязи до самых крыльев. И обрывки висят.

Засыпая, я слышал, что они всё еще спорили о змеях, о дороге, о миражах, об автомобилях — “рено”, “форд”, “ситроен”.

— Раньше нужно было дороги строить, — говорил молодой шофер, — потом уже завод. Вот и парься наш брат как ошалелый...

— Это шоферский уклон, — мягко возражал бухгалтер. — Если я доктор, скажем хирург, то что же по-моему: сперва нужно аппендициты у всех вырезать, а потом уж начинать строительство?

— Я так считаю, — примирял их другой шофер, — все нужно — и дороги, и завод, и разные там аппендициты...

Я хотел записать все это, но, достав химический карандаш, убедился, что он не выдержал дороги: его масса расплавилась и стала мягкой, как воск. Тогда я его швырнул за бархан в кусты.

К вечеру мы приехали в Бохордок. Мы нашли в нем один колодец в одну туркменскую кибитку, стоящие посреди песков. В кибитке сидел заведующий базой и штопал носки.

ЦЕНА ВОДЫ

Ночью пустыня” плакала. Ветер свистел и плевался в песках. Всю ночь кричали верблюды и теснились к нашей кибитке. Они пытались подобраться к толстым мешкам Овез-бека. Овез-бек, развозивший почту по пустыне, сидел сейчас в кибитке и играл в карты с заведующим базой. По временам он выходил из кибитки и бил толстой дубинкой по бокам верблюдов. Этот гулкий звук раздавался в лесках, как удары в огромный барабан.

Всю ночь на пригорке стоял какой-то бородатый человек и протягивал длинные руки навстречу ветру. Все время он кричал гортанным голосом:

— Эй-эй-эй-эй-эй! Онбиш-дюэ! Эгирма-дюэ! Придут караваны!.. Придут караваны!.. Идут. Идут...

Я помню луну, поднявшуюся над колодцем Бохордок. Это был большой и нелепый диск, покрывавший все фиолетовым цветом. Жалкая одинокая кибитка, колодец, две молчащие машины, верблюды и непонятное нагромождение каких-то тряпок и бараньей шерсти — все это было фиолетовым и почти



фантастическим. “Страна колодцев” — записано у меня. Вот мы на географической карте Каракумов. Когда-то она была для меня желтой пустотой, где нет ни сел, ни городов, ни дорог, одни только точки с непонятными надписями: “Кол. Шиих, Кол. Лайлы, Кол. Яннык...”

Вот они, эти “Кол.”, — святая святых песков: колодцы, жильё, средоточие быта и легенд. Теперь передо мной скромный натюрморт пустыни: небольшой сруб колодца, веревка, кривое ведро валяется на песке. Это колодец, хранящий богатство каракумских подземелий — воду.

Наступил очередной выезд Овез-бека. Он выбежал на песок и схватил фиолетовую дубинку.

— Чит! Чит! — кричал он верблюдам. — Ах, зерер-хей-ван! Вредные животные! Вы опять хотите слопать “Известия ЦИК”, как в прошлую пятницу? Чит! Пусть у вас на языке вскочит большой чши и маленький чши. Этот верблюд просто контрреволюционер, товарищ корреспондент!

Овез-бек подмигивал нам и улыбался. Он был большой юморист, вполне “светский” человек. Он носил черный пиджак и ослепительные кальсоны, опоясанные шелковым платком. Всю дорогу он рассказывал “литифе” — туркменские анекдоты. Потом он пел персидские песни. Он знал Фузули и Саади, он говорил по-русски и читал газету, называя ее



“Иправда”, так как туркмены не могут произносить сразу две согласные буквы в начале слова.

Овез-бек ехал к Серным Буграм несколько ночей, чтобы вручить почту председателю ревкома пустыни. Он катился в пески, разбрасывая вокруг себя искры последних новостей.

Он шел теперь за бархан, и там его белые кальсоны блестели под луной, как паруса далекой шхуны. Луна ныряла в облаках.

С пригорка опять донесся крик бородатого человека. На пригорке я увидел несколько бараньих папах.

— Кто это? — спросил я Овез-бека, показывая на бархан.

— Это кумли, — пренебрежительно сказал Овез-бек, — люди песков. Кочевые люди. У них ничего нет. Огород — нет, виноградник — нет, арык — нет. Они таскают кибитку с собой. У них есть много верблюдов, и они думают только о верблюжьей колючке. Бикер-адам — бедный человек. Не смотри на них. Идем играть в очко, товарищ корреспондент.

Но мы с приятелем отправились на пригорок, к людям песков.

“Они не придут, — говорили кумли, — ни сегодня, ни завтра, потому что злой сыргын занес все тропы песком”.

— Салам алейкум, — сказал я туркменам. (И несколько голов поднялось от земли.) — Здравствуйте. Нет ли у вас напиток? Одну чашку свежей воды. Наша совсем протухла в бочках.

— Алейкум салам, — ответил высокий человек с посохом. — Вы едете в су-бой? (В сторону реки) Да будет у вас хорошая дорога. Вы едете к кукурту, к пороховому камню. Ваш аутомобил на шести колесах, — да будет спокойна его душа.

— О, за душу его мы не беспокоимся. Выдержали бы подшипники! — ответил мой товарищ с иронией, оставшейся на пригорке непонятой.

Кочевники начали тихо и быстро говорить между собою.

— Подшипнеке? — произнесли они с удивлением. Еще одно слово было брошено в пустыню. Туркмен встал и, захватив с кошмы широкую чашку, пошел к колодцу.

— Мы все, нас двенадцать человек, из двух родов, ждем, когда возвратятся наши караваны, — сказал старик. — Там наши сыновья и братья.

Люди песков, оказывается, ждут возвращения караванов, которые отправлены на Серные Бугры недели две назад. Они сами хотели подрядиться перевозить доски к Серным Буграм. Но долгое отсутствие караванов, очевидно, есть дело рук дьявола, который сбивает караваны с прямой дороги, с одной из старейших троп, которую никогда до того времени не заметал сыргын.

— Пей, пей, — сказал туркмен, подавая мне чашку, — это самая хорошая вода во всем мире.

Мы попробовали. От воды пахло дохлыми кошками.

— О, прекрасная вода, отец! Но что там такое есть в колодце? — спросил я.

— Ничего. Позавчера верблюд упал в колодец.

— Верблюд упал в колодец? Где же он сейчас?

— Лежит там, в колодце.

— Почему же вы его не вынули?

Туркмен снял папаху, из нее вынул цветной платок и вытер пот с лица и затылка.

— Почему? Как же его вынешь? Мои руки короткие, твои руки длинные, ты русский человек вытащи. — Потом он добавил, покачав головой: — Знаем, жалко. Очень жалко. Хороший верблюд был. Три верблюда этот верблюд стоил.

Я вспомнил, что действительно есть очень глубокие колодцы. Многие из них построены, может быть, тысячу лет назад,

но никто еще не придумал способа извлечения падающих туда рассеянных верблюдов.

Жалко верблюда, твоя правда. Но и вода плохая — такую воду нельзя пить.

Я выплеснул воду на песок. И вдруг произошло какое-то замешательство. Все кочевники поднялись с земли и быстро заговорили. Они показывали на меня и часто повторяли “су”, что означает “вода”, — слово, популярнейшее во всей Средней Азии.

Зачем ты, плохой, проклятый человек, приходишь из города делать нам зло? Чит! Теперь не придут караваны...

Старик махнул рукой и сказал, явно пытаясь загладить инцидент:

Молодой иолдаш приехал из далекой стороны. Он не знает цену воды...

Цену воды? Я посмотрел на старика. Нет, я знал цену воды. Я прошел от Ферганы до Ашхабада и от Кушки до колодца Бохордок, я ходил по Азии и видел гнилье, тощие арыки, и зоб у кокандцев, и пендинскую язву на афганской и персидской границе, и хлопок, растущий на воде... Нет, я знаю цену воды, старик. Я знаю, что в древние времена арабы три года держали город Мерв под страхом, потому что сидели на реке Мургаб, дающей воду Мерву. Я слышал о раздорах узбеков и туркмен из-за воды и знал, что город Куны-Ургенч стал пустыней, когда Амударья ушла от него в другую сторону.

К нам подошел заведующий базой. Он понял крики.

— Что вы сделали! Что вы сделали! — вскричал он. — Вода — самое святое в песках. Закон пустыни запрещает даже умываться. Они уйдут от колодца.

Мы ушли в кибитку, и заведующий пояснил мне бохордокские дела. Этот колодец — один из первых советских колодцев. Он не принадлежит частным хозяевам, как остальные.

— Нам нужно окружить колодец доверием. Вы работаете на наших врагов... Теперь, в эту ночь, нас может выручить только природа... Если ветер успокоится, караваны дойдут до нас. Две недели, как они повезли продовольствие на завод. Где они? Почему я знаю, где они? Вот уже пять дней их ждет киномеханик из Бохардена, чтобы ехать к заводу...

Здесь мы заметили еще одного человека в кибитке. Он спал в углу, на земле, в позе отчаянной терпеливости.

Мы отправились спать. Луна слонялась за облаками, потом снова вынырнула в чистое небо. В этот момент людям у машин послышался далекий звон колокольца.

— Идут! — сказал кто-то из нас.

— Ничего не известно, здесь все может показаться, — ответил шофер. — А может, где-нибудь далеко, верст за сорок...

...Когда мы проснулись, у колодца было торжественное оживление. С севера на такыр крупными шагами шла длинная вереница верблюдов, качая головами и звеня тяжелыми колокольцами, подвешенными на шеях. Это был караван с завода. Это был наш первый встречный караван, настоящий караван среди пустыни. Он вез рабочих с Серных Бугров.

Когда мы увязывали бочки, караван еще спал, раскинувшись на песке, потряхивая во сне колокольцами. Горбы верблюдов в бликах солнца были похожи на горные хребты и утесы. Гладкая глина такыра блестела, как серебро. Сонный бухгалтер сворачивал одеяло. Из кибитки струился дымок. Это было последнее, что я увидел в Бохордоке.

ВЕЩИ

Вокруг нас очень мало предметов. Солнечные закаты, дым костров, складная кровать, деревянные бочки, кривые ветки — они

не заполняют пространства. Большой мир с маленькими вещами видит человек, идущий по пустыне. Этот человек идет одинокий и затерянный, точно муха по столу.

В пустыне, конечно, и не может быть много предметов. Но зато все вещи играют здесь первые роли.

Мне пришла в голову мысль описать вещи, окружающие нас в экспедиции. Я их вижу каждый день. Я притрагиваюсь к ним, щупаю, воспринимаю как постоянных спутников. Одни из них говорят о целых столетиях опыта кумли — песчаного человека, создавшего именно такой предмет. Другие изобретены шоферами или научными работниками. Третьи созданы самой пустыней. Вот краткий список этих предметов.

Бочки, резиновые трубки, ведра, медный кувшин — кумган. Это вещи, рассказывающие о воде. У нас двенадцать бочек, они привязаны рядом с автоклавами и оставляют для нас очень мало места. Мы их ругаем. Но это замечательные бочки-анкерки. Можно увидеть такие бочки в Ашхабаде, в караван-сараях, в экспедициях, у кочевников. Они отличаются от обыкновенных только тем, что у них приплюснуты бока, и это делает их похожими на баулы, с которыми ходят на базар. Но это очень важная деталь. Они сплюснуты, чтобы легче было их перевозить на верблюдах: круглые бочки могли бы вертеться и слишком придавливать верблюжьей бока.

Такие бочки употребляют кочевники. Из посещаемых и людных колодцев воду достают железным ведром; там есть ворот, колесо, ковш. У глухого же колодца вы найдете только ведро из бараньей шкуры. Но хорошо, если колодец мелкий. А если он в шестьдесят метров глубиной?

Однажды мы увидели странное зрелище. Пять женщин шли по такыру. Они тащили за собой длинный канат, который вылезал далеко-далеко из колодца. Так обыкновенно здесь достают воду.

Мой товарищ набрал холодной воды в брезентовую рукавицу и повесил ее к машине. Рукавица превратилась в ведро. Она долго сохраняла холодную воду.

Мы думали, что холодная вода лучше утоляет жажду, чем теплая. Это неправда. Туркмены лучше знают жару, и они всегда пьют чай, зеленый восточный чай без сахара.

Нужно умело подбирать для поездки необходимые вещи. Они должны быть легкими, небольшими, полезными, умными, порядочными. Никто не станет брать в пустыню велосипед: велосипед не может ходить по песку. Это трудно и автомобилю, но здесь человек помог своей изобретательностью.

В ящике с инструментом мы везем автонасос. Это обыкновенный насос для накачки воздуха в шины. Мы накачиваем шины не совсем обычно — только до половины: на мягких шинах машина легче идет по песку. Но воздух от нагревания расширяется, шины становятся тугими; тогда мы открываем клапаны — воздух выходит; но при этом свистит и шипит разными голосами.

Для облегчения подъема нам служат доски, саксаул, тряпки. Но иногда бывают совершенно неподвижные обстоятельства. Тогда помогают только быстрая сметка и изобретательность на ходу.

Однажды машина экспедиции Ферсмана остановилась на полном ходу: мотор сдал. Осмотрели — оказалось, на куски разлетелась пружина одного цилиндра.

Где достать пружину на сто шестьдесят седьмом километре в песках? Вдруг вспомнили, что в сиденьях для шоферов есть пружина. Вытащили пружину, поставили в цилиндр и пошли дальше.

Иногда и в песках бывают бесполезные вещи.

Я захватил тюбик вазелина — смазываться от ожогов. Вазелин, конечно, растаял и вытек из тюбика.

В пустыне не нужны веера, трусики, домашние туфли и много других предметов.

Туркмены, жители самой жаркой нашей республики, ходят в огромных бараньих папахах. Это не парадокс. От солнца нужно укрывать тело и голову бараньей шерстью, шапками, теплыми халатами. Мы встречали рабочих, ехавших с серного завода.

В разгар знойного дня все пассажиры каравана были с головой укутаны в одеяла, полотенца, штаны и всякие тряпки. На одном пассажире была надета пятиведерная бочка; бочка качалась, размахивала руками и пела песню.

Из пустыни нужно выкинуть наши трусики, вазелин и туфли. Следует ходить в брезентовых сапогах.

Но зато очень часто не хватает нужных предметов. Они не изобретены, не сделаны, о них никто не думал.

В каракумской истории есть один классический пример пренебрежения законами пустынной географии. В завоевании Хивы участвовал отряд подполковника Маркозова. Он вздумал пройти на Хиву напрямик через Каракумы.

Были захвачены такие вещи, как бурдюки и бочки с водой, множество квашеной капусты, сто бутылок коньяка, чеснок и даже капли Иноземцева: -чеснок от цинги, а “Иноземцев” от холеры. Но больше всего тут было пушек, ракетных станков и военного снаряжения.

Капуста испортилась на первом же привале, капли высохли, а воду почти всю выпили. В отряде было две тысячи людей, пятьсот лошадей и четыре тысячи верблюдов. Воды же захватили мало. Песок был накален до 80 градусов.

Однажды днем в отряде лопнули все наличные термометры. Последнюю температуру они показали 45 градусов. В этот день

солдаты начали видеть миражи: в воздухе висели озера, реки, деревья.

Сначала было приказано не давать воды лошадям и верблюдам, а потом перестали давать ее и людям. Шел отряд на колодец Орта, что значит “середина”. Дороги не были известны. Сзади отряда весь путь был усеян трупами лошадей и верблюдов, шинелями, ранцами, рубахами и штанами: их тяжело было нести. Армия шла голой. Но это было еще хуже: солдаты начали сходить с ума. Вечером часовые отказались охранять лагерь. Это уже была не армия — сотни обессиленных людей ехали, как мертвые вещи: их привязали к верблюдам по бокам, по два человека к каждому.

Солдаты побросали свои винтовки. Они поняли, что уж эти-то предметы были здесь совершенно лишними. Многие солдаты погибли или вернулись домой искалеченными. До колодца же Орта дошли всего шесть человек. Солдаты влезали в глубокие колодцы, дышали и не хотели вылезать наверх, где была жестокая пустыня и генералы. На другой день, несмотря на угрозу расстрела, они отказались идти, отказались караулить, отказались встать, сесть, смотреть, слушать. Они лежали. “Скажите труп, — писал позже об этом походе генерал Терентьев, — скажите труп: отчего ты лежишь в моем присутствии и не отдаешь мне чести? Он не слышит и не боится. Что такое двенадцать пуль для человека, который и без того готов отдать жизнь за двенадцать капель воды!..”

Любопытно, что туркменские отряды ездили в то время по пескам и развозили дохлых собак: они бросали дохлых собак в колодцы. Они лучше знали законы песков и пустыню обращали против врагов. Закрывать колодцы — значит закрыть пустыню на замок.

Туркмены, живущие в песках, хорошо умеют отыскивать воду. Существует даже особое звание “искателей воды”. Эти люди

обладают как бы шестым чувством, передавая его из поколения в поколение. Нужно большое искусство, чтобы без всяких приборов найти место для колодца, чтобы вырыть колодец и сохранить его от разрушения; а некоторым колодцам в Каракумах много сотен лет.

Говорят, что в иных местах вода находится совсем неглубоко в песках, ее можно откопать руками. Я не верил в каракумских зайцев — как же они живут без воды? Но зайцы перебегали нам дорогу. Они достают влагу в песке. Благодаря этой влаге здесь растут и кустарники.

Но все-таки предметы, созданные наукой, лучше и умнее, чем зайцы и древнее искусство.

Однажды экспедиция Ферсмана придумала аппарат для перегонки соленой воды. Это нечто вроде самогонного аппарата. Ведь в Каракумах почти во всех колодцах соленая вода. Если такой аппарат будет сделан, его станут возить в экспедициях. А пока мы проклинаем бочки, пьем теплую воду через вонючую резиновую трубку, кумган ставим в костер.

Нарцисс вынимает свою складную походную кровать и ставит у машины. Мы же укладываемся на котлах, на ящиках и всюду — только не на земле: мы боимся фаланг и скорпионов. Фаланга похожа на ядовитого мохнатого паука.

Мы убили одну черную фалангу величиной с большое блюдце. Есть еще один, самый редкий, очень страшный паук-каракурт. Это малюсенький черный паучок, но если он укусит верблюда в его толстую пятку, то верблюд умирает. Бывают годы, когда каракуртов рождается много, и в такие “урожайные” лета верблюды падают целыми стадами.

Вот нам недостает еще одного предмета. Хорошей кошмы. Кошма — это подстилка, сделанная из бараньей шерсти. Кошмой

покрывают кибитки, на кошме спят скотоводы и не боятся фаланг и скорпионов: насекомые не выносят запаха барана.

Можно описать еще несколько предметов.

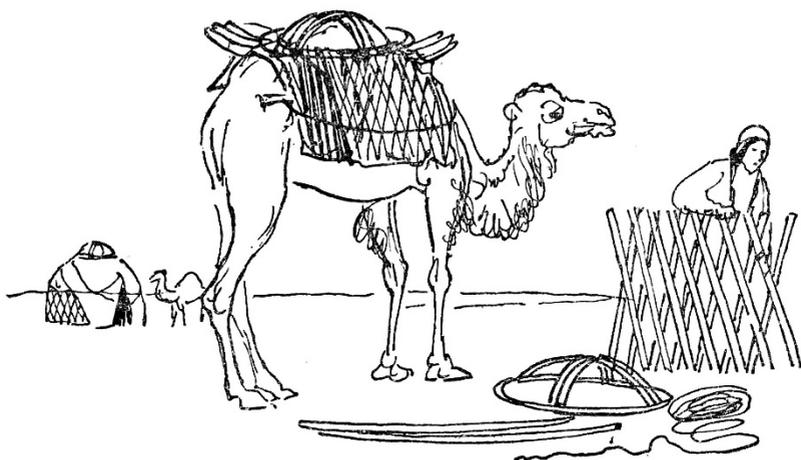
Очки. Это особые автомобильные очки, которые защищают наши глаза от света и пыли. В некоторые моменты поверхность песков ослепительно блестит от солнца. Если не надеть очки, глаза болят нестерпимо.

Запасные колеса. Домкрат. Лом. Сигнальные факелы. Вещи — молчаливые и незаметные, как герои. Они просыпаются в трудные минуты аварий.

Автомобильный счетчик. Ни на один предмет мы не смотрели так часто, как на него. Иногда за сутки он показывал только четыре километра. Его стрелки издеваются над нами, они приучают нас к терпению и выдержке. Эта вещь здесь становится научным инструментом: только по автосчетчику узнают точное расстояние между колодцами.

Длинная рогатина. Ее мы сделали уже в дороге, нас научил этому один туркмен. Рогатиной ловят ящериц зем-зем. Нужно прижать ее к песку так, чтобы два зуба рогатины обхватили ящерицу. Только держать следует крепче, иначе зем-зем убежит. Они очень сильны. Есть зем-земы до полутора метров длиной. Они могут ударом хвоста сильно расшибить руку. Есть ящерицы ночные, есть меняющие свою окраску: от раздражения они становятся зелеными и розовыми. Есть чирикающие — они чирикают, как птицы. Не многие знают, что в туркменских песках водятся барханный кот, кобра и полосатая гиена.

Мой фотоаппарат. Не нужно думать, будто здесь нечего снимать, что тут страна однообразия. В нынешних песках есть пища для фотоаппарата. Здесь каждый день приносит все большее разнообразие вещей. Предметы шагают по пустыне, чтобы завоевать ее.



В нескольких местах в песках находили стоянку доисторического человека. Вещи говорили, что и тогда люди в пустыне занимались скотоводством. Это почти такие же предметы, как и теперешние. Несложный быт скудного скотоводческого хозяйства, суровая обстановка, презрение культурного мира к людям, населяющим пески, не могли способствовать расширению ассортимента предметов, окружающих кумли. Наоборот, быт работал на то, чтобы как можно сузить круг нужных вещей: это отличительная черта всякого кочевья.

Туркменская кибитка — довольно сложное и крепкое сооружение. Но этот дом может быть разобран в течение сорока минут на несколько составных частей: кошмы, порог, верхние и нижние ободья, поперечная планка, очаг, крепы. Но любопытно: во всем этом нет ни одного гвоздя! Все скреплено ремешками и лентами — “вак”. Гвоздь — это предмет из города. Лишь теперь

пески начинают получать хорошие, удобные и необходимые вещи городской культуры. Но настоящему развитию быта кумли поможет переход к окончательной оседлости. Сейчас пески изучают, измеряют, узнают со всех сторон.

Я встречал палатки геологов и гидрологов. Они живут под громадным добротным брезентом, напоминающим палатки пионеров Юкона и Аляски. Брезент прикрывает иногда множество людей, столы с чернильными приборами и ворохами бумаг, складные табуреты, фотоаппараты, бочки, постели, железную печь, хаос, состоящий из книг, научных приборов, примусов, мыльниц, консервов, патронташей, чемоданов, сапог, бритвенных приборов, зеркал, оружия, термосов, биноклей и предметов неизвестного назначения. Я не представляю себе, что будет, когда все это снимется отсюда. Это место будет окурено жизнью, как старая трубка. Так живут эти разведывательные партии везде. Как и кибитку, ничего не стоит весь этот полевой быт через час упаковать в ящики и повесить на верблюдов.

Предметы в пустыне разговаривают. Они красноречивы. Они плачут, или смеются, или агитируют. Мне хочется открыть новую главу, чтобы рассказать о случае близ Иербента.

КАРАКУМСКИЙ РЕВКОМ

Мы пересекали безводные пески между колодцами Бохордок и Иербент. Нужно было в ту же ночь добраться до двенадцати колодцев Иербента. Машины давали полный ход. Полуголые шоферы, стиснув зубы, молча склонились над рулями. Мы не успевали отстранять ветки саксаула, и они хлестали наши лица.

Ночью пустыня похожа на старый кинофильм “Восемьдесят тысяч лье под водой” выпуска фирмы Патэ. Воду кто-то высушил,

но остались чудовищные водоросли, изгибающиеся и кривляющиеся за нашими спинами. Кусты саксаула толпами уходят в темноту. Ветер шевелит кусты. Голый песок шумит под колесами. Это продолжается десять, сто и триста километров. Это площадь умершего когда-то государства. Пустота смотрит из покинутой страны...

В ту ночь горели фары наших машин, электричество впервые падало на эти пески, тени кустов собирались в толпы и гнались за нами. В ту ночь нам хотелось прыгать на машинах, хлопать в ладоши и радоваться радостью человечества, прорубающего свои новые дороги.

Большие песчаные барханы выросли из темноты, преградили дорогу, и мы стали. Предстояла ночевка посередине этого скверного этапа. Так начался костер...

Эта ночь была наполнена необычайными вещами: костер пылал на черном фоне, искры мчались вверх как сумасшедшие. Наши лица не принадлежали больше нам. Это были красные театральные маски, пляшущие в свете пламени. Из тьмы выползали скорпионы и фаланги величиной с блюдце. Наши тени уходили от нас за целую версту и там путешествовали по барханам.

Мы пили чай, вытаскивая из чашек вареную саранчу, градом валившуюся в костер. Мы лежали на брезенте.

Мы чувствовали себя путешественниками в необитаемой стране.

— Не хотелось бы мне сейчас очутиться здесь одному, — заявил бухгалтер.

— Конечно! Где-нибудь костяшками на счетах перестукивать куда легче, — огрызнулся Нарцисс. — А я вот однажды ехал один. Было это...

Но здесь глухой стук в песках оборвал рассказ. Мы прислушались. Стучали лошадиные копыта, как будто кто-то быстро бил доской по песку. Можно было слышать фыркание лошади.

— Вот и гостя несет, — сказал Нарцисс.

— Где огонь, там и бабочки, — добавил второй шофер. — Должно быть, почтовый ездовой.

— Или басмач...

Сперва мы увидели мелькающие подковы. Потом появилась белая голова лошади. Лошадь проржала в темноте, вынырнула на свет, и всадник с размаху спрыгнул на землю. Повозившись немного с уздечкой, он появился у костра.

— Люблю выпить чайку с дороги, — сказал он, потирая руки. — Привет Нарциссу и всей компании.

— Здорово, старик! Как дышится? — крикнул Нарцисс.

Мы увидели человека лет двадцати пяти, в белой рубашке, с грубым, обветренным лицом. Я узнал его: это был человек, который представлял собою Советскую власть на территории, равной трем Австриям, сложенным вместе.

В Ашхабаде мы собирались с ним и с директором Автопромторга пересечь все Каракумы насквозь, захватив в машину много воды и пулемет: в северных районах почти не было колодцев и водились еще жалкие остатки джунаидовских басмачей.

— Здравствуйте! Вот я уже и возвращаюсь. Моя машина побыстрее вашей. Я не променяю коня ни на что. Наша работа — конная работа. Наши враги тоже на конях. Будьте спокойны! Когда увидите конский след, это значит — ехал тот, кому надо быстро ехать. Может, проезжала Советская власть, может, ее враги. Дайте закурить! Вы везете много табаку. Вас на заводе ждут, как манну с неба. Люди покурили все веники. Даже туркменский нас—

жевательный табак — и тот раскурили... Советская власть в Каракумах возникла гораздо позже, чем в других местах. В иных местах Каракумов ее нет и сейчас, — говорил наш собеседник у костра, человек с обветренным лицом, председатель ревкома. — Был я директором фабрики, был начальником милиции, а теперь вот партия поручила мне пустыню.

Рассказывая, он смеется, как смеются совсем молодые и абсолютно здоровые люди. В руке его — порыжевший портфель, полный песчаных проблем. Я знаю: в этом портфеле лежат десятки самых неотложных вопросов. Эти вопросы возникают у колодцев. Колодцы — это места для жилья, это поселки. У племени багаджа не хватает воды. У людей шиих вода становится горькой. На западе падают верблюды. Богатеи не дают бедняцкому скоту воды. Колодцы и хозяева. Верблюды и шерсть. Женщина и Советская власть. Тиф и суеверие. И еще тысяча вопросов, значительных и важных, как вода в пустыне.



Домик ревкома стоит в центре песков, на серном заводе. От него до дальних колодцев 200—300 километров.

— Есть решение разбить пески на пять районов. Создать аулсоветы, кочевые Советы при колхозах. Все это не так просто. Пески открыты давно, а люди, которые в них живут, только недавно. В Каракумах около двух тысяч колодцев и свыше ста тысяч человек. Вот и думайте...

Ветер задул его последние слова.

— Товарищ Егоров, — сказал я, — пейте чай. Вы начали о национализации колодцев... Ну и как? Я слышал, что за колодцами Шиих беспокойно. Это правда?

Он схватил со щеки саранчу, кинул ее в огонь и усмехнулся:

— Там плоха наша работа. Зато там работают наши враги. Скоро вы увидите караван. Мы его направляем туда. В песках нужно не всегда ходить прямо. Мы ходим иногда, знаете, ходом шахматного коня.

Он выпил чаю, оседлал лошадь и вскочил в седло.

Скоро мы увидели обещанный караван.

Была лунная ночь. Из-за барханов выходили верблюды за верблюдом. Они были по обыкновению привязаны друг к другу веревкой, кончающейся палочкой, продетой сквозь ноздрю.

Среди поклажи мы увидели два небольших колеса, выпиравших из-под брезента. В каком-то журнале была напечатана обложка, где были нарисованы пулеметы на верблюдах. Это было необычно и сурово. Пулеметы в песках напоминают о многом.

В свое время через эти барханы совершались военные переходы.

Красноармейские части в гражданскую войну прошли фронтом через пески, как будто это были украинские огороды на Полтавщине. Существовало представление о неизученных и нетронутых песках. А красноармейские отряды перевернули эти понятия вверх дном и уничтожили здесь басмачество, раньше чем были изданы географические справочники. Мы видели такыры, которые служили аэродромами для красных самолетов. Самолеты садились, поднимались и летали над местами, которые отмечены на картах белым цветом. Революция освобождала пролетариев многоэтажного Питера и малостадных кочевников пустыни.

В мае 1921 года белогвардейцы и басмачи отступали напрямиком через пески. А от Ашхабада на них шли вооруженные рабочие и красноармейцы. Многие отряды разбрелись в песках, части Красной Армии сомкнулись в глубине пустыни. Отдельные белогвардейские отряды соединились с басмачами.

...Последний верблюд каравана ушел за бархан. Мы говорили о пулеметах и песках, о людях, рассыпающихся в горизонтах песчаного ада, о людях, увидевших сто скрытых до наших дней чудес пустыни, но не нашедших отсюда выхода, о бродячих барханах...

Наши машины дали скорость и обогнали караван.

Вечером мы стояли у колодца Иербент. Одинокие кибитки так несложно были прижаты к голой поверхности, что на них тоскливо было смотреть.

Уполномоченный Госторга водружал на костер кумган.

Нас опять догнал караван. Колеса по-прежнему виднелись из-под брезента...

— За колодцы Шиих? — спросил я, кивнув на верблюдов и колеса, завернутые в брезент.

Уполномоченный поднял голову с медлительностью, выработанной жизнью в песках.

— Да, за колодцы Шиих. Эти вещи там пригодятся. Они здорово работают. Теперь там поправятся дела, — добавил он, подумав. — Вот как и у нас...

Он кивнул головой в сторону. Здесь я заметил между кибитками странное подобие домика, похожего на ящик, из которого неслись ритмические стуки.

Я подошел ближе и увидел, что в ящике стояла швейная машинка и туркмен-портной при свете керосиновой лампы отчаянно шил халаты. Он спешил так, будто собирался обслужить халатами все Каракумы. Будка была такой величины, чтобы

вместить только человека и машинку. А готовая продукция падала с машинки уже в пустыню, за порог открытой двери...

Этот “дом” был сколочен из ящиков кооперативного чая для кочевников и снаружи был весь покрыт большими надписями: “Центросоюз”, “Центросоюз”, “Центросоюз”. У портного я узнал, что машинка Госшвеймашины работает от кооперации, обслуживая трудовых скотоводов шерсто-сдатчиков тут же на месте. Она сменила кустарное и долгое шитье туркменских портных.

— Так вот как? Это, значит, караван повез швейные машины, — сказал я, возвращаясь к костру.

— Да. А вы думали комбайн или трактор?

— Нет. Я думал совсем другое.

Теперь в Каракумах швейная машинка нужнее, чем пулемет.

Колокольчики звенели уже совсем тихо. Караван ушел с такыра, как за невидимые кулисы. Так, оказывается, это швейная машинка! Госшвеймашина, неумолимо шагающая через пески.

ВЕТЕР В ИЕРБЕНТЕ

К знаменитому колодцу Иербент, расположенному близ могилы святого ишана Чильгазы, мы приехали утром в грязный день, пронизанный ветром. Километров за пять мы увидели желтую полосу открытых песков. Все кусты здесь были вырублены до самого горизонта. Мы поняли, что подъезжаем к Иербенту — колодцу, у которого пересекаются тропы, идущие со многих сторон: из Хивы, из Теджена, из Мерва и Ашхабада.

В этом песчаном центре мы увидели пятнадцать кибиток, двенадцать колодцев и даже две глиняные мазанки с плоскими крышами.

Началось это так: машины переваливали с бархана на бархан и вдруг вылетели на такыр, гладкий, огромный и блестящий, как поверхность гигантского стола. По этой площади бегала толпа ребятешек. И тут (о, радость шоферов!) наши машины загудели. Мы вспомнили, что за сто восемьдесят километров пути автомобили не издали ни единого гудочка. В песках эта функция авто как бы временно атрофировалась; груши сигналов болтались совершенно забытые. И когда они вдруг напомнили о себе, мы восприняли это как музыку, донесшуюся к нам из далекого города.

Но в какой унылой обстановке раздалась эта симфония! Пыль в воздухе, ветер дует со всех четырех сторон, серые, безнадежные горизонты... Здесь есть только горизонты, небо, засыпанное пылью, грязная рыжая площадь, на которой приютилось несколько кибиток...

На другой стороне такыра отдельно торчала одна из кибиток, утонув в каких-то ящиках, консервных банках и котлах до самой крыши. Из дыры в этой крыше валил дымок. Когда прогудели машины, от сооружения отделился человек в белой грязной рубашке, босой, с лицом без всяких признаков национальности. Он подошел к нам и сказал спокойно и неожиданно по-русски:

— “Жив и я, привет тебе, привет”. Так и приехали, значит?

Был это уполномоченный Туркменгосторга по заготовке и контрактации верблюжьей и бараньей шерсти. Он жил в кибитке, которая одновременно служила кибиткой-читальней, клубом и чайханой.

Войдя в кибитку, мы были оглушены сразу дымом костра, запахом плова, чьей-то громкой и выразительной руганью, плакатом, висевшим на стене. Плакат был яркий и многокрасочный. На нем было написано:

**УБИВАЙ ЗМЕЙ И ЯЩЕРИЦ.
СНИМАЙ С НИХ ШКУРУ И СДАВАЙ
В ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ**

Под надписью туркмен гнался за ящерицей зем-зем. Выше были нарисованы туфельки, сумочки, портмоне, которые выделяются за границей из туркменских ящериц и змей.

Костер горел на земле посреди кибитки; чьи-то лица слабо обозначались за дымом, тихо играл дутар (туркменская балалайка), и у костра я насчитал почему-то одиннадцать ног. В поисках пропавшей ноги глаза натолкнулись на ведра и кувшины, стоявшие у стенки, постель на полу, книжки, разбросанные там же. Брошюрки были на туркменском языке: “Береги ребенка”, “Что такое малярия” и “Происхождение мира”. Очевидно, никто этих книг не читал, потому что тогда еще не было здесь грамотных.

...Я выглянул за дверь. Там песок застилал горизонт и несся по такыру, точно снежная крупа. Несколько унылых верблюдов толпилось у колодца.

Иербент состоит из огромной площади, нескольких колодцев и непрерывного ветра. Чтобы из нашей кибитки попасть в становье туркмен, нужно пересечь квадратный километр площади; лесок при этом будет сыпаться в уши и ветер хлестать лицо. Здесь проходит иербентская жизнь. В ней много песчаных горестей и радостей.

Такыр — это не просто глиняная площадь. Такыр имеет свои большие и маленькие события.

Вот, например, здесь происходили события, о которых потом долго говорили у колодцев.



Началось это в Ашхабаде. Дюжина караванов отправлялась в пески. Верблюды презрительно шурили глаза на прохожих. На их боках качались бочки с водой. Дальше в больших и маленьких ящиках двигались разнообразные вещи. Казалось, это были совсем неподходящие для пустыни предметы: карболка, чернила, сухие электрические батареи, хлопковое мыло, белые передники, шахматы, книжки, бронзовая проволока и, наконец, просто палки, тонкие и длинные палки, перевязанные проволокой.

Двенадцать караванов несли на своих спинах женщин и мужчин, непривычно качавшихся на высоких верблюжьих горбах. Среди них были доктора в очках, полные и худые женщины, молодые парни в майках и с портфелями. Ребята ели урюк и спрыгивали на землю, чтобы ловить ящериц. Какой-то высокий и худой человек настоятельно просил всех обратить внимание на то, что пески образовались в результате развеивания третичных отложений и могут быть разделены на несколько интересных форм: первая — “ин статус насценди”, вторая “барханные пески” и так далее... Словом, это были культбазы, отправлявшиеся для работы среди кочевников.

Двенадцать караванов разошлись в разные стороны, но один из них ушел значительно дальше остальных.

Туркмены племени багаджа увидели караван, разгрузившийся у иербентских колодцев. Ящики вносили в глиняную мазанку, ветер развеивал волосы женщин, у кибиток на

корточках сидели туркмены и молча смотрели на другую сторону площади.

Человек шел через площадь согнувшись и закрывая лицо от ветра. Он подошел к кибиткам и сказал, чтобы все желающее население приходило сегодня в кибитку-чайхану: там будет интересная беседа большого человека из города, а потом покажут кино,двигающиеся картины — сурат. “Ну, сурат, картины!” — говорил он и показывал руками. Но никто не понимал, в чем дело.

Ровно двадцать лет назад по тропе из Хивы в Герат проходил индус, полуфакир и полуфокусник. Он пробирался из Хивинского ханства и показывал у колодцев удивительные фокусы, которые до сих пор оставили воспоминания кое-где в песках. Он глотал змей, прокалывал щеки иголками, отрезал себе ногу, потом как-то приставлял ее обратно. Это было ловкое искусство и, наверно, единственное здесь зрелище, из-за которого, впрочем, индус чуть не поплатился жизнью. Во всяком случае, о нем рассказывают как о шайтане.

Спустя двадцать летдвигающиеся картины были встречены также с настороженным любопытством.

Племя багаджа отправлялось на тот берег площади, в другой мир. Известно, что Иербент делится на две стороны: на одной стороне площади уже много лет останавливаются туркменские кочевья, на другом конце находятся такие видимые, но еще не понятые как следует вещи, как красная чайхана, рябой и бородатый уполномоченный Госторга и ящики с зеленым чаем, который называется “сентрасаюз”.

Ветер спустился на такыр. По площади мчались песчаные тучи. Усталые фельдшерицы в пустой и холодной комнате с глиняным полом читали книжку. Свечка тускло горела на подоконнике, прыгая и затухая от ветра. Пустыня врывалась в

дверь. На такыре приезжие люди водружали большое полотно. Кучка кочевников в бараньих папах сидела поодаль.

Перс-киномеханик пустил аппарат, сноп света упал на экран, и папахи вздрогнули. Среди бесконечной черноты, под звездами и над песком, колебался светлый квадрат, и на нем было море. Водяные валы ходили по полотну, брызги летели в стороны.

— Су! — кричала толпа. — Вода! Су!..

Су исчезла, и вместо этого запрыгали буквы. Перс-механик громко читал по-туркменски надписи и объяснял непонятное. Потом показался песчаный берег, задрожали деревья, опять море, и вдруг толпа женщин выскочила на полотно. Они были в полосатых трусах и купальных костюмах, настолько легких, что племя багаджа ахнуло и закачалось от неожиданности.

— По вечерам они выходили навстречу морю! — кричал механик. — Граждане, тише! Граждане, они ходили купаться и смотреть на воду! И вот однажды вечером..

— Какие дурацкие картины они посылают! — громко сказал сзади доктор.

Но женщины сделали свое дело. Зрители вскочили с земли. Старики начали быстро расходиться и уводить толпу. Через несколько минут площадь опустела.

Племя багаджа не пожелало узнать, что произошло “однажды вечером”.

Утром культбазу продолжали сопровождать неудачи.

Докторов не подпустили к кибиткам. Двое тяжело больных брюшным тифом лежали на кошмах с посиневшими лицами и страшными, провалившимися глазами.

Знахари толкли в ступе сушеную голову ящерицы. Радисты ставили длинную мачту на крыше мазанки.

Кочевники смотрели издали, заложив руки за спины.

Только некоторые из них не боялись и даже помогали натягивать проволоку.

— Да, я слышал о такой штуке в Мерве, — важно говорил один скотовод. — Это говорящая труба, она будет петь песни, танцевать и смеяться.

Но от этого никому не стало легче. К вечеру труба начала хрипеть, точно горло зарезанного барана, и туркмены отошли в сторону, как будто боясь, что черная тарелка начнет сейчас стрелять или кусаться. Радист подкрутил винтик, тогда репродуктор заговорил полным голосом.

“Мерв — сорок. Ташкент — двадцать и три десятых, — говорил он. — Тянь-Шань высокогорная — пятнадцать минут. Возможна небольшая облачность...”

Непонятные слова раздавались, как зловеющий и торжествующий шепот. И сразу после этого с небольшим хрипом заиграла музыка.

Рояль играл над такыром, полные аккорды странно прорывались сквозь ветер на площади.

В окне мазанки горела свеча.

В крайней кибитке умирала Аным-Минау, молодая туркменка, измученная брюшным тифом, грязью и темнотой. У кошмы собрались ее подруги и со слезами утешали Аным. Тусклый костер тлел на полу, и дым струился по кибитке.

Потом пришли старики и сообщили, что на той стороне такыра играет труба дьявола, чем ишан Чильгаза очень расстроен. Больше того, ишан встал из могилы и теперь ходит по такыру. Несомненно, он не допустит дьявольской трубы...

От всего этого женщины заплакали и теснее сжались у горящих угольев: от жалости к Аным, лежащей с проваленными глазами, от темноты, от страха к бродячему ишану, от своей жалкой и прибитой жизни кочевниц. Лишь женщина песков как

следует может знать всю жестокость этого сурового существования. От раннего замужества до ранней смерти ее жизнь наполнена возней с пищей и скотом, тяжелой работой и слезами. Мужчина-хозяин предоставляет ей все обязанности, начиная от ухода за детьми и кончая водопоем верблюдов. Сам же он в условиях несложного скотоводства часто превращается в существо преимущественно сидячее и даже философское.

Аным смотрела на свой последний костер, тлеющий на этой тяжелой земле. Если бы даже Аным захотелось уцепиться за последнюю надежду, светящуюся из мазанки доктора, кочевники этого бы не позволили.

...Ветер гудел над такыром. Он прокатывался с дьявольским свистом и рвал пологи кибиток. В темноте сидели мужчины и молча покачивали головами. Ишан Чильгаза был недоволен говорящей трубой, поселившейся у его могилы. Ишан Чильгаза обязательно должен что-нибудь сделать. На той стороне такыра бегали фонарики.

Ветер разыгрался не на шутку. Он гнул и качал высокую радиомачту, и это было не мудрено: на своем пути он встретил самое высокое, что было на пространстве нескольких сотен верст. В ту ночь мачта была сломана и сброшена на землю.

Потом люди с упорством муравьев возились на огромной площади и снова поднимали высокую мачту. Она не держалась, веревки обрывались, и их не к чему было прикрепить. Но мачту обязательно нужно было поставить, в противном случае старый, отвлеченный, совершенно не существующий ишан Чильгаза был бы победителем над человеческой техникой.

В конце концов мачту поставили, и она гнулась и свистела над такыром, как множество змей.

К утру ветер опять сломал мачту, и жалкие обрывки проволоки спиралью извивались на песке. Тогда мачту опять начали поднимать, связывать и сколачивать брусками.

Вот как много событий происходило на такыре Иербент.

В летописях такыра имеется и такой случай: он передвинул иербентскую жизнь еще на чуточку в сторону. Сделала это женщина, имя которой осталось неизвестным. Это была местная героиня, которой не поставят на площади памятника, как это делают в больших городах.

Дело в том, что сторона кочевников вначале очень плохо приняла культбазу и никто не хотел отдавать ребятишек в детские ясли. Приезжие женщины в белых халатах приходили в кибитки и уговаривали кочевниц, но те качали высокими туркменскими кокошниками и пугливо переглядывались между собой.

Неизвестно, чем бы кончилась история культбазы, если бы однажды безыменная женщина не произвела переворот. Она просто взяла ребенка и двинулась за порог. Перед ней было молчание такыра и неизвестный берег впереди. Об этом легко читать, и кажется простым перейти пустую площадь, но для женщины это означало восстание против песков. Иногда туркменок за это выгоняют из аула, проклинаят и даже убивают. Это была революционерка пустыни, высокая женщина с тяжелым саммоком на голове. Она шагала по такыру, как красногвардейцы через площадь у Зимнего дворца. Может быть, она вспоминала несчастную Аным, погибшую в грязи у тяжелого костра пустыни. Она решила разорвать проклятый круг такыра, она пересекала площадь решительно и просто, как путник, отправляющийся к далеким берегам, и сзади на нее смотрело изумленное кочевье, а на такыре шумел ветер и сбивал ее с ног...

Ветер ворвался в нашу кибитку и поднял пламя костра...

— Как же теперь? — спросил я.





— Что, ясли? О, они полны ребятишек!..

Я вышел из кибитки и пошел по такыру. Верблюды толпились у колодца и кричали. Женщины доставали из колодца воду.

На окраине такыра я наткнулся на какой-то шест, торчащий из холмика. Ах, это могила ишана Чильгазы!

Я видел тонкий шест, увешанный конскими хвостами и болтающимися по ветру тряпочками.

Сухой навоз перекатывался у могилы.

Когда я вернулся к кибитке, там толпились скотоводы, протягивая уполномоченному бумажки.

Уполномоченный писал договоры и квитанции арабским шрифтом, а скотоводы, помусолив большой палец, прикладывали его к бумаге.

Это был “кол-басмак” — печать руки.

— Очень трудно работать в Иербенте. Сюда тяготеет полпустыни. Базар и кооператив обслуживают тридцать тысяч квадратных километров. Целая страна! Смотрите, что делается.

С востока и запада из кибиток выходили люди встречать караваны. На площади играл дутарист. Мужчины выставляли ведра с пьянящим верблюжьим молоком.

Дым бежал по ветру: женщины готовили каззы — колбасу из конины, лепешки, плов с бараньим жиром.

ТРОПА ПЛЕМЕНИ ШИИХ

“Дорога через Кызыл-Такыр — самая кратчайшая между Алах-Текинским и Хивинским оазисами — почти никем не посещается, за исключением разбойничьих партий, грабящих окраины Хивинского ханства” — так написано у поручика Калитина о громадной глиняной площади, лежащей недалеко от Серных Бугров.

Машины экспедиции Ферсмана были здесь спустя сорок восемь лет после Калитина. Они остановились у такыра в недоумении.

“С удивлением следим мы за направлением тропы, — записал Ферсман, — и убеждаемся, что она идет прямо на север. А по картам направление серный завод — город Хива требует угла не менее 30 градусов на северо-восток... Но у наших проводников другие сомнения и опасения: на одном такыре ими обнаружены свежие следы лошадей, они пересекли нашу дорогу...”

Долго, с волнением изучали они эти следы, разрывали их, щупали... Следы принадлежали бандитам, хорошо известным шиихам, но, к счастью, оказались довольно старыми, им можно было бы не придавать значения, лишь бы скорее проехать бандитскую тропу...

Через год после экспедиции Ферсмана мы приехали на глиняную площадь такыра. Такыр был огромной длины — больше километра. Сухая глина звенела под ногами. Ветер собирал в кучки песок. У края площади стояли туркменские кибитки. На такыре было два колодца: здесь самая лучшая вода во всех Центральных Каракумах, поэтому шоферы решили сменить воду: на серном заводе своей воды нет, ее возят туда с Кзыл-Такыра.

Нам оставался очень недолгий путь до завода.

Мы решили отдохнуть в тени кибитки.

У кибиток сидели женщины: они были в длинных красных шароварах и грязных халатах. Женщины варили плов и резали баранину. Ребятишки бегали и визжали, таская по площади верблюжью кость, консервную банку и кусок соломенной шляпы. Банка звенела и скрежетала, шляпа пролетала кометой по небу и падала за кибиткой. Увидев нас, ребята открыли рты...

— Салам алейкум! — сказал я, подходя к кибитке. — Мир этому дому. Можно ли нам достать одну пиалу чала, верблюжьего молока?

— Чала? Чала нет! — закричала женщина, всплескивая руками и делая жалостливое лицо. — Хлеба нет. Вот последнего барана зарезали, будем праздновать дакылма (Дакылма — официально запрещенный ныне брачный обычай: переход вдовы умершего туркмена к его брату), горе мое. Вот разве что в крайней кибитке, у старого Анна Баба-хана.

— Анна Бабахана? — вопросительно посмотрела на нее другая женщина.



Она что-то тихо проговорила, причем я услышал только: “Гат-торбали. Бабахай гат-торбали”.

О гат-торбали я много слышал. Это был особый вид разбойников пустыни. В 1916 году несколько туркменских племен восстали против царских властей. Тогда была отправлена карательная экспедиция генерала Мадритова, прославившаяся своей зверской расправой с туркменами. Некоторые аулы и колодцы в песках были совершенно разрушены, казаки убивали женщин и детей. Отдельные уцелевшие туркмены, вернувшиеся на пепелище, ничего там не нашли. Тогда и образовался особый род

бедняков — гат-торбали. Они бродили по пустыне с торбой, в которой был спрятан аркан. Аркан они накидывали на шею встречному и отнимали у него ценности. Это делалось от голода, и говорят, что гат-торбали теперь исчезли.

Значит, я могу увидеть сейчас живого гат-торбали? Это меня захватило. Он мне представлялся громадным детиной с черной бородой, со страшным лицом и с большой сумкой, которой ночью пугают детей. Ничего этого мы не нашли. В крайней кибитке мы увидели довольно хилого старичка в тюбетейке, в русских галошах и ситцевой кацавейке. Старичок сидел на кошме и строгал какую-то дудочку.

— Салам, — сказал я. — Скажи, отец, какому племени принадлежат эти колодцы?

— Мы бедные люди племени шиих, — ответил старик. — Но эти колодцы наш род приобрел недавно.

Я не знаю, действительно ли старик был когда-нибудь гат-торбали, но поговорить он любил. Это был очень знающий и умный кумли, он побывал в Ашхабаде, в Персии и даже умел немного читать по-русски. Мы успели выпить у него не один чайник зеленого чая.

Вот рассказ Анна Бабахана:

— Да, я все могу рассказать о Сорока Буграх, потому что наш род знал их, когда еще река текла по Узбою. Русский человек думает, что он нашел пороховой камень. Но это неправда. Еще наши старики делали здесь порох. И это было столько лет назад, сколько нельзя сосчитать человеку. Когда Амударья называлась Оксом, а Аральское море Джендским морем, когда предков наших хоронили вместе с лошадьми, на которых они должны были ехать на тот свет, когда ханам каждый год отправляли подати, а русский человек еще не приходил на берега Окса, тогда люди здесь выкапывали пороховой камень. Он лежит в середине злых песков,

и к нему со стороны реки нужно ехать столько же дней и ночей, сколько и со стороны гор.

Ветры приходили и съедали холмы, как черви, и персидские солдаты приходили и забирали камень, и нукеры — солдаты хана хивинского — увозили его к реке на тысяче верблюдов. Время летит, как ветер, русский молодой иолдаш!

Посмотри кругом: песок разъедает глаза, ты не увидишь отсюда края земли, тысячу стран пройдешь, и волосы твои станут белыми, как хлопковые волокна, и ты будешь видеть разные страны и разные моря, и всюду увидишь ты мир, живущий, как муравейник. В горах Хорасана ты найдешь каменных баранов и грифов, летающих над ущельями, и в море ты найдешь рыбу с хвостом крысы, в камышах ты встретишься с кабаном и дикой кошкой, но всюду ты услышишь эхо, долетающее из мира. Прислони ухо к песку, к скале — земля дрожит от топота людей...

Мы думали, что живем в мире тишины. Наши бахши пели: “Стрела, пущенная с четырех сторон света, не долетит до сердца злых песков”.

И что же: смотри, уже каменные кибитки стоят на Сорока Буграх, ваша железная арба идет по песку и кричит громче верблюда. Ревком ездит по колодцам, наше племя возит воду для ревкома.

Мы знаем, что трава и верблюжья колючка у нас редки. Скот наш обходит много агачей, чтобы найти еду. Реки отвернулись от нас: одни побежали в Арал, другие утонули в песках, как у Мерва, третьи умерли, высохли, как великая сухая река Узбой, проходящая в трех ночах отсюда. Все же мы живем по милости пророка, и велика наша земля.

Но мы давно знаем, что тишины нет; эхо больших войн всегда долетало до нас. Многие из нас были в Мерве, и Кзыл-

Арвате, и в Куня-Ургенче, на краях песков. Мы знаем, что делается на земле.

Многие из нас видели большие железные арбы, которые стреляли порохом и огнем, видели солдат русского генерала, видели тысячи мертвых туркмен из других племен, убитых на стенах города Геок-Тепе.

Не спрашивай, иолдаш, кто здесь бросил свои кости. Люди приходили сюда со всего света. Пленных персов жители Хорезма вели через пески и бросали на съедение солнцу. Потом персы приходили с юга и добивали здесь бывших победителей, бежавших с берегов Гюргена. Ике-туркмены, живущие на берегу моря, — бежали сюда от персов и свирепых племен, пришедших, точно морские волны, из-за Каплан-Кыра и Устюрта.

Мы пасем овец, нас учили не спрашивать, чьи кости белеют на песке. По ним идут дороги в шумные города и большие базары.

Не мы первые ушли в пески и не мы последние.

Старики говорят, что за спиной нашего племени лежит тропа к реке, что мы когда-то жили в хорезмских землях, где цветут урюк и хлопок.

У нашего племени был большой и могущественный хан. Он хотел завладеть всем Хорезмом, но чужие туркмены перебили племя, они отрезали мужчинам по одному пальцу на руке, чтобы те не могли сражаться, и наша дорога ушла в пески, оставляя кровавый след.

Может быть, это не так. Говорят, что шиих — разбойники. Разные есть люди шиих и разные роды. Мы пастухи, мы не умеем стрелять, и у нас нет ни арб, ни быстрых лошадей. Мы копали пороховой камень и продавали его на сторону Хивы.

Иногда чужеземцы сами приходили и силой забирали камень. Тогда в воздухе стояла пыль, стук железа о камень раздавался над песками, караваны кричали у Бугров.

Но однажды примчались в пески всадники и сказали, что белые рубахи — русские солдаты — придут и заберут всех мужчин и увезут за море на войну. Многие племена взяли тогда за оружие.

Ветер — иолдаш — заносит следы, время слепит глаза, но помню я черный караван, идущий через пески. Никогда такой караван не проходил у Бугров, он ушел, чтобы больше никуда не вернуться.

Ты слышал, наверное, что за Узбоем есть мертвые аулы? Нет, не слышал. Там никто больше не живет, и туда больше не ведут тропы. Нам говорили, что у вас теперь власть взяли другие люди. Много времени прошло с тех дней.

А было так: из реки Гюргена текла красная вода. Туркмены, сеющие траву, перебили начальников. Многие пастухи также пошли вместе с ними. От аула к аулу, от колодца к колодцу собиралось большое войско и шло к берегам Гюргена. Чем больше селений оно проходило, тем становилось больше. С ним шли женщины и старики. Они говорили, что все время будут рядом с мужьями и сыновьями. Многие везли с собой кибитки. У войска были пороховые ружья, копьё и кинжалы.

И вот недалеко от берега моря, вблизи сухого озера Баба-Ходжа, показалось вражеское войско. Оно раскинулось на сто верст, оно стояло в белых кибитках, и ружья их блестели под солнцем, а ржание их лошадей было слышно за два перехода.

Тогда остановились караваны. Некоторые аксакалы уговаривали пойти и смириться. Они говорили: “Большие ханы — наши начальники. Какой безумец осмелится выступить против их силы?”

Но этих аксакалов не слушали, потому что ишаны сказали: “Кого вы испугались? Армии грязных мышей, жалких воробьев, несчастных гяуров, пожирающих свиней. Они думают нас



испугать кривыми пушками, похожими на грязную арбу для перевозки дохлых собак. Их войско состоит из трусливых сыновей вороны и поганого касая — ящерицы; их ружья похожи на саксауловые палки, их сабли сделаны из бараньих ребер. Разве когда-нибудь было время, чтобы огузские племена боялись врагов?! Они не боялись Шайбани-хана и персидских ханов, и даже сам Тимур-Ленг — “железный хромец”, покоритель Средней Азии, — однажды бежал от них в большом страхе. Вспомним великие времена наших отцов, прогоним чужеземцев и вытопчем их след на нашей земле...

Так говорили ишаны. Но долго раздумывать все равно никому не пришлось.

К полудню вражеское войско начало двигаться вперед, и уже можно было отличить их зеленые рубашки, похожие на одежду ящериц. Половина их была на лошадях. Они окружили

весь лагерь; заиграла труба, и громкий выстрел раскатился по Буграм. Этим выстрелом были убиты последние надежды: люди услышали в воздухе смерть, и женщины начали плакать, но, бросившись на валы, увидели, что кольцо сомкнулось и выхода уже не было.

Лагерь был окружен огнем, и все мужчины, вскочивши на коней, бросились на врага.

Женщины ждали возвращения мужей и отцов. Но те не вернулись: они остались лежать в степи. Вместо них в лагерь ворвались конные всадники врага. Женщины упали на колени и просили пощады для себя и для детей, но их били шашками по лицу, поднимали за волосы с земли и прокалывали копьями. Слезы мешались с кровью.

После этого всадники зажгли кибитки и умчались в аулы.

А ночью оставшиеся в живых поднялись и увидели лагерь. Это был лагерь мертвых: там теперь валялись обгорелые кошмы и в дыму ползали женщины, отыскивая своих убитых детей. Старики плакали, опираясь на палки. Они говорили: “Горе нам! Это закат нашего народа. Мы не увидим уже ни Али-Куртыша, ни Хабаша, ни Мурада, ни других храбрых воинов и наших сыновей. Они не услышат слез своих стариков и женщин. Что наши жалкие сабли перед их дьявольским огнем? Они ломаются, как воск. Горе, горе! Мы уйдем туда, где солнце падает в Великие пески. Мы — жалкие, хромые лошади, пчелы с вырванным жалом”.

И они пошли вглубь, в пески, отыскивая разбежавшихся верблюдов.

Но это было еще не все. По дороге их догнал враг и уничтожил половину из них. Потом к ним присоединились бежавшие из окрестных аулов, сожженных и разрушенных дотла. Так скапливалась по дороге эта большая река слез, уходящих в пески, в пески...



Мы ожидали вестей об этом большом сражении на востоке. И вот из-за барханов показался караван.

Ты можешь услышать про караван, который состоит из раненых женщин и плачущих стариков. Его верблюды точно тени, они идут без колокольцев, так как женщины боятся, что услышит враг. Караван идет и идет в пески... Нам они даже ничего не сказали, мы сами поняли все; караван молча прошел вдали, мимо, и медленно исчез за барханом. Разные люди есть у племени шиих. Некоторые и сейчас еще джигитуют в басмаческих шайках. Это шиих. Есть бедняки, весь век пасущие скот у колодцев Дамлы и Кырк. Это тоже шиих. Может быть, слышал — я тоже был у Джунаид-хана. Я никогда не убивал. Я ушел с родных колодцев за Гюрген...

Несколько лет Бабахан бродил в Персии. Там он был джигитом, нищим, садовником, парикмахером и даже мирабом — “распорядителем воды” — у персидских туркмен рода джафарабай. Такую почетную должность он получил потому, что он чужой и беспристрастный.

Из-за воды происходят часто раздоры. Река Атрек протекает в СССР и в Персии, и вот иногда персидские туркмены приходят к нашим драться за то, что те “задерживают воду”.

В 1929 году Бабахан вспомнил туркменскую поговорку: “Для зайца родина — курган, у которого он родился”. От тоски по своим Буграм у него закололо сердце.

Он оседлал коня и поехал на север, через Гюрген и Атрек.

Подъехали к реке джигиты.
Дорогу дай, Гюрген, дорогу дай!
Под нами бедуинские кони.
Дорогу дай, Гюрген, дорогу дай!

Так поется в известной туркменской песне.

Гюрген дал ему дорогу. Но что Бабахан найдет сейчас в своей стране? Ему рассказывали о ней столько необыкновенного, что у Бабахана вспухла голова от этих рассказов. “Русские начальники похищают женщин, отводят их в города и там начиняют их дьяволом”, — говорили одни. “Туркмены сидят начальниками в канцеляриях, ставят туркменские печати, вешают туркменские вывески на магазинах”, — рассказывали другие. “Кибитки раскрашивают красной краской, ишанов вешают, пастухов отвозят к европейским докторам, там разрезают и вставляют металлическое сердце”, — говорили третьи. “Воду отнимают у богатых и отдают бедным”, — рассказывали четвертые.

Действительно, когда Бабахан ехал по этой стране, то сперва пугался, потом удивлялся, потом устал пугаться и удивляться, а только смотрел и слушал. На железной дороге он видел туркмен, которые сидели на паровозе в кожаных тужурках и управляли машиной. Они не кричали “хайт!” или “эгей!”, как кричат обыкновенно верблюду или лошади, а поворачивали какие-то колеса. В ауле, посреди улицы, шли туркменские женщины с флагом, пели и никого не боялись. Ночевал Бабахан в чайхане, где играла музыка и какой-то человек читал газеты на туркменском языке. Утром Бабахан отправился в пески.

Подъезжал к родному такыру он ночью.

Лошадь нетерпеливо ржала, взглядываясь в огоньки кибиток. У колодцев Бабахан услышал шум и выкрики.

— Стой! — крикнул ему кто-то свирепо.

Но Бабахан обрадовался. “Голос родственника и во тьме звучен”, — говорят туркмены.

— Ты из джигитов Джунаида? — спросили его у колодца.

— Нет. А разве вы ждете от него?

— Да, мы ждем от него, — ответили Бабахану и рассказали о событиях, происшедших на такыре.

— Все пески взволнованы новой властью, появившейся у Сорока Бугров. Эта власть перевернула законы отцов. “Ишаны больше не ишаны, — говорит она, — плюйте на них”. Эта власть отобрала бога, отобрала колодцы, отобрала девушек.

Раньше женщин можно было продавать, а теперь этого нельзя делать не только с “иг” — чистокровными туркменками, но и со всякими “ярыми” — смешанными. На что это похоже?

Раньше табибы-знахари лечили людей сушеной ящерицей, мочой верблюда, сухим песком, жженым саксаулом, а теперь им запрещают это делать, и люди должны умирать без лекарства. Как же это может быть?

Сюда приезжал ревком и уговаривал возить доски и воду на Кырк-Джульба и за это предлагал платить свои деньги.

— Нам не надо нехороших денег. Вчера приезжали джигиты Джунаида из наших родственников шиих и советовали напасть ночью на караван. Сегодня ночью должны провести на Бугры нечистые трубы — их нужно сломать, а караваны прогнать отсюда. Что ты на это скажешь, старый Бабахан, опытный человек, изъездивший столько.

Люди кричали и размахивали руками. Одни советовали возить доски, а другие — напасть на караван.

Бабахан подумал. Он вспомнил, наверно, всю свою дорогу и рассказы, слышанные им.

“— Вот что: нужно возить доски”, — сказал он.

С племенем шиих положение было очень напряженное. Председатель ревкома рассказывал мне об агитации богатых скотоводов и ишанов против ревкома, — агитации, которая чувствовалась на каждом шагу. Ревком посылал людей. Ревком посылал все средства, бывшие под руками, — лекторов и

радиоприемники; он бросал в бой брошюры о женском равноправии, о Первом мая, о детской скарлатине. Потом на тропях болтались белые клочки, нанизанные на ветки. — это были кусочки книжек о скарлатине и о Первом мая.

Но зато бедняк, завоеванный одним каким-нибудь несложным мероприятием, часто навсегда становился другом ревкома. На одном такыре беднякам отдали колодец, взяли у богача. Однажды какие-то остатки джунаидовских банд — двадцатка джигитов — осмелились проскакать в десяти километрах севернее серного завода. Тогда на завод прибежали кочевники и сообщили об этом ревкому. Это были бедняки с того самого колодца — люди племени шиих.

День склонялся к вечеру. Выпив верблюжьего молока, мы сели в машину и двинулись по такыру.

Анна Бабахан вышел нас проводить. Он махал посохом. Сбоку бежали ребяташки. Они опять начали концерт из верблюжьей кости и жестяной банки. Потом появился кусок соломенной шляпы. Потом Бабахан замахал рукой и показал на запад.

— Вон наш караван... Люди племени шиих, смотрите, — донеслись до нас его слова.

Навстречу чинно шел по песку караван, груженный пустыми бочками. На каждом верблюде качалось по две бочки — сорок, пятьдесят, сто бочек. Это был караван, доставляющий воду на серный завод. Он остановился у края глиняной площади и дал нам дорогу. Туркмены приветствовали нас криками. Автомобили въехали на следы каравана, но не смогли осилить песчаной гряды, нанесенной ветром. Тогда туркмены бросились к машинам и начали подталкивать их сзади. Они весело кричали. Они хватались за колеса, за крылья, нажимали плечами. Машины уже давно прошли трудную гряду, но туркмены шли еще сзади и по сторонам

махали огромными черными шапками, смеялись, подталкивали автомобиль.





ЧЕММЕРИЙСКИЙ ПРИВАЛ

ОДИННАДЦАТЬ СПОСОБОВ ДОБЫВАНИЯ СЕРЫ

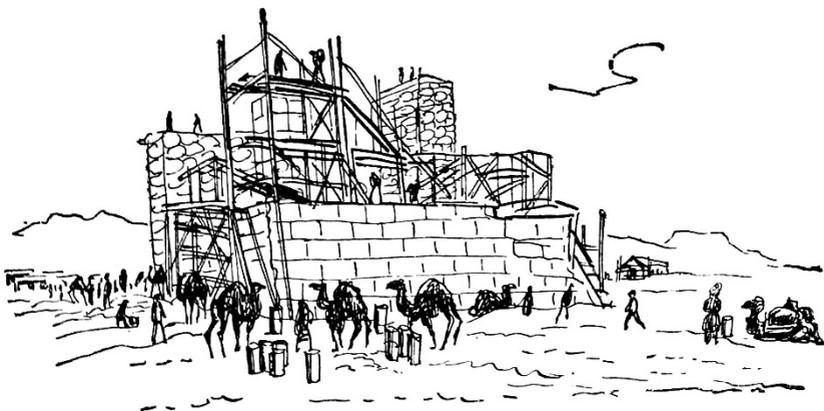
На холме стоит человек и размахивает руками. Он почти голый — в трусиках, в пенсне, в фетровой шляпе. Я не верю, чтобы к жителям пустыни уже проникли фетровые шляпы. Это не кочевник, а европеец. Значит, мы приехали к Буграм. То, чего ожидаешь с нетерпением, как всегда, появляется неожиданно и близко.

Так вот они какие, Бугры! Желтые конусы, вылезавшие из кустов. Вот такими их увидел отсюда когда-то Калитин после своего изнурительного путешествия. Здесь проезжал на верблюдах неутомимый Файвишевич. Такие же барханы окружали Бугры, толпились у подножия скал и уходили к горизонтам.

Мы проехали путь необычайно счастливо и быстро. Человек в шляпе оказался геологом из разведывательной партии, стоящей на Буграх. Он нас приветствовал щелканьем фотоаппарата. Мы въехали в котловину Бугров — Зеагли. Внутри котловины глазам открылся поселок. Скученный и приземистый, он стоит как бы в блюде долины. Белые домики из камня, землянки, домик ревкома Каракумов. На нем развевается красный флаг, единственный на много сот километров в округности.

Радиостанция стоит рядом с рейкомом. Изнутри доносится стук динамо. Дверь распахнута, и мы видим стоящего там человека в черной папаше; он крутит ручку машины. Мимо двери идет серая кошка с бантиком из голубой ленточки; она зевает с видом величайшего равнодушия к тому, что она живет в пустыне. Она даже пытается обидеть козу, которая вышла из землянки. Землянки уходят в склон холма, крохотные окна завешены цветными занавесками; дорожки ведут вниз, к дверям. Из дыр в земляных крышах валит дымок. Дыхание жизни клубится у подножия холма. Белье сушится на веревке, консервная банка лежит на земле, и по песку ветер несет обрывок газеты. Он летит к центру котловины, где стоит каменная кладка конторы; за нею куб с кипяченой водой для всего поселка, потом кривой столб с колоколом и, наконец, — на другой стороне котловины — туркменские кибитки.

Из котловины вырываются своеобразные звуки; за холмом стучат камни и кричат верблюды. Караваны пересекают площадь. Они нагружены бочонками с водой, которую берут из колодца за десять километров отсюда. Сверху караваны маленькие, как модели под стеклом в Политехническом музее. Одни караваны идут сюда, другие обратно. Это продолжается круглый день, и в этом величавая и спокойная суета картины. Когда строили дворец Биби-Ханым, девяносто слонов и сорок верблюжьих караванов



день и ночь возили камни и бревна — так мне рассказывал старый прислужник мечети в Самарканде. Здесь нет уже слонов, их заменили две машины, везущие железные котлы для разложения сероносной породы под давлением нескольких атмосфер. Но пока железные предметы в рамке песков выглядят странно: они лежат, уже снятые с машины, на песке, и толпа людей сбежалась посмотреть на них. Здесь стоят рабочие в черных засаленных рубашках и в трусах, геолог с фотоаппаратом и кочевники с ближайшего такыра.

Мы прошли в баню — каменный домик на холме, смывать с себя Каракумы, вьезшиеся в наши тела. Нас не предупредили о капризных и фантастических свойствах здешней воды, и вот мы ходим с волосами, слипшимися палками и колтуном, точно дикие туземки Огненной Земли. Нам недостает только колец, продетых через ноздри.

Однако и эта вода дается нам только во временное пользование. Из бани она стекает в особый бассейн, из которого ее

берут для технических нужд строительства. Это драгоценное су — вода!

Теперь мы относительно свежи и бодры. Мы у цели путешествия. Мы решительно спускаемся вниз по тропинке, погружающей нас в котловину, в поселок, сделанный из земли и камня, в его сухой и ветреный день.

Поздно вечером мы сидим в гамаке метеорологов и гидрологов на вершине сопки. Ветер задувает пузатый фонарь “летучая мышь”, и гидрологи, молодые студенты-практиканты, рассказывают нам каракумские новости.

Мой блокнот распух за сегодняшний день необычайно. В нем столько различных разговоров, бесед, ландшафтов, чертежей и цифр, что я не знаю, как их поставить в шеренгу. Я могу вытащить описание восхождения на главный корпус завода. Могу даже привести формулу

теплоемкости серы при плавильном процессе. Нарисован инженер, дававший нам эти сведения. У него косматая борода, взъерошенные волосы и улыбающиеся глаза. При взгляде на этот рисунок мне вспоминается серная сопка, домик у ее подножия и инженер, бегающий с лампой в руке по комнате.

Мы пришли к инженеру под вечер. Нам много рассказывали о беспорядочном и веселом характере инженера. Он рисовал акварели, он бегал по Буграм, он хорошо работал и весело отдыхал. По вечерам он любил вспоминать Москву и Большой



театр. У порога его домика стояла клетка с его “другом” — огромным угрюмым орлом, которого сперва, в темноте, мы приняли было за индюшку.

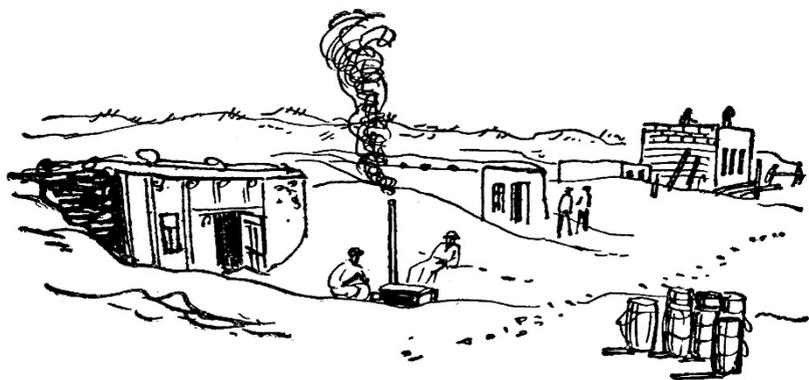
— Серу не так легко взять, — говорил инженер. — Вот она лежит. Вы ее видите. Желтая. Но она перемешана в породе с песком и глиной. Нужно суметь отделить серу от породы. Здесь были перепробованы разные средства. Всего существует одиннадцать рентабельных способов отделения серы от породы...

Здесь он умолкал и бежал в соседнюю комнату. Оттуда вместо ожидаемых сводок и расчетов вдруг приносил акварельные картинки, которые он рисовал здесь в свободные минуты.

Четвертушки александрийской бумаги рассказывали историю завода. Там была нарисована кибитка. Это все, что было здесь в начале постройки. За кибиткой возвышались Бугры — голые, серые, как верблюжьи горбы. Потом были нарисованы поселок, землянки, караваны, кухня, ревком, котел и, наконец, большой белый и высокий корпус завода.

Итак, есть одиннадцать способов добывания серы.

Представьте холм, разрезанный пополам, точно яблоко. В середине вы увидите на песчаном фоне желтые пятна самой разнообразной чистой серы. Но в остальной массе пятнышки серы разбросаны в руде, которая есть не что иное, как песок, цементированный серой. Серые Бугры состоят из песка и серы. И вот нужно отделить одно от другого, причем сделать это на месте: ведь нет никакого смысла везти из пустыни серу вместе с песком — сорок процентов серы и шестьдесят процентов песку. В 1925 году академик Ферсман вывез из Каракумов несколько кусочков Серных Бугров. Их нужно было изучить и попробовать извлечь из них серу.



В Сицилии добывают серу. Сицилийский способ — самый обычный способ. Селу выплавляют в так называемых печах Жилля: серу швыряют в печь, и там часть ее сгорает, а часть остается. Конечно, такой невыгодный способ лучше оставить Сицилии. Кроме того, что будет сгорать часть серы, песок, содержащийся в каракумской руде, будет тушить печь. Мы ходили на Бугры и видели там остатки каких-то полузасыпанных котлов, железных балок, кранов. Это остатки второго способа.

Второй способ связан с воспоминаниями о неувимом Файвишевиче. У него был соперник — инженер Коншин. Этому инженеру удалось в конце прошлого столетия притащить в Каракумы паровой котел и подогревать в нем серу. Но такой способ годится для твердой породы, здесь же расплавленная сера смешивалась с песком, и из плавки ничего не получалось.

Есть американский способ плавки серы. Есть способ механического отделения руды от серы. Есть способы щелочные, сернокислотные, сероуглеродные. Одни предлагают варить руду в серной кислоте, другие — смешать ее с щелочами, третьи — испарять серу и этот пар собирать. Все эти способы оказались

годными для всякой серы, кроме каракумской. Они или требуют слишком много воды, или загрязняют серу песком, или требуют слишком много топлива. Но в Каракумах как раз мало воды, мало топлива и очень много песку.

В 1925 году люди, работавшие над каракумской серной породой, отбросили щелочи, отбросили серную кислоту, сероуглерод и попробовали расплавить серу в керосине. И вот в цилиндре сера начала осаждаться на дно, а песок стал ложиться сверху. Это была победа.

Чистые кристаллики серы выделялись из песчаных масс в керосине. Тогда людям пришла в голову мысль: а почему не заменить керосин водой?

Стали варить руду в воде, в особых котлах, в которых сжат воздух под давлением в несколько атмосфер. Сера и здесь начала отделяться от песчаных масс.

Все эти события происходили в стеклянных колбочках, маленьких цилиндрах, пробных аппаратах. Необходимо было воссоздать все эти процессы в пробных, но уже настоящих автоклавах там, на месте, у Серных Бугров.

На окраине Ашхабада собирался караван. Лошади и верблюды были запряжены в огромный фургон, поставленный на широкие шины. На фургоне был водружен стопудовый автоклав, и караван повез одиннадцатый способ к Серным Буграм.

Инженера Х. не было еще тогда на Буграх. Не было орла, не было акварелей, не было домиков поселка...

Вечером несколько человек собрались на вершине сопки. Они с бьющимся сердцем следили за большим котлом, упиравшимся в леса и подпорки. Этот котел был похож на огромный самовар и даже имел внизу кран. Кочевники стояли поодаль. Похоже было, что инженер сейчас откроет кран и нальет себе чашку чаю. Под самоваром горели дрова. В котле давно уже

была заложена руда, давно уже горел костер. Инженер подошел к самовару и действительно открыл кран. Потекла чистая сера.

Пробный автоклав выдержал испытание. Нужно построить завод, соорудить поселок, набрать рабочих, привлечь местных жителей и потом, наконец, привезти большие, настоящие автоклавы и водрузить их на Буграх.

Однажды утром к директору пришел счетовод, навьюченный тюками книг и папок.

— Вот, — сказал он, воткнув палец в графы и цифры, — птички. Птички означают конец контрактов. Каждый день десятку человек истекает срок работы по договору. А караванов нет. Увезти их некому. Нужны новые каменщики, нужны плотники. А где же караваны?

Двести человек разных наций и разных профессий, брошенные в сердце песков, в пять часов утра просыпались на далеком и хмуром острове. Двести человек поднимались на склоны сопки.

Пески были еще холодными, и в сером ночном тумане жесткий ветер хлестал человеческие лица. Песок хрустел на зубах. Стучали камни, мотыги и железо. Двести человек пели на разных языках.

Но среди двухсот было несколько человек, которые не выдержали сопки. Они не могли остаться сверх контракта.

С вечерним колоколом у них начинались тоскливые разговоры.

Иным казалось, что городок не вырастет, что крепкие, загорелые, энергичные люди дрогнут, бросят мотыги и уйдут, оставив котловину ветрам.

...Они молчали, сидели, глядели на огни. Выйти за дверь означало выйти в пустыню. И может быть, от этого или еще от чего-нибудь с наступлением темноты мало кто выходил на улицу.

Иногда вдруг заговаривала гармоника. Вокруг собирался кружок черных фигур. Но гармошка еще сильнее подчеркивала однообразие обстановки и тоску. Она вдруг застенчиво сама собой стихала и незаметно исчезала.

Утром каменщики и землекопы в конторе обступали директора, махали кулаками и ругались по-армянски, по-русски, по-персидски. Когда же придет он, обещанный караван, который заберет очередную партию возвращающихся из песков? Где он? Что с ним? Где его носит, по каким тропам он спотыкается, этот долгожданный и проклятый караван?

— Нам нет никакого дела, вы должны выполнить договор и доставить нас обратно. Если нет каравана, подавайте нам машины! Нам нужно домой, у нас там есть семьи, улицы, мостовые, деревья...

Суровое черное лицо директора мрачнеет. Директор снимает тюбетейку и кладет ее обратно на голову. Он смотрит на бледные лица армян, русских, но не видит их, а видит за их спинами будущий завод, новый, блестящий, сверкающий в песках. И человеку в тюбетейке на миг становится непонятно, почему они не видят того, что видит он, потомок кочевника. Он еще раз снимает тюбетейку и спокойно пожимает плечами. У директора такой вид, будто караван спрятан у него в кармане и ему нужно только вынуть его оттуда и положить на стол.

— Все в порядке. В чем дело? Завтра будет.

А ночью стучит коротковолновик и шлет в Ашхабад нервные телеграммы. В чем дело? Где же караван, куда они пропали, черт возьми? Так невозможно работать!..

Высоко сидя на верблюдах, покачивались каменщики, плотники, землекопы. Они прибывали на серный завод новыми партиями, и эти новые сменяли ушедших, вновь уверенно и весело

становились на работу. Города посылали на смену ушедшим новые шеренги пионеров.

В повести о Серных Буграх есть одно любопытное событие, о котором в свое время говорили все Каракумы. Здесь оно сразу приняло пустынный, полуромантический оборот. Европейцам оно напомнило вдруг старые романы и рассказы о временах завоевания Америки. Еще сейчас среди работников песков можно услышать этот рассказ, успевший обрасти невероятными вымыслами. Начинают эту историю обычно так:

— А вы слышали, как один колдун спас серный завод? Любопытненькая историйка... Был в то время, знаете ли, ужасный ветер. До города добраться нелегко. А тут кто-то, как нарочно, цап все заводские денежки! Как в воду... Да-с-с. И вот — собрание партийной ячейки. Положение, конечно, аховое. Ветер. Нервы. Разговоры. И вдруг приходит на собрание неизвестный колдун и говорит: “Я все сделаю...”

— Все это — насчет колдуна — глупости. Вот как было дело. Однажды утром замки на дверях конторы оказались взломанными, а из кассы бесследно исчезли все деньги. Много значило, что это произошло в обстановке песков.

Когда на плывущем в океане корабле или в далекой экспедиции совершается преступление, люди прекрасно знают, что его совершил один из них. И дальнейшее путешествие они вынуждены совершать вместе и рядом с ним и не знать его. И это незнание еще больше подчеркивало загадочность преступления, нервировало людей. Но что было делать, и кто разыщет следы исчезнувших тысяч? До ближайшего района милиции было ровно двести пятьдесят километров песков. В пустыне стоял один милиционер. Он стоял в ее центре — в серной долине, у домика ревкома. Солнце сверкало на горячем стволе его винтовки. Песок и солнце.

Что мог сделать милиционер?

О происшествии знали все через несколько минут, точно новости летели по ветру. О нем знали уже на далеких колодцах и узнавали все дальше, от кибитки к кибитке, через барханы и бугры, к железному полотну, к городу Ашхабаду.

Суммы никто точно не знал, но называли цифры до тринадцати тысяч рублей.

Директор ходил от землянки к землянке по рядам заскорузлых тужурок и загорелых лиц. Он вглядывался в пыльные молчаливые лица, провожавшие его глазами. Серьезные, улыбающиеся, хмурые, молодые, старые, злые и приветливые, но какие все новые, поразительно новые лица! Исчезли все старожилы, с кем вместе начали копать в этих камнях. Многие, очень многие покинули огоньки котловины. Как много появилось новых, неизвестно откуда взявшихся людей!

Они размешивали цемент, выючили верблюдов, просто сидели рядами на камнях, смотрели вслед директору, усмехаясь, или разговаривая, или посылая вдогонку едкие насмешки. Это были люди — живые и теплые части, из которых складывается тело коллектива.

Нужно было только уметь направить этот коллектив.

И все же кто-то из них совершил первое преступление...

И для того чтобы не было второго, нужно было во что бы то ни стало ликвидировать и смять первое, — решили руководители завода и ревком.

В 1930 году всех уезжающих из пустыни обыскивали у колодца Бохордок. Может быть, мысль была верна: кто-то в конце концов вывезет деньги из пустыни.

Очевидно, не для того их взяли, чтобы навсегда зарыть в песках.

Но из этого ничего не вышло.

“Товарищи! Мы в песчаном кольце. В трудных условиях. Каждый, кому дорог наш завод, пусть поможет изъять из нашей среды преступника” — примерно так звучало обращение к строителям поселка.

Тогда на помощь пришли те, от кого меньше всего ожидали помощи: рабочие-туркмены, полукочевники, люди песков.

Жизнь в пустыне наделила туркмен особым умением, которого нет у бледных людей, живущих среди трамвайных линий и каменных мостовых. Глаз кумли — песчаного человека — зорек, как микроскоп. Народ, живущий на песках, передавал из поколения в поколение редкое искусство читать отпечатки ног и пальцев. Среди этих людей еще и в наше время бродят где-то в глубине песков великие виртуозы этого искусства. Их называют следопытами. Они умеют разбираться в сложнейшей мозаике отпечатков на песке, как дактилоскопы в отпечатках пальцев. И недаром по-туркменски кол-басмак — печать руки, прикладываемая к деловой бумаге, — в переводе означает “ступать рукою”.

В Каракумах ходят рассказы про особенно знаменитых следопытов. На западе есть целые аулы, славящиеся следопытным искусством. Это так же просто, как у нас может быть деревня опытных ящиков или рыбаков-лоцманов.

Было так. Высокий человек в высокой бараньей шапке пришел к Буграм. Его провели в контору. Это был следопыт, живой следопыт, потомок следопытов. Его не звали Орлиным Глазом, и был он босой и обычный. Следопыту подали табуретку и коротко объяснили, в чем дело.

Туркмен покачал головой, потом прошел к взломанным замкам и нагнулся над землей. Там на полу нашел пыль и обрывки следов. Потом он сказал что-то, что на его языке означало: все в порядке.

Следопыт велел собрать всех людей — двести, триста, всех, сколько есть, больших и маленьких, старых и молодых. Люди выходили в котловину, на песок, чтобы разыграть редкое массовое действие. Люди покачивали головами: что, может быть, туркмен вздумает у всех рассматривать пятки?

Двести человек стояли на песке. Потом туркмен велел им пойти. Они пошли по песку, затем тот вернул их обратно. Ловкими босыми ногами следопыт ходил между следами и осматривал их. Потом он разделил людей на две половины и одну из них опять провел по песку.

Затем из этих он отделил новую группу. Группа все уменьшалась. Круг сужался, как аркан.

К вечеру два человека были арестованы. Один из них был счетоводом, а другой чернорабочим. Они тут же сознались в преступлении.

Поселок молча провожал следопыта.

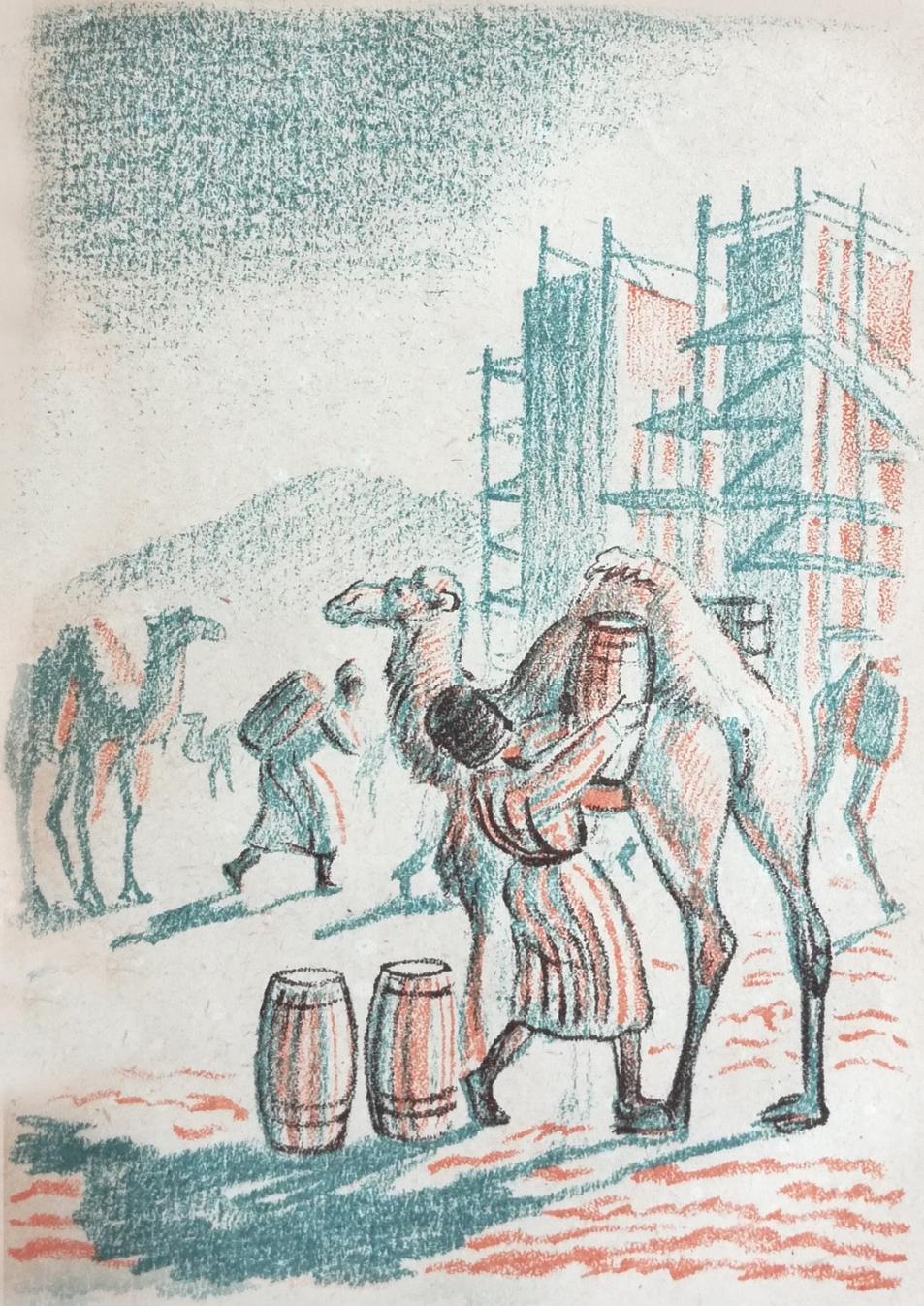
Закат освещал долину и людей, стоящих там, загорелых, черных, в заскорузлых тужурках. Они были старые, молодые, хмурые, веселые, дикие и умные. Это были люди, на плечах которых подымался и вырастал будущий завод.

Они смотрели на следопыта. Тот спокойно и уверенно пошел за Бугры и вскоре скрылся в горячей пыли, пронизанной заходящим солнцем, за Буграми, в бесконечных песках, из которых он появился.

РАЗЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПУСТЫНЕ

Водяной способ плавки серы требует всего четырнадцати частей топлива на сто частей руды.

Топливо растет вокруг завода на огромном пространстве. Это саксаул, сюзен и другие кустарники.



селена и мышьяка.

Все эти истины мы узнали, уже побывав на заводе. Они входили в нас с разных сторон: из дирекции, из палатки геологов, из чистеньких домиков, из лагеря караванщиков, из клуба, из будки киномеханика. Котловина давно уже стала большим и организованным поселком. Прошли и забылись тревожные дни неурядиц.

Шли караваны. На холме стучали молотки каменщиков, облицовывающих корпус завода. На цепях и веревках поднимались наверх привезенные нами котлы. Так кончился рейс тринадцатого каравана. Мы пришли к центру Каракумов. Дальше, за Буграми, на север, лежали пути к Хорезмскому оазису, в мертвую долину Узбоя, в степи Устюрта. Мне хочется сказать немного и об этой стороне пустыни.

Каракумский север известен очень мало и отрывочно.

— Туркмению вы пока можете описывать только вдоль железной дороги, — говорил мне в Ашхабаде геолог, — да еще немного к северу. А дальше? Что делается на трех остальных четвертях страны? Мы почти ничего не знаем о Заунгузском плато. Нам точно неизвестно, что такое Ун-гуз — то ли бывшее русло реки, то ли результат работы ветра или подземных вод. На границе Каракумов и Устюрта почти никто не был. Что мы знаем о прошлом? К северу от Бохардена геолог Данов нашел отпечатки камыша и остатки речных моллюсков. Значит, здесь не всегда и не везде была пустыня? Хорошо. Мы думаем, что знаем район близ Зеагли — пески, и больше ничего. И вдруг там в колодце появляется запах нефти. А потом исчезает. Как? Почему? Отчего? Мировой авторитет по пустыням Вальтер говорит, что пески образовались в результате развевания третичных пород. Значит, долой теорию о бывшем дне океана. Ну, а в Каракумах вдруг находят в глубоком колодце каких-то морских моллюсков. Откуда

они там? На Такыр-Минаре найдены развалины какой-то башни. А сколько их нами не найдено?

Сухое русло Узбой, о котором говорил геолог, широко известно и, очевидно, является бывшим руслом Амударьи, повернувшей некогда в Аральское море. Воды и значительной растительности там пока не нашли. Достаточно взглянуть на карту этого узла — Каракумы, Хивинский оазис, Амударья и Устюрт, — чтобы понять, почему вопрос о высохшем русле в Каракумах всегда вызывал такой интерес.

Существует предание, что когда-то Амударья протекала через Каракумы. Тогда в глубине песков цвели сады, росла зеленая трава и воздвигались города... Ушла вода, сады высохли, и пески набросились на города.

В 1713 году к Петру Великому явился туркмен Ходжа Нефес и заявил: далеко в стране, о которой в России ничего не знают, вокруг Амударьи и среди песков, живут два народа — узбеки и туркмены. Они вечно ссорятся из-за воды, потому что каждая капля воды в той стране ценится очень дорого. И вот узбеки возле урочища Харакай загородили реку, и река повернула в другую сторону. Она не течет с тех пор в Каспийское море, а течет в Аральское. Если повернуть реку обратно, то можно не только оживить пустыню, но и проехать-де по воде из России в Индию. Петр велел позвать капитана гвардии Бековича-Черкасского. Он показал ему на карту и провел пальцем линию по Каспийскому морю, вниз по Астрахани и до желтого берега. Здесь палец высадился на берег, но затем остановился в недоумении, так как кругом на карте было пусто.

“Вот и отправляйся в ту далекую пустыню и, может, пробудешь в одной пять лет или десять лет, но узнай, где проходила там мертвая река и можно ли оную оживить”.



Мангышлак. Вдали Бекович увидел казахские кибитки. Казахи, заметив неизвестный флаг, бросились бежать в степь. Солдаты их догнали и привели к капитану гвардии. Тот сказал:

— Ведите меня туда, где лежит умершая река Узбой.

Казахи попадали на колени, с ужасом показывая на юг:

— Там недостаток корма и воды, злые пески и злые люди.

Тогда Бекович собрал людей и, держась берега Каспия, осторожно двинулся на юг.

Вернулся он через шесть месяцев, потеряв половину людей. Он говорил о злых песках, о безлюдье и о редких колодцах с горькой водой, о ветрах и о самумах в песках, о жаре и песчаных болезнях... Петр выслушал и приказал отправиться обратно в Закаспию.

Бекович знал уже страну. Он прощался с Россией. С ним отправились жена его— Мария Голицына — и проводник Ходжа Нефес.

...В тот день у Астрахани свирепствовал сильный ветер. Флотилия из ста тридцати восьми кораблей поднимала паруса. Одно судно погибло в шторме вместе с Марией Голицыной, женой Бековича. В сентябре 1716 года высадились на берегу Болканского залива шесть тысяч шестьсот пятьдесят пять человек пехоты, кавалерии и артиллерии, один инженер, четыре лекаря, двадцать один дворянин, пятнадцать писцов, восемь чиновников, “из них два фискала для наблюдения за остальными шестью”, вина по ведру на брата. Для купеческого каравана в Индию товаров на пять тысяч рублей — все это стоило “218 031 рубль и 30 алтын с полушкой”.

Место было безлюдное, в колодцах вода “малым отменна от морской и пески от моря потоплые и вонь непомерная”.

Очень мало сведений о дальнейшем сохранилось до наших дней. Это была темная история. В старое время считали, что

Бекович был честный офицер, а туркмены-хивинцы — злые дикари и варвары.

После того как русские завладели Хивой, было напечатано много воспоминаний пленных русских, находившихся там в рабстве. Среди этих записок некоторые были запрещены царским правительством. В них пленные рассказывали о Бековиче со слов потомков участников его похода.

От шести тысяч шестисот пятидесяти пяти человек пехоты, кавалерии и артиллерии, четырех лекарей и восьми чиновников осталось к тому времени три с половиной тысячи человек. Остальные погибли от цинги, от недоедания, жары и схваток с туркменскими всадниками, налетавшими из-за песчаных барханов.

Из тех или иных сведений можно составить картину об одном вечере спустя год и четыре месяца после высадки десанта.

Лагерь раскинулся в глинистой долине у пятнадцати свежевырытых колодцев. Изможденные люди делали вокруг лагеря вал в форме полумесяца. Солнце закатывалось за пески.

Бекович стоял на валу и хмуро смотрел на запад. Целый год он не видел моря, не видел домов, зелени, не возвращался на настоящую землю. Да и нужно ли туда возвращаться? Родина ли это? Туда, откуда царь снова пошлет в страну песков? Он потерял жену, родину. Но может быть, он найдет здесь что-нибудь другое?

— Девлет, — сказал его брат, подошедший сзади, — казахи отказываются рыть ямы. Казахи говорят, что они мусульмане и хивинцы — мусульмане. Так зачем им воевать с хивинцами?

Бекович оглянулся назад. Он знал: это было началом конца. Давно уже половина казахов-проводников убежали. Даже верный Ходжа Нефес ночью покинул лагерь, чтобы исчезнуть навсегда.

Бекович подошел к толпе. Там два его помощника — офицеры Фракенберг и Пальчиков — направляли пистолеты на столпившихся казахов.

— Вы не хотите рыть ямы?.. — спросил Бекович задумчиво и посмотрел на валы.

Валы курились пылью. Закат на горизонте. Родины не было.

— Как хотите, — сказал Бекович и хотел уйти. Тогда грянули два выстрела. Офицеры расстреливали казахов. Бекович недовольно блеснул глазами. Офицеры переглянулись.

— Что он задумал? — тревожно спросил Фракенберг Пальчикова, возвращаясь в палатку, и кивнул на Бековича, стоящего на валу.

Бекович не был русским. Он был когда-то мусульманином, черкесом из рода Гюрджи, и звали его Девлет-Гиреem.

Итальянский исследователь Флорио Беневини уверял, будто Бекович объявил себя ханом пустыни, султаном и “покорителем царства”. Но это пока ничем не подтверждено. Правда, в тот вечер он обрил голову и вышел из палатки в черкесской одежде.

В тот же вечер от хивинцев из Хорезмского оазиса прискакали послы с приглашением прийти в оазис в гости. Бекович согласился. И в тот же вечер Фракенберг и Пальчиков отказались подчиняться ему. Они хотели начать битву. Но Бекович приказал им повиноваться.

В богатом оазисе разливалось вино и готовились столы для встречи дорогих гостей. Изнуренные и худые люди, полтора года бродившие по пустыне, шли в сады и виноградники, как толпы бледных привидений.

Но все войско нельзя разместить в Хиве, поэтому его разделили на пять частей. И пять армий вооруженных хивинцев в темноте садов кольцом незаметно окружали пышные столы.

— Безумие стратегическое, — делиться нам на пять частей!
— восклицал Фракенберг.

— Ничего. К чему стратегия? — отвечал устало Бекович. — Я напишу научную книгу о здешних местах с описанием всех явлений удивительных...

И действительно, от Бековича остались очень ценные географические описания Прикаспия и части Каракумской пустыни, сделанные им после первого путешествия.

...Через пески по великим тропам в соседнее Бухарское ханство катилась торжествующая толпа. Дни и ночи сквозь пыль люди несли на длинном шесте отрезанную голову человека, набитую соломой.

— Это московский посол, гяур Бекович! — кричали люди встречным путникам.

Голова смотрела мертвыми глазами на барханы. Там до горизонта простирались одни пески. Узбоя не было. Родины не было.

В самом деле, кто был он: ученый, завоеватель, хан пустыни?

Из трех тысяч его спутников ни один не вернулся обратно. Узбой был обследован значительно позже. Это цепь руслообразных впадин к западу и северу от Серных Бугров. Их посетили Маркозов, Карелин, Обручев, Коншин, Глуховской, Молчанов и другие ученые-исследователи.

В Ашхабаде, в маленьком домике у самой железнодорожной линии, живет бывший сотрудник продовольственной комиссии Хивинского ревкома товарищ Забогатый...

— Я был по ту сторону песков. В Хиве...— говорил он, путешествуя с нами по крайним барханам. — Я прошел пески насквозь пешком и на лошади. Города в Хивинском оазисе пыльны

и сонны, на крышах домов поют петухи. На минаретах торчат аисты. Если взлезть на минарет, то невдалеке видна пустыня. Вселенная состоит из двух полушарий — голубого и желтого. Плоские крыши спокойны, желты и растрескались от жары. Тогда кажется: ведь мир-то еще сто лет назад позабыл про эти города. Их вышвырнули в пески. И вот внизу живут средневековые улицы. Там проходят люди в чалмах. Скрипят огромные арбы. Идут ослы. Двигаются халаты. Там не знают, что делается во всем остальном свете. Да и не мудрено: в одну сторону тянутся пески на пятьсот верст, в другую — тоже на пятьсот верст, в третью — море, в четвертую — река Аму.

По реке Аму до конца пустыни нужно плыть на каюках. Плыть нужно один-два месяца... Я работал служащим управления садоводства в Турткуле. Русские служащие пользовались в ханстве особым положением: фактически оазис принадлежал России. Правительство обирало ханство, назначало чиновников и открывало винные лавки. Внутри же страны хозяйничали хан и его слуги. В то время как у вас произошли уже две революции — Февральская и Октябрьская, мы жили еще в феодальные века. На крепостных стенах стояли эмирские стражники — нукеры. По вечерам ворота городов крепко запирались на засовы. Ночью за стенами выли шакалы и где-то позванивали караваны, идущие из песков. По воскресеньям мы отправлялись в камышовые заросли охотиться за дикими кабанами, и если, случалось, иногда убивали тигра, то везли его на арбе в город, и по улицам сзади бежала толпа — она кричала и плевала на убитого зверя...

Рассказ товарища Забогатого справедлив. В те времена, когда весь мир содрогался от ударов войны, в страну песков они долетели глухим и отдаленным эхом. Оазис жил собственными распрямами и волнениями. Революция шла через пески медленно. Она позже всего достигла Хорезмского (Хивинского) оазиса. Но

она докатилась и сюда, причем часто преломлялась здесь по-особому.

В 1915 году на Хиву из песков напал Джунаид-хан. С тех пор его имя в Туркмении шумит кровавой славой. Тогдашний хивинский хан Эсфендиар отбил полчища Джунаида винтовками, присланными из далекого Петрограда военным министром Сухомлиновым.

— Кто такой Джунаид-хан? — продолжал Забогатый. — Это человек, который хотел сделаться властителем песков. Сперва он дрался с царскими слугами, потом с войсками революционной бедноты. Он хотел отдать пески богатым скотоводам — баям. Он налетал по ночам как вихрь, и его люди были как звери... Его звали Курбан-Мухамед-Сардаром, и был он вначале вождем племени джунаид, живущего в западных Каракумах. В 1918 году он убил хана Хивы Эсфендиара. Он сделал это за то якобы, что тот арестовал Бахши — главаря огузов, самого священного и почтенного туркменского племени. Но сам Джунаид не сел на хивинский престол. Он посадил Абдуллу-Саида. “Тебе, — сказал он, — отдаю Хиву, а себе беру Черные пески, со всеми такырами, колодцами, пастбищами, саксаулом и верблюжьей колючкой”.

Посредине пустынь, в Хорезмском оазисе, в бывшем Хивинском ханстве, в апреле 1920 года восставшие рабочие провозгласили Хорезмскую Советскую Республику. Революция докатилась до нас. В городах вооружались русские рабочие и служащие, туркменская беднота. Русские зажиточные казаки-переселенцы жили у Аральского моря. Они подняли восстание против революции. Из песков опять пришел Джунаид-хан со своими джигитами и ворвался в Хиву. Наш красногвардейский отряд отправился на Хиву. Оазис вдруг всколыхнулся и выпрыгнул из средневековья... Через несколько дней отряд уходил в пески — преследовать отступающего Джунаид-хана. Было

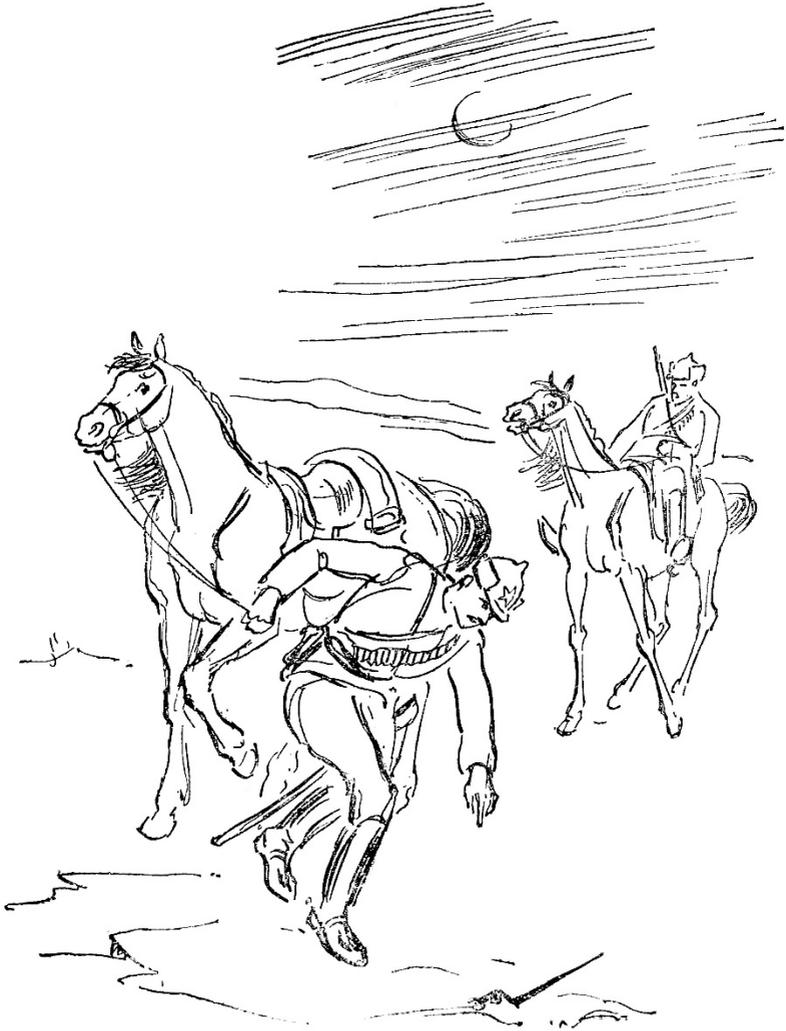
начало лета. Крайние дороги пересохла от жажды, и деревья стояли желтыми. В арыках исчезла вода. На окраине оазиса нас встретили тучи песчаной пыли: скотоводы спешно гнали баранов с умирающих песков...

Забогатый ехал в головном отряде кавалеристов. Отряд на рысях вылетел в открытые пески и к вечеру покрыл расстояние в шестьдесят километров. Ночью остановились у колодцев, возле кибиток кочевников. Утром поскакали дальше. Отряд ушел в пески на несколько месяцев.

Иногда кавалеристы нападали ни следы басмачей. Тогда они мчались по следам, чтобы настигнуть Джунаида у колодцев. Добравшись до места, где раньше проводники видели колодцы, они не находили их. Басмачи накрывали колодцы войлоком и засыпали сверху песком. Иногда ночью, во время привала, подкрадывались басмачи и убивали часовых. Иногда днем, сбоку, из-за гребней барханов, неожиданно на колонну налетали конные басмачи, вооруженные карабинами, кинжалами, копьями... Отряд шел на запад.

В мае отряд вышел на глухие и неизвестные пространства, лишенные всяких колодцев. Ни одного кочевника не встретилось по пути. Начинаясь совершенно мертвая страна. Вдали чернела какая-то бесконечная гряда, как будто бы здесь пустыню кто-то разрезал пополам и одну половину вдавил немного книзу. Это была граница, где кончались Каракумы. Наверху же начинался Устюрт, другая пустыня, лежащая между двумя морями — Каспийским и Аральским. Отряд остановился у последнего колодца. Забогатого с четырьмя разведчиками отправили на Устюрт.

— В могильной тишине поднялись мы на плато, ведя коней под уздцы, — рассказывал Забогатый. — Ужасная страна открылась нашим глазам: это был камень. Голый камень, или



твердая глина, или что-то вроде этого, сухое и гладкое, как поверхность гигантского стола. Камню не было конца и края. Мы вступили на Устюрт. Со смешанным чувством мы отправились в страну, о которой никому ничего не было известно и вместе с тем рассказывалось столько плохого. Мы ехали по ней, точно по громадной заброшенной комнате, и даже старались, чтобы кони не слишком громко стучали “по полу”. Ничего не было: ни басмачей, ни кочевников, ни единой былинки. Если бы мне рассказали, то я не поверил бы, что есть такая страна. Проехав верст пятьдесят или больше, мы повернули коней. Солнце блестело на поверхности глины. Ветер мел песок по поверхности, шурша и сгребая его в кучки...

Много еще рассказывал Забогатый. Отряд сражался с басмачами без воды и без боевого снаряжения. Басмачи налетали с юга — их гнали оттуда, с противоположного конца пустыни, чарджуйские части. Однажды обе красные стороны сомкнулись. Это большое торжество было в глубине песков, где-то за Иербентом.

Но напрасно Забогатый полагает, что Устюрт неизвестен. Там бывали люди не раз.

Стоит, например, рассказать об экспедиции Перовского, известной в истории под именем “ледяного похода”.

Он был очень давно, почти сто лет тому назад. После революции исторические исследования касались более важных фактов. Поэтому сейчас эта история почти забыта.

Однажды в Оренбургской губернии в своем имении выстрелом через окно был убит известный генерал Циолковский. Это было в сороковых годах. Убил генерала собственный повар, крепостной. Выяснили, что повар когда-то участвовал вместе с хозяином в походе на Хиву. Больше ничего узнать не удалось, и непонятный случай, мелькнувший в тогдашних газетах, был



забыт. Никто не знал еще, что выстрел этот был финалом трагедии, которая разыгралась когда-то на ледяных полях Устюрта.

Генерал-лейтенант Перовский задумал смелое предприятие: пройти через Устюрт и завоевать Хиву. Это был храбрый генерал-лейтенант. Он мечтал о славе. Чингисхан прошел с двумястами тысячами воинов по снегу через степи Гоби в Китай и в 1219 году через степь Бетпакдала, идя сюда же, в Хиву. Почему же Перовский-хан не пройдет с пятью тысячами людей и двадцатью пушками через Устюрт?

Солдаты выстроились в снежной степи за Оренбургом. — Вас ожидают стужа и бураны, — сказали им после напутственного молебна. И они пошли.

Действительно, уже в пятидесяти километрах от Оренбурга их встретили стужа и бураны.

Четыре колонны встретились у Караванского озера. Колоннами командовали генералы Циолковский, Кузьминский, Толмачев и Молостов. Несколько тысяч верблюдов везли поклажу. Перовский ехал впереди, на лошади. Ожидалось интересное путешествие. Поэтому с армией ехали известные ученые: естествоиспытатель Леман, астроном Васильев, путешественник Чихачев, писатель и доктор Даль. Они сидели в крытых возках, и Даль набрасывал свои записки. Он хотел рассказать миру правду о походе. Но эти записки не были изданы при его жизни.

Было тридцать градусов мороза. Буран летел из пустыни. Даль выглянул из-под навеса и увидел странное зрелище. Оказывается, шли по снегу половины людей, а нижние половины были скрыты снегом до пояса. Люди не шли, а продирались сквозь снег. Навьюченные ранцами и ружьями, они падали и снова карабкались дальше. Впереди стояла белая стена.

Ночью восемьсот солдат отморозили носы, уши и пальцы. Их положили длинными рядами на снег у хирургических палаток. Когда отрезали уши и пальцы, то кровь превращалась в лед, ножи примерзали к ранам, их отдирали силой. В ту же ночь все лошади убежали из лагеря. Пало четыреста верблюдов.

Шел буран. Дул северо-восточный ветер. Массы снега летели такой стеной, что видно было только за двадцать шагов. Громадная армия, занявшая площадь в несколько километров, не была видна. Отстающие терялись в белой неизвестности. Отдельные части ушли в стороны. На одну роту напали голодные волки, и солдаты не могли стрелять, так как курки примерзали к пальцам. Солдаты били волков штыками. Части стали путаться и блуждать и, чтобы собрать всех вместе, начали стрелять из пушек.

Шел буран. Колонны сомкнулись плечо к плечу. Верблюды падали с отмороженными ногами. Даль опять выглянул из кибитки и снова изумился: несколько тысяч верблюдов шли обутыми в полусапожки — их специально захватили с обозом. Перовский уже ехал не верхом, а в теплом возке, крытом войлоком.

Шел буран. Он продолжался семнадцать дней, ничуть не ослабевая и не усиливаясь. За это время Даль много раз выглядывал из крытой кибитки, и много раз приходилось ему удивляться. Люди ползли по снегу. К верблюдам были привязаны лодки в тридцать пять футов длиною. В лодках везли больных, замерзших и изувеченных людей. Вечером армия легла. Просто легла на снег и лежала. Даль вылез из кибитки и пошел по лагерю. У края лагеря поставили часовых. Кто-то из солдат говорил, что мир окончился, начался конец света. Он, оказывается, находится на Устюрте. Один солдат пятого батальона вдруг встал, бросил ружье и побежал в белый туман. Его поймали далеко в степи, привели в лагерь и расстреляли. В белой вьюге горели сотни костров. Даль подошел к одному костру и увидел, что три солдата

сняли штаны, смеялись и плясали на снегу босиком. В армии начались сумасшествия. Через два месяца Даль лежал у палатки и писал записки. Костры горели вокруг. Чихачев пел персидские песни и рассказывал о похождениях в Испании и Алжире.

“Пепел от пылающего костра, — писал Даль, — до того завалил писание мое, что у меня едва достало духу отдуться”.

Чихачев кончил с Алжиром. Он теперь рассказывал о том, как близ Квито, в Коломбин, он переходил экватор.

“Край Устюрт, — писал Даль, — лежит в пустыне целые столетия, вероятно тысячелетия, с тех пор как обнажился от морских волн. Кочевой ордынец ранней весной боязливо и торопливо прогонит по этим местам тощие стада свои в Каракумы, считая сыпучие пески отрядным убежищем в сравнении с этой могилой”.

Вдруг из центра лагеря донеслись дробь барабана и пение горна. Все бросились туда. Около ям, выкопанных в снегу, стояла кучка казахов, отказавшихся продолжать поход. Взвод русских солдат направлял на них ружья. Расстрелом толпы руководил Перовский. Перовский был храбрый генерал. Он имел две раны: одну — пулей, в турецкую войну, и другую — поленом по голове, в 1825 году на Сенатской площади. Он участвовал тогда в усмирении восстания декабристов.

Теперь он стоял как когда-то на Сенатской площади в Петербурге.

— Расстрелять одного! — сказал Перовский. Солдаты выбрали казаха. Он обнялся с товарищами и стал у ямы. Грянул залп.

— Следующего, — сказал Перовский. Грянул залп.

Казахи твердо смотрели на дула ружей.

— Следующего... — продолжал Перовский.

На этот раз никто не кинул в него поленом. Лагерь был спокоен. Офицеры отправились в свои палатки.

Казахи бунтовали из-за жестокостей генерала Циолковского. Он хлестал нагайками часовых. Он бил казахов по лицу и заставлял чуть ли не круглые сутки идти без отдыха. В колонне Циолковского смертность, как говорят официальные отчеты, равнялась смертности трех остальных колонн.

Горнист сыграл отбой. Офицеры отправились в свои палатки. Там их уже ждал ужин.

“Запасы штаба были солидными, — пишет Даль. — Офицеры готовят блины и блины едят с яйцами, с луком, с маслом, со свежей икрой и прочим”.

Через некоторое время солдат лишили дров не только для костров, но и для варки пищи. Да и варить было уже почти нечего. Солдаты растирали сено и мешали со щами. Голодные верблюды съедали веревочные намордники.

В начале декабря солдатам выдали последние запасы просмоленного морского каната вместо дров.

Шестого декабря праздновали тезоименитство императора Николая I. Было минус 32 градуса. Вся армия должна была для парада бриться на морозе, мазать усы мазью из сажи и сала и потом отмывать их.

Солдаты падали в снег, и не вышло никакого парада.

Эта армия не могла воевать. Но может ли она живой вернуться? “Куда же теперь бежать: дальше, в Хиву, или обратно, в Оренбург?” — в ужасе думали генералы.

Солдаты пожгли все деревянное, даже лодки и таблички с номерными знаками верблюдов. Начали жечь приклады винтовок. Офицеры в печках, сделанных из ведер, грели руки и пекли блины. Солдаты ругали офицеров.

Генерал Циолковский дал двести пятьдесят нагаек фельдфебелю Есыреву, раздетому на тридцатипятиградусном морозе.

Казахский мулла с тремя сыновьями шел с армией. Мулла отказался пугать аллахом волнующихся казахов. Тогда взяли одного сына муллы и расстреляли. Мулла молчал. Расстреляли другого. Молчал. Поставили третьего. Мулла упал на колени...

Но вдруг в русской пехоте вспыхнуло нечто вроде мятежа. И тут, как спустя много лет сам Перовский в Италии рассказывал редактору журнала “Русский архив” Бартеневу, он сделал то, что должно было вселить в солдат подчинение и ужас. Он вызвал зачинщика вперед. Потом приказал вырыть могилу. Потом велел похоронить зачинщика и спеть панихиду.

И когда ночью по кострам из снега и бурана вдруг начали стрелять хивинцы, это уже был не лагерь и не войско. Костры были потушены. Циолковский в штабе говорил о тени Александра Бековича, погибшего когда-то с войсками у Хивы, тени, которая начала преследовать его...

Бывшая армия бежала назад, по Устюрту...

“Шесть часов. Бьют зорю. Снег хрустит за кибиткой. Буран стихает. Я выглянул за двери... Лунный свет сверху, зарево огней снизу, а в середине — лазоревая тьма. На земле кипит еще кровь наша, выше земли — тьма, до нас непроницаемая”, — писал Даль.

Армия бежала назад. До Оренбурга добежали три тысячи. Это писали официально. На самом деле из пяти тысяч осталось в живых меньше двух тысяч.

Перовского царь в Петербурге поцеловал.

Циолковский получил орден Анны первой степени.

Позже его застрелил повар — бывший солдат хивинского похода.

НАУКА О КОЛОДЦАХ

"Вопрос о коэффициенте полезного действия верблюда висит у нас в воздухе. Последний и окончательный срок совещания об организации хронометража — восемнадцатого, в пять часов вечера, в новой конторе. Учет водных караванов подлежит разрешению. Те, кто не явится на совещание, сорвут эти мероприятия".

"Могу обменять двух ящериц больших на фотопластишки 9X12. У. К. Спросить у геологов".

"Выдача профсоюзных книжек записавшимся и утвержденным общим собранием будет производиться в

Мы стояли у большой доски, пахнувшей свежим тесом. Чьи-то руки испещрили всю доску бумажками и синим карандашом. Мимо нас рабочие бежали с чайниками в руках к середине площади, к огромному баку с кипятком. Это был коричневый кипяток с постоянными причудами. Иногда пахнул он серой, иногда нефтью, потом мыльным камнем, известкой, какими-то неизвестными специями...

Ежедневно производились пробные получения питьевой воды из разных колодцев: с такыров Сезенли, Дингли, Бекури, Кызыл-Такыр. Теперь, кажется, окончательно установлена пригодность воды с Кызыл-Такыра. Оттуда ее будут привозить исключительно для бытовых нужд. Для стройки же вполне годятся и другие колодцы.

— Между двумя такырами, Бекури и Кызыл-Такыр, огромная разница — в три копейки! — говорил нам инженер. — Ведро воды, доставляемое караваном с Кызыл-Такыра, обходится в восемь

копеек, с Бекури — пять копеек. Сейчас вода идет на стройку. Но вот теперь вы привезли котлы, завод начнет действовать. Вот тогда-то и начнется водное искусство!

Когда завод будет работать с полной мощностью, нужно будет доставлять сюда ежедневно две тысячи ведер воды. Где взять две тысячи ведер воды каждый день? В колодцах, окружающих холмы в радиусе нескольких километров, воды достаточно. Но нужно уметь ее брать. Нужно составить план эксплуатации колодцев. Нужно в этот план вложить инженерию, гидрогеологию, местный опыт. Нужно колодцы двигать в бой разумно и последовательно, как батальоны армии. Нужно знать характер и привычки каждого колодца. Один колодец портится от излишнего расхода воды. Другой колодец теряет воду, если черпать ее у его ближайших соседей. Один колодец можно использовать только для питья, другой — для скота, третий — для стройки. Сеть колодцев — это наше водное стадо. Разумный хозяин стада никогда не будет резать всех баранов без разбору. Молодой баран должен подрасти, другой должен давать шерсть, третий нужен для продолжения бараньего рода. Наш сотрудник спрашивал туркмен и точно подсчитывал, сколько можно взять воды из Кзыл-Такыра. Это лучшая вода в песках. Оказывается, в год можно взять из Кзыл-Такыра четыре тысячи кубических метров воды. Если станете брать больше — вода станет соленой. А вот, например, такая загадка. На одном такыре стоят рядом три колодца. Вы начинаете черпать воду из среднего, и чем больше вы черпаете из среднего, тем солонее становится вода в крайних. Почему? В чем же тут соль?..

Наука о колодцах Каракумской пустыни стала известна европейцам совсем недавно — после того как ученые как следует занялись исследованием ее глубин. До этого никто не пытался устанавливать связь между колодцами в пустыне и между горным

хребтом Копетдаг, на персидской границе. Никто не догадывался о значении больших лысин, лежащих в песках, шоров и такыров — солончаковых и глиняных площадей, напоминающих аэродромы. Теперь об этом написаны целые тома таблиц и формул. Перед нами встает длинная шеренга имен и исследований, гипотез, отчетов, самых противоречивых данных, под ворохом которых прячутся основные, твердо установленные картины.

...Мы пробирались к Кзыл-Такыру, проваливаясь по колено в сыпучем песке. Нас обогнал молодой студент-гидролог, скакавший с Серных Бугров верхом на осле, с маленьким ведром, привязанным к седлу. Гидролог ехал брать из колодца очередную пробу.

— Я пока еще ничего не понял из вашей гидрологии! — крикнул я ему. — Зачем вы таскаете с Кзыл-Такыра воду?

— Представьте пески в разрезе. Я же вам говорю: представляйте все в разрезе, это самое мудрое правило! Вы лазаете наверху, а я вот забираюсь внутрь земли. Сверху вы ничего не увидите и останетесь в дураках! — засмеялся он и погнал ослика.

Я представил себе пустыню в разрезе, мысленно разрезал ее, как пирог. Под верхним слоем песка лежит водоносный песок, мокрый, серый, коричневый. Под водоносным песком уже очень глубоко лежит водонепроницаемая голубая глина. Голубая глина — это подкладка пустыни. И вот над нею, если отбросить требования точности и всевозможных поправок, если говорить просто, каракумская вода течет в два этажа. Нижний этаж стекает с горных хребтов, идет под землей, под пустыней. Эта вода начинена минеральными веществами, невкусная, горькая и соленая. Верхний этаж лежит в поверхностном песке, не глубже одного метра. Все растения пустыни имеют очень много корней, но корни не идут глубоко. Они расходятся в стороны, стараясь

захватить побольше верхней воды. Верхняя вода получается от дождей, с хребтов Копетдага и от росы. (В ноябре в пустыне днем бывает жара в 20 градусов, ночью — холод до нуля. На ветвях растения черкеза к утру так много росы, что ее можно собирать в чашки.) Итак, эта вода стекает по склонам барханов к площадям такыров и шоров. Туркмены помогают воде делать свое дело: они роют канавки, создают ложбины между буграми. На площадях же они выкапывают колодцы. Шоры туземцы называют водяными мешками. Это правильно, только мешки находятся глубоко под землей.

Посмотрите опять на разрез: два этажа воды на такырах соединены колодцем, как шахтой, как лифтом в большом доме. Верхняя пресная вода стекает в колодцы, но на дне встречает нижнюю соленую воду. Соленая вода тяжелей и плотней пресной, поэтому пресная, легкая вода не расходится, а собирается сверху в мокром песке водяным мешком. Теперь можно решить загадку инженера: три колодца протянуты к водяному мешку, посередине мешок толще, по краям — тоньше. Чем больше забираем воды из среднего колодца, тем больше уменьшаются края по бокам, и в боковых колодцах вода становится соленой. Теперь, если вычерпать всю так называемую пресную линзу (водяной мешок), то в колодце начнется горькая и соленая вода нижнего этажа пустыни.

Соленые колодцы, годные только для водопоя скота, туземцы называют кол-аджи. Это проклятие песков — соль каракумского подземелья. Плохой колодец — все равно что скверный человек. “Болтливый человек с бесплодным и вредным языком — все равно что вредный колодец — дюзлидиль (соленый язык)”, — говорят о таком человеке.

Пресную воду собирают, как пенку на молоке, как золотой песок. Ее собирают ложками. Ее хранят вдалеке от солнца.

Туркмены собирают воду, стекшую с бугров, в каках и кезимах — широких водоемах, вырытых в глине. Но она испаряется или уходит под почву такыра. Тогда под землей прячут кирпичные бассейны. В подземных бассейнах собирается пресная вода. Это называется сардоба.

Для серного завода нужно умело использовать воду колодцев, нужно устраивать большие и усовершенствованные сардобы, нужно опреснять соленую воду. Опреснять воду можно электричеством. Можно опреснять солнечным выпариванием. И можно опреснять замораживанием. Таковы краткие сведения о воде.

Мы поднялись на холм. Вечерние туманы ползли из-за песков. Уходящий день еще блестел красным заревом на кончике сопки.

Это был наш последний вечер на Серных Буграх Зеагли. Из землянки вышел навстречу нам короткий румяный человек в подтяжках. Он держал в одной руке бритву, а в другой чернильницу и размахивал ими.

— Вот так, — сказал он. — Здорово я живу. Вот даже бреюсь. Мыло в чернильнице держу, потому что во всем поселке другой посуды не нашел. Я сегодня собирался с визитами по землянкам идти, даже рубашку новую надел. Знакомств масса. Кому как, а я, честное слово, немножко даже как на курорте: у меня ревматизм, в сухом песочке лежать нужно, так чего же больше?..

Это был местный служащий, человек простодушный, бывалый и разговорчивый. Он принадлежал к породе людей, которые неизвестно откуда знают все: как стирать белье, что делать с пятнами от прованского масла, где водятся антилопы, кто на Буграх вчера играл в карты. Жил он в маленькой землянке, оклеенной газетами. Там лежала гитара и какая-то коробка от

старинного печенья, наполненная пуговицами, иголками, тряпочками и игральными картами. На стене висели две пожелтевшие фотографии и красочный лубок: “Наступление красных частей на Перекоп”.

— Ну так, побывали, значит, в краях наших? Это хорошо, хорошо, — сказал толстый человек. — Это край, я вам скажу, проблематический. Так, облако, мираж, обман чувств, зрения; дунешь — и нет ничего. Ан посмотришь: нет, что-то и наклеивается. Сплошная неизвестность, сыпучий край, одно слово — песок. Я раньше в одной книжке читал, что есть тут пещеры, где-то в глинистом обрыве; там чудовища живут: вот, мол, туда зайдешь — и погибнешь, обратно уж не покажешься. Приехали ученые туда, геологи, археологи, инженеры, вошли с фонарем — ничего. Воздух спертый, темный и ничего особенного. Так всегда уж: чудовища исчезают, как только куда современный человек руку приложит. Один раз приехал тут на сопки туркмен какой-то; смотрит, арбуз уплетает. Что за нелегкая? Не арбуз, а фантазия сплошная — ведь их на сотни верст кругом нет и быть не может! А он спокойно корку объедает и вниз швыряет, будто так и надо.

Стали расспрашивать его. Оказывается, по его словам, где-то большой оазис есть, деревья растут, аулы стоят, огороды засевают.

Что ж, может быть, ведь есть тут русло, вода глубокая в нем стоит, а из-под воды развалины города видны. И частенько туркмены всякие безделушки развозят, что сперва и голову себе сломишь: откуда могло взяться все это — серебро, бронзовые предметы всякие? Один геолог, бывший тогда здесь, оседлал лошадь и поехал в направлении, указанном туркменом, но ничего не нашел и вернулся ни с чем обратно...

Мы сели на скамейку. На сопках уже кончилась работа.

Рабочие пообедали и теперь выходили в котловину, группами садились у крылечка или шли в клуб, где киномеханик возился над аппаратом, и гармонист настраивал лады баяна.

Я взглянул вниз. Там еще по-прежнему взад и вперед двигались караваны. Вечерний колокол звонил над площадью котловины. Из темноты кричали верблюды тоскливо и зло. Изыскательная партия, веселая и громкая, как студенты в коридоре геологического института, разжигала на камне примус.

— Вы ошибаетесь, — сказал я короткому человеку. — Древние развалины находятся не здесь. Они в устье реки Аждаиб, в районе Атрека. О пещерах писал еще путешественник Муравьев больше ста лет тому назад. Там живет волшебный царь с не менее волшебным войском; всех ходящих туда связывают... Это старо и неинтересно. Но вы много знаете — назовите же самую большую и самую интересную достопримечательность сегодняшних песков.

Тогда человек замолчал и, подумав, указал наверх.

Я посмотрел туда. Там красный флаг развевался на шесте над маленьким домиком ревкома. Он волновался на ветру, и я заметил здесь, как действительно необычен его красный цвет на фоне вечной желтизны окружающего.

— Если сказать честно, вот самая большая достопримечательность сегодняшних песков, — уверенно сказал человек. — Вы можете ездить по пустыням на верблюдах, лошадях или “роллс-ройсах”, видеть оазисы, колодцы, антилоп и баранов, но вы никогда не найдете ничего подобного! Вы хотите знать почему? Туркмены песков никогда не знали собственного государства. У них не было государства. У них туманная история. Они селились вдоль гор по Узбою, пока он не перестал быть рекой. Они жили племенами, и вы не можете сосчитать всех племен и родов. И вот это первая пустыня под красным флагом. Он воткнут в самом ее центре...

Колокол позвонил еще раз. Тогда человек схватил бритву и начал бриться. Потом пришли соседи-рабочие, люди в трусах и с большими бородами. Здесь были грузины, армяне и персы. Потом появились туркмены, молодые парни, работающие на карьере. Они взяли мой фотоаппарат и начали смотреть в его стекло, как смотрят в аквариум, наполненный удивительной рыбой.

Днем я был в комсомольской ячейке, только что организовавшейся на Буграх.

— Скоро у нас будет создана школа для детей рабочих, — сказал молодой туркмен, черноглазый, веснушчатый, любознательный и подвижный человек. — Мы будем учить читать и писать. Мы плохо умеем читать и писать. Вы хорошо умеете читать?

— Нет, по-туркменски я совсем не читаю. Я вот не знаю, что написано на этой бумажке.

— Здесь написано заявление в ячейку. Это Рахмат Бобо. Он пишет, что отец его — караванщик на нашем заводе — против того, что сын его будет в ячейке. Но Рахмат все-таки просит записать его в ячейку. Он у нас хороший парень. У вас много человек в ячейке? Вы были в Хорезме? Сколько ваша машина может пройти в час?

— Если машина идет по мостовой...

— Если идет по мостовой? Что такое мостовая? Я не знаю этого по-русски.

Тогда я вспомнил, что он действительно не знает этого ни по-русски, ни по-туркменски. Это сын пустыни, он здесь родился и рос. Он не знает, что такое мостовая, что такое дерево, что такое река, что такое телега и много тысяч других вещей.

После этого я его фотографировал, и он немного боялся.

Я пошел заряжать пластинки. Здесь это делается в сыром погребе; геологи предупреждают, что там сверху может свалиться фаланга или скорпион.

Нарцисс мелькнул однажды в столовой между длинными рядами обедающих рабочих. Он кричал что-то, и все смеялись и размахивали ложками. После обеда рабочие ушли на киносеанс, а мы с товарищами отправились к караванщикам, пили чай, рассматривали фиолетовую, малиновую и желтую глину, нюхали мыльный камень, читали стенгазету. Это было маленькое полотно с надписями двумя шрифтами — арабским и русским. Сверху шли малиновые верблюды, похожие на обложку дореволюционного чая “Караван”. Сбоку неплохо был нарисован серный завод.

Вдали, под сопкой, еще шли последние караваны. Возле столовой стояли наши машины. Шоферы наполняли бочки водой перед завтрашней дорогой.

Я поднялся к домику ревкома. Здесь горели лампы и собралось несколько работников завода на собрание. Ожидали председателя ревкома.

Председатель уехал четыре дня назад в Ашхабад, на заседание Совнаркома, и сегодня днем должен был вернуться, но что-то задержало его в дороге.

Он приехал значительно позже.

Вот описание его поездки.

В полдень председатель вышел на крыльцо. Долина Сорока Бугров начинала куриться пылью. Каждый день аккуратно до шести часов здесь проносились вихри. Воздух Центральных Каракумов наполнялся сухой пылью. Солнце покрывалось желтой пленкой.

Заседание Совнаркома Туркменской республики было назначено на десятое. Председатель ревкома оседлал лошадь. Она вновь почувствовала предстоящие тропы и задвигала ноздрями.

Работа в котловине утихала. Постройка опустела. С Бугров спускались бакинские каменщики...

Председатель подтянул стремяна и взглянул на котловину...

Странная дорога вела на заседание. В учебниках географии описывается, как в пустыне носятся смерчи и бредут усталые караваны. Бамбери писал о Каракумах:

“Бесконечные песчаные холмы, грозное молчание смерти, багрово-красный оттенок солнца на востоке и западе — все говорило, что мы в огромной, может быть, самой огромной пустыне земли...”

Теперь в центре пустыни стоял письменный стол с важными бумагами пустынных Советов. Иногда председатель закрывал его на ключ, печать клал в карман и ехал на заседание в город. Тогда вокруг одинокого стола бушевали пески и стихии. Котловина была полна заботами и тревогами. Намечался прорыв в финансовом плане: ассигнованные два миллиона были же съедены песчаными дорогами. Тормозилась постройка завода. Но это — центр песчаной жизни. Здесь выростали кадры рабочих из кочевников. Эти кадры были пока очень сыры: они приходили в котловину с патриархальными бородами и босиком; они трогательно берегли свои первые расчетные книжки и верили в шайтана: шайтан сидел в радиостанции и в ящиках кинопередвижки, привезенной на завод.

В пустыне рождается первая партиячейка. Первые кочевники-комсомольцы учатся всему, чему стоит удивляться: как вертится Земля, кто такие баи — кулаки, что такое города и улицы. Дети пустыни, они сейчас сидели на склоне холма и играли в камешки. А что делается за Буграми в песках, на бесчисленных колодцах, к которым жмется население песков?..

Председатель вскочил в седло и хлестнул лошадь.



Через два часа он выехал на разветвление. Три явственных тропы расходились из-под ног коня. Конь мотал гривой и кусал удила.

Прямо лежала кратчайшая тропа в город.

Направо находились “неохваченные”, очень далекие колодцы. Это были кочевники, тяготеющие к побережью Каспийского моря. Там разводят одногорбых верблюдов, там болеют проказой, там бродят персидские лекари и продают английские лекарства, там почти нет Советской власти, там продажа и похищение девушек — кайтарма, там опиий из Персии и законы из прошедших веков... Туда далеки дороги, и там еще не тронутая целина.

Налево лежали колодцы, на которых была начата кое-какая работа, которую нужно было поддерживать.

Четыре дня назад он приехал на колодец. Мужчины и дети высыпали из кибиток. Он сказал, чтобы на собрание вышли и женщины. Они вышли, стыдливо закрывая лица и пряча под себя ноги в красных шароварах.

— Итак, товарищи, по поручению революционного комитета всех песков и ЦИК Туркменской Советской Республики, вы должны выбрать Совет дехканских депутатов, — сказал он.

— Бар-и-бир (все равно), — ответили бородачи меланхолично и выбрали в Совет старика, имеющего самую длинную бороду.

— А у нас тоже будете отбирать колодцы? — спросили они более оживленно.

— Советы не отбирают колодцы. Они отдают их всем. Колодцы и вода — для всех прохожих, проезжих и жителей песков...

Так в песках появился еще один Совет.

Председатель свернул налево и стегнул коня. До того колодца лежал еще один колодец. Это тот, где стоят две глиняные бабы. К ним нужно ехать, держась солончаковых площадей — шоров. Когда лошадь едет по шорам, из-под копыт поднимается белая удушливая пыль. Брюхо лошади становится белым.

Через час белая пыль кончилась. Показались вдалеке две глиняные развалины. Въехав по песчаному сугробу наверх, конь вылетел на открытую площадку колодца. Это всегда в песках бывает неожиданно, как и все в песках.

У колодцев стояли две палатки. Кибитки туркмен чернели вдалеке.

Гидролог вышел из палатки.

— Как жизнь? Как поживает ваша вода? Скоро вы ее кончите мерить?

— Наша вода...

Гидролог вернулся в палатку. Он вынес лист бумаги. Лицо его было встревожено. Листок был разграфлен вдоль по числам и поперек по сантиметрам. В клетках стояли цифры.

— Как так?! — поразился председатель.

— Так! Две недели вода стояла прочно на двадцать одном сантиметре. Мы уже собирались сниматься отсюда. Сегодня ночью вода исчезла... Они пошли по такыру.

— Какой? Этот? — спросил председатель.

— Этот. Мы его закрыли. Туркмены пока не знают. Мы наложили санитарное вето. Очевидно, дело в подземных сдвигах. Легкие землетрясения, вода уходит иногда в одну ночь с большого пространства...

Сруб колодца зиял чернотой. Жуки-навозники ползали около ведерка.

— Землетрясение, землетрясение, черт возьми! — закричал председатель. — Знаете вы, что они пахнут контрреволюцией — эти сдвиги! Два ноля, черт возьми...

Не успев кончить, он вскочил на лошадь и дал шпоры. Конь взвился вверх по бархану, оставляя на гладком песке разорванные полосы.

Не доезжая до колодца, он спрыгнул на песок и нагнулся над следами.

— Здесь уже были кони. Меня кто-то опередил. “Санитарное вето”! Грош ему цена, когда здесь все и всё видят.

На холме показались два тощих аджара — песчаные акации. Он научился уже узнавать дорогу по бесчисленным кустам. За акациями должны стоять колодцы, где организован Совет.

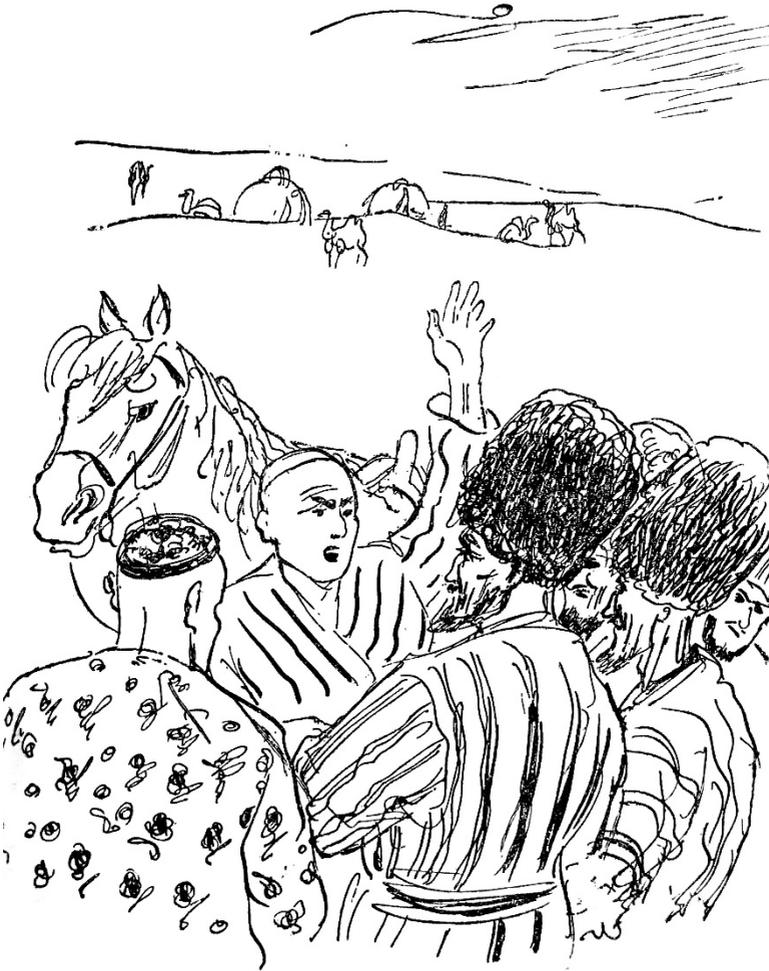
Конь взобрался на холм, и оттуда открылся большой глиняный такыр. Он был пуст. Не было ни кибиток, ни колодцев, ни Совета; они исчезли в неизвестном направлении.

Конь въехал на такыр. По глине кружились от ветра цветные тряпочки, мусор, угли. Колодцы были завалены ветками и сверху засыпаны песком. От колодцев конские следы бежали куда-то в сторону.

Эти следы, несомненно, продолжали начатую кампанию. Они вели к новым колодцам, чтобы рассказать, как от Советской власти исчезает вода.

Председатель повернул коня. Он знал прямую дорогу наперерез следам. Он мчался весь вечер и всю ночь, но к утру сбился с тропы и вернулся к большому колодцу, где стоял кооператив и были национальные работники.

— Пэхлеван болур сен-ми? (Согласен ли ты быть героем?) — спросил он туркмена пословицей. — Сделай все, что ты можешь, чтобы успокоить эти колодцы. Лучше туда ехать тебе. Ты



туркмен, а я плохо знаю туркменский язык. Проведи беседу, что ли.

— Хорошо, я поеду на эти колодцы провести беседу, — ответил молодой туркмен в пиджаке, в белой бараньей папахе, человек, только что проехавший триста километров верхом на лошади из города. Он напоил коня и положил за пазуху пол лепёшки. Он согласился быть героем.

Глаза его слипались от усталости. Утром он увидел колодец. Хмурые и любопытные шапконосцы вышли из кибиток. Они недавно прикочевали с дальних песков и жили у национализированных колодцев. Они утверждали, что вода в свободных колодцах стала портиться, стала горькой, соленой, пахнет нефтью и серой. Они собирались откочевать обратно к дальним колодцам. Они сидели на песке, поджав под себя ноги, и смотрели на туркмена в пиджаке.

— Товарищи! — сказал он. — От имени революционного комитета Черных песков...— И остановился.

Недоверчивые глаза окружили его кольцом. Он увидел людей, которые шли из пустыни, из ее веков. Они пронесли через эти века дутары с шелковыми струнами и грифами из персиковых косточек, цветистые разговоры и легенды, боязнь нового и веру в ишанов... Он неожиданно оборвал фразу, махнув рукой, и сказал:

— Вот что: дайте-ка воды напиться.

Старик зачерпнул пиалу из ведра, стоявшего возле кибитки, и подал докладчику. Тот снял тюбетейку, вытер пот с головы, хлебнул воды, потом понюхал, поставил чашку на землю и задумчиво посмотрел поверх голов.

Кумли нетерпеливо ожидали начала доклада. Но приезжий опять взял пиалу и хлебнул воды.

— Да...— сказал он как бы самому себе. — Да... Вы говорите, она пахнет серой? Она пахнет нефтью. Так, так.

Он выпил еще воды и вдруг встал, и направился к своей лошади. На полдороге он остановился и обернулся:

— Вот что. Жил-был один ишак и один верблюд, иккиеркуш — двугорбый верблюд. Они принадлежали очень жестокому хозяину. Он их бил, заставлял работать много, а есть и пить давал мало. Однажды они шли с караваном, отстали от него и сбились в сторону. “Давай убежим”, — сказал верблюд ишаку. И они убежали. Долго они шли и захотели пить. Воды же не было. Уже они совсем отчаялись, как вдруг навстречу попался им человек с полной бочкой воды. “Пейте, — сказал он им, — я ничего с вас за это не возьму, и вы останетесь на свободе”. — “Нет, подожди пить, — сказал ишак верблюду, — этого не может быть”. — “Чего не может быть? Это же вода, вы умираете от жажды, нате пейте”. — “Нет, — сказал упрямый ишак, — нет, этого не может быть”. Когда наконец его уговорили, он, еле живой, подполз к бочке, попробовал воду и вдруг сплюнул. “Фу, говорит, какая это скверная и невкусная вода! Знаешь что, верблюд, давай вернемся к хозяину. Там вода гораздо аппетитнее”. И вот...— Приезжий взглянул на собравшихся, взмахнул плеткой, взял опять пиалу, отхлебнул и сказал: — Она пахнет не серой. Я знаю, чем она пахнет...— Здесь он вплотную подошел к старшине и вдруг спросил, глядя на него в упор: — Чьи следы ведут к Джунаиду? Кто приезжал сюда сегодня утром, а? Посланцы ишанов? Слуги святых людей? Они вас звали обратно? Ну что ж! Знаете что? Можете уходить. Прощайте.

Собрание давно забыло про доклад. Но любители легенд не могли успокоиться. Они стояли с полуоткрытыми ртами, с глазами, полными любопытства и тревоги: собрание боялось, что странный докладчик сейчас же исчезнет с лошадью.

— Как же ишак с верблюдом? — крикнул какой-то молодой кумли.

— Я не знаю, чем это кончилось. Вам виднее. Прощайте! — хмуро ответил докладчик.

Он вскочил на коня и ускакал прочь.

Председателю нужно было сократить путь, так как он задержался и мог опоздать на заседание Совнаркома. Поэтому он ехал не только ночью, но и днем. Утром он увидел синюю полосу гор над песками и услышал паровозный гудок с невидимой железнодорожной линии.

Вечером он видел вокруг себя велосипедистов, лимонадный ларек и городской ашхабадский сад, в котором играла духовая музыка из железнодорожного клуба, и все это было похоже на мираж. “Так у нас появляются в воздухе озера, — говорил он. — Очень просто. Отсвечивают шоры, солончаки. Они голубые под лучами солнца. Милая страна! В ней все исчезает: вода исчезает, Советы исчезают! Я ничему уже не удивляюсь. Я уже учусь у кочевников ездить в город по звездам”.

“Скоро ты будешь на улице привязывать к столбам тряпочки — по привычке, чтобы заметить дорогу”, — шутя говорили ему на заседании.

Но заседание на этот раз не состоялось. Вернее, оно было, но стояли другие важные вопросы Туркменской Советской Республики, и серный завод был отложен.

Тогда снова начались солончаки, исчез мираж из велосипедистов и лимонада, в глазах прыгали кусты саксаула и бесконечные барханы, желтые и однообразные, как продолжительный бред.

Через три ночи председатель ехал по тропе у далекого Кзыл-Такыра. Налево, на северо-запад, вела тропа полусасыпанных следов. В той стороне страшно редки кочевья, та сторона не охвачена никакой работой, там бродят беглые стада богачей и иногда мелькают басмаческие кони.

Прямо же идет дорога к Буграм Зеагли, к заветным Буграм, у которых строится завод.

Через час он увидел в долине огоньки серного завода.

В домике ревкома было много людей. Его здесь уже ждали. Здесь накопилась масса дел. Здесь были работники завода и делегаты из отдаленных аулов. В числе их были люди с национализированных колодцев.

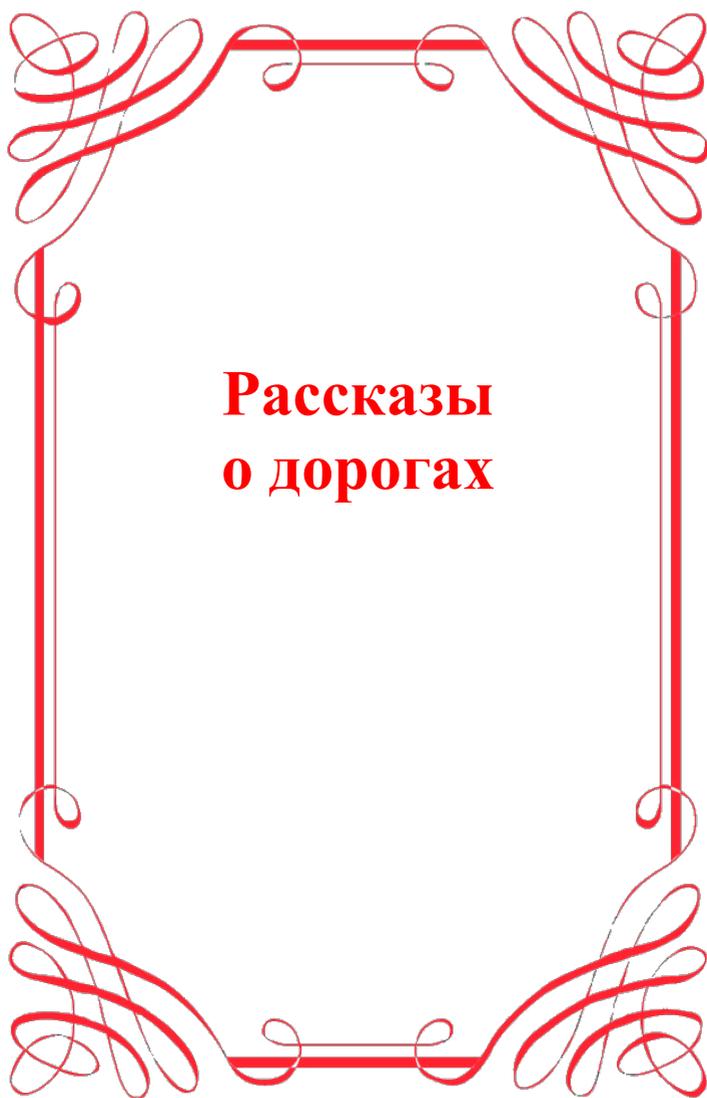
— Мы слышали, — сказали они, — про ишака и верблюда. Мы постановили остаться на месте всем аулом и не будем больше слушать ишанов...

Это всё были люди с суровыми чертами лица, с палками, в сандалиях из бараньей кожи, с лицами грубыми и черными, как ночь пустыни за окном.

Председатель сдвинул в сторону бумаги и положил портфель на стол.

— Итак, — сказал он, — заседание революционного комитета Черных песков считаю открытым. Сегодня у нас стоит вопрос о дальнейшей советизации песков. Кто желает что-нибудь добавить?





**Рассказы
о дорогах**



ВСТУПЛЕНИЕ

Есть страны одинокие и заброшенные, как пустыри. Они вышвырнуты на задворки мира. Страны степного ковыля, первобытного солнца, необузданного ветра. Они очень обижены природой и человеком. В них нет гор и рек, лесов и городов. В них не строят плотин и гидроэлектростанций, в них не воздвигают домен. Журналисты не пишут о них очерков. Туристы обходят их стороной. Географические карты их презирают, швырнув им несколько кратких и иногда неправильных названий.

Но вот приходят самолеты. Приходят ледоколы, идут автомобили или поезда. И вот перед миром распахнулась новая страна. Так мы узнали о Шпицбергене и Новой земле, о Казахстане и Камчатке, Якутии и Забайкалье. Нужно было построить Турксиб, нужно было летать Водопьянову, погибнуть дирижаблю «Италия» и пройти ледоколу «Сибиряков», чтобы мы ближе узнали эти края.

Теперь перед миром открылась страна Кара-Кум. Недавно девять человек из десяти не подозревали о ее существовании.

Девять из десяти не знали, что Каракумская пустыня — одна из самых больших в мире, для прохождения самая трудная, что она находится в Туркмении и занимает больше, трех четвертей ее площади.

Большая автомобильная экспедиция, известная под названием Каракумского автопробега, состоялась летом 1933 года. По длине маршрута и трудности это был один из крупнейших мировых автопробегов. Одной из задач пробега было — проложить трассу через приаральские пески и пустыню Кара-Кум. За восемьдесят пять дней пути перед нами прошло много людей и предметов. Мы проехали девять тысяч пятьсот километров, пятнадцать республик, высокогорные перевалы и степи, два моря и две пустыни. Мы проходили реки вброд, болота, солончаки, поля, засеянные хлопком и подсолнухом, пшеницей и каучуконосами.

Вышла экспедиция из Москвы 6 июля, вернулась 30 сентября.

Москва — Горький — Самара — Оренбург — Актюбинск — Ташкент — Хива — Красноводск — Баку — Тифлис — Ростов — Харьков — Орел — Москва — это маршрут пробега.

Пробег прошел в стороне от больших дорог сегодняшнего дня; Каракумская пустыня пока еще действительно пустыня.

Сейчас она разъединяет страны, моря и области. Но при удачном разрешении проблемы сообщений она их может соединить сквозным путем от северных льдов к воротам Индии.

Богатства самой пустыни — не откопанный еще клад. Они растут на ее просторах, но, чтобы их использовать, их нужно изучить. Нужны дороги. Нужны машины. Нужно изучение так называемой трассы и поведения песков под колесами, и людей на машинах, и машин в пеках, где нет светофоров, а есть ни на что не похожие барханы и саксауловые заросли.

В этой книге не рассказывается обо всей экспедиции. Здесь собраны отдельные рассказы о пробеге. Это не роман и не повесть. Что же касается героев, то они приходят и уходят, исчезая в толпе, чтобы тотчас дать место другим героям.

В этой книге ходят автомобили, работают ученые, режут сигналы, растут растения, живут люди. Они умирают и побеждают. Эти, дела просты, но запоминаются, как запах пустыни и бензина.

Бензин пахнет в пустыне особенно остро и многозначительно. Я сейчас еще чувствую этот крепкий бензиновый запах, смешанный с запахом песка; он тянется из прошлого, по воздуху, через барханы, вместе со струей аромата песчаной акации и саксаула. Я слышу рев машины, пробивающейся сейчас через ночь и пески, от колодца Иербент к серному заводу и от Карабугаза до Хивы. И, пожалуй, эта книга — о любви. Она посвящена моим спутникам и нашей машине. Мы страдали и радовались вместе с ней, часто прислушиваясь к ее мерному дыханию. Нельзя не полюбить машину, на которой пройдено девять с половиной тысяч километров, через заросли и речные камыши, по горам и через пески, по дну высохшего озера Сарыкамыш, по улицам умершего города Джулая, по глухим верблюжьим тропам и там, где не ступала нога человека. В этой книге — шоферские истории, пустыня, растения — предметы и люди, одинаково скромные и самоотверженные: разбитый кузов мертвого «ЯЗ-5», лежащий в центральных Кара-Кумах, память о прорабе первой дороги в песках, об ученых и шоферах, погибших в пустыне. Эти рассказы входят сюда, как встречные дороги и тропинки, пересекавшие трассу нашего пути.

Тот, кто любит читать о далеких странах, найдет в ней себе пищу и, может быть, полюбит и героев. Автор, чтобы рассказать о давней поездке, отцеживает в своей памяти нужное от ненужного.

К нему приходят встречи и стоянки; они возвращаются по дороге воспоминаний, не соблюдая при этом особого порядка. Вот они, товарищи по долгой поездке на машинах, соседи по бесчисленным бивачным кострам, — шоферы, врачи, инженеры. Они рассказывают о своих делах. В их рассказах есть трагическое, есть смешное. Иногда они не прочь даже и просто поболтать — так, как говорят о том, о сем в длинной поездке, в промежутках между большими и маленькими делами.

I. ШОФЕРСКИЕ РАЗГОВОРЫ

Вот едет автомобильная колонна — машина за машиной, по шоссе, проселками, степью. Нас шестеро: два водителя, контролер, инженер, я и машина. Мы любим нашу машину; у нее ровный, спокойный характер. Вечером мы слушаем ее тихое пение; на больших скоростях она высоко и добродушно урчит. Мы вылезаем на подножки и разговариваем друг с другом. Это больше чем автомобильные разговоры, истории, обрывки рассказов.

ЧТО ТАКОЕ АВТОПРОБЕГ

Вот старый автомобилист — гонщик с двадцатилетним стажем. Он едет так: руки лежат на «баранке», иногда они пошевеливают руль, нехотя и небрежно, одним пальцем. Кажется, что он едет с закрытыми глазами. На самом деле одним глазом он смотрит на дорогу, и пальцы его чувствуют руль, как пальцы музыканта чувствуют клавиши рояля. Говорит он не спеша, как бы сам с собой, не глядя на собеседника.

— Знаешь ли ты, что такое настоящий автопробег? — спросил меня вдруг после долгого молчания старый гонщик. — Я вот вспомнил Габербуллера. Был гонщик Габербуллер. Меньше ста километров в час не делал. Погиб он. Был Лерхе. Тоже погиб.

Вверх, за трек вылетел. Бутылкин тоже был, прыжки на мотоцикле делал. Теперь его уже мало кто помнит. А сколько их было, знаменитых гонщиков!

Теперь и автомобилистов таких нет совсем. Теперь шофер другой пошел. Возьми нашу колонну. Сколько в ней старых автомобилистов? Пяток насчитаешь. Вот кто из наших в международном пробеге 25-го года участвовал: Кузнецов, «бьюика» вел, номер тридцать» один; Соломатин, тоже на «бьюике» ехал; старик Осипов, тот командором был четвертой колонны. Еще участвовали Колусовский, Бескурников. Остальные — молодежь.

Я первый раз грузовую машину веду. На километровках автоклуба всегда на «пирс-арроу» ходил. Я призы имею: часы, кубок, подстаканник серебряный. Я. скорость люблю. Это замечательная вещь в жизни шофера — скорость. Она для души. В остальном работа тяжелая.

Наше поколение и воспитывалось-то на чем? Сейчас у нас грузовики идут стандартного типа. В тринадцатом году Шульц в Петербурге сто восемьдесят шесть километров в час сделал, так ему для этого специальный «бенц» был построен. Автомобилист настоящий — он болеет автомобилем, точно запоем. Если тебе в детстве не снились «сексы», «левассоры», «бенцы», цилиндры, охладители, то ты не знаешь, что такое пробег. Ты заметил — в городах нас всегда на машинах встречают, — автомобильное такое легкое помешательство, — мы прекрасно понимаем это: такой уж закон для шофера. Я сам когда-то пробеги встречал; если уж он в город входит, то хоть имеешь ты допотопного «альцесиона», ты обязан подвязать его веревочками, проволочками, десять раз о столб удариться; хоть на драной кошке, а встречать пробег выедешь. А в городе какое брожение умов! Старушки и те о радиаторах спорят...

А какие машины были тогда? «Моро», «пежо», «лорелей» — вот на чем я еще ездил. Теперь спроси, что такое, скажем, «гребура» или «секс», — и не всякий скажет. Седая автомобильная старина. А ведь каким шиком казались! У «панарлевассора», поверишь ли, вместо руля ручка была, как в трамвае, мотор сзади под сиденьем — прямо извозчичья пролетка с мотором. «Бьюики» не сразу появились. Теперь за границей, гонцики свыше трехсот в час делают. Ну, конечно, по специальной дороге идут и потом руль намертво ставят — чтобы ни вправо, ни влево. Настоящий автомобилист, он после ста в час только и переживать начинает.

В наше время автомобилизм не так развит был. Отдельные энтузиасты увлекались; из них и родились мы; вот и крутиться и гореть нам, болеть до конца жизни. Плюнешь на все, успокоишься, станешь жить тихо, ну, думаешь, пора отдохнуть, пусть другие теперь поездят. А как услышишь — опять пробег или гонки какие-нибудь, тут моментально все забудешь, кровь закипит, и опять ветер, опять очки, ночей нет, дней нет, нервы на точке, машина в голове, остальное лишь так, промежутки какие-то...

ПОЕЗДКА В БАНИЮ

В Оренбурге, в «Софийском ресторане», мы спорили с местными шоферами.

— Вы не автомобилисты! — кричал, наклонясь к нам, огромный и рыжий шофер, ударяя кулаками о стол. — Вы извозчики, вот кто вы! Вам не пройти по этой дороге.

— Сядь, Коля, не говорили ему товарищи. — Сядь. Тебе никто не говорит. Мы с товарищами говорили по-свойски, мы говорим, какая дорога. Одень шапку.

— Вы извините за него. Вот мы говорим, что дорога — раз, — говорил нам маленький черный шофер, заросший бородой,

загибая черный палец. — Раз. Радиаторы обычные — два. Мы видели ваш радиатор. Мы внаем ваш радиатор. Дальше Соль-Илецка вам не дойти...

Здесь вступали опять в разговор другие, спеша высказать свои мысли. С утра они осматривали нашу колонну. С утра они ходили и ездили по городу, и рули выскальзывали из их рун, потому что это были шоферы, а шоферы не могут быть равнодушны, когда через город проезжает автопробег...

Вечером мы все едем в баню, и к гостинице нашей подают местный грузовик. Он подкатывает, как тройка. Шофер выглядывает из кабины и смотрит, как кузов его машины наполняется шоферами и инженерами, людьми в автомобильных очках на фуражках. Автомобиль гудит, срывается с места и летит по улице.

Перед нами дрожит кабина. Мы видим, что шофер волнуется. Он дергает машину, опять выглядывает из кабины, плюет. Он мучается. Его распирают вопросы.

Наконец он оборачивается и кричит:

— Как тормоза?

— Хорошо, хорошо! Держат! Во всей колонне тормоза пока целы! — кричим мы и падаем, так как машина застопоривает и снова бросается вперед.

Шофер молчит, потом снова выглядывает из кабины.

— Как дифера? Не клюют? спрашивает он.

— Не клюют, не клюют! Держи руль, а то свернешь к дьяволу! — орем мы сквозь ветер и цепляемся за борта

Но мы знаем, что этим не отделаться. Мы кричим шоферу, как идут баллоны, как карбюраторы, как подсосы, не кипит ли вода, хороши ли спидометры. Потом инженер Великанов

нагибается к кабине и просит водителя не задавать вопросов и не оборачиваться.

Шофер не оборачивается и нем как могила. Но муки автомобилизма еще терзают его. Машину, наполненную целым букетом шоферов, гонщиков и инженеров, вести приходится не так часто. Делать это обыкновенным образом было бы прозой. Шофер решает преподнести нам класс езды. Он дает четвертую скорость и полный газ. Он задевает тротуар. Он бешено срезает дорогу извозчику, отлетает к противоположной стороне улицы так, что мы падаем друг на друга.

— Он убьет нас, дьявол! — говорит водитель Кузнецов. — Вот я несчастная личность! Думал поехать в баньку, а тут без ребер останешься. Лучше пешком пойти.

— Стой! Стой! Машину рассыплешь! Сбавь скорость! — кричим мы шоферу.

Но он не слышит, и машина, круто завернув в переулок, задним бортом ударяется о столб, потом пролетает две сажени и вдруг останавливается. Шофер выглядывает из кабины с торжественным лицом. Но на свете для него нет лавров. Мы равнодушны.

— Какой ты парень, однако! — говорит один водитель.

— Сам учился ездить-то? Или батька научил?

— Вы, товарищ, не гоните машину с неположенной скоростью, — говорит инженер Великанов. — И вообще следует знать правила езды.

Шофер отворачивается и берет стартер. Но машина не идет. Он подходит к радиатору и заводит мотор — машина молчалива. Инженеры и шоферы соскакивают, осматривают машину, садятся за руль, заводят мотор.

— Вот! — говорит шофер, сплевывая. — У ней всегда так. Как здорово разгонишь, карбюратор захлебывается.

Водители пускают машину. Она идет два шага и снова останавливается. Тогда мы все слезаем и идем в баню пешком.

— Ну ее! Страшно не люблю на автомобиле ездить, — говорит водитель Кузнецов, старый автомобилист и гонщик. — Куда лучше пешечком по погодке пройтись. Да. И боюсь я их, ну ее, шею сломаешь.

СОБАЧИЙ ХАРАКТЕР

—...Итак, дальше Соль-Илецка не дойдете, — решительно сказали оренбургские шоферы в «Софийском ресторане». — На фордах думают пески одолеть. Ну, хорошо, третья ось. Ты нам трехоской не хвастай. Толстый баллон. Тут нужна особая хватка, чтоб наши дороги взять, а сверхбаллон ты там на асфальте показывай.

— Соль-Илецк — могила. Разве карданные валы менять только.

Это звучало приговором.

...Мы вышли на улицу. Был вечер. Дорога вела вниз, к обрыву у реки, где над границей Азии, которую мы завтра пересечем, возвышался ночной ресторан и в роще, в другой части света, гуляли оренбуржцы.

— Да, да, — сказал шофер, — завтра вы пойдете по ту сторону реки и понюхаете там перцу. Ты говоришь — пробег. Я тут за двенадцать лет, может быть, одних ребер двенадцать штук поломал, вот как...

... Через день на степном тракте между Актюбинском и Иргизом, мы нагнали какой-то грузовик. Огромный допотопный "фомаг" был молчалив. Он глядел холодными фарами в степь. Открытую дверцу кабины раскачивал ветер. Облака плыли мимо

грузовика над степью. Мы поравнялись с «фомагом» и остановили свою машину. Грузовик был пуст. Шофер сидел в стороне, на обочине дороги, спиной к машине, лицом к степи.

— Сволочь, последняя гадина, — говорил он. — Я с тобой знаться не хотел бы вовек.

Мы подошли к грузовику и заглянули под колеса.

— Должно быть, жиклер засорился, — сказал контролер, поднимая крышку капота.

— Не тронь машину! — крикнул шофер, оборачиваясь. — Не тревожь ее. Пусть стоит. Она характер выдерживает. — Он саркастически скосился на свою машину, потом обиженно отвернулся и плюнул: — Мерзкая кровь! У нее характер с зазоринкой.

Он был совершенно пьян. Пытаясь встать, он пошатнулся и схватился руками за бугор. Мы отбросили из-под колес грузовика песок, контролер осмотрел мотор, слазил под кузов — все в машине было в порядке. Водитель наш сел за руль, дал зажигание, мы обхватили сзади кузов, машина зарычала сердито и глухо, как цепной пес, но не двинулась с места.

— Ничего не выйдет, — спокойно махнул рукой шофер со своего места. — Я ее характер очень хорошо знаю. Пока не захочет, ты ей хоть кол на голове теши. Она мне всю жизнь истаскала. Ты думаешь, машина машине пара? Я всякие видал, глядишь — все одинаково: мотор, кардан, четыре колеса, а характер разный. Такой ведь больше нет на свете. Единственная.

Он встал, и ненависть отчаяния блеснула в его глазах. Видно было, как десятки разных чувств и желаний боролись в нем. Шатаясь, он подошел к машине, лег поперек кабины и накрылся тужуркой.

— Я спать. Спать буду. Вот, — сказал он и вдруг заплакал. — Я не могу, товарищи, — сказал он опять, поднимаясь, — не

могу, когда живого человека машина режет... Раз она не хочет, так теперь ни за что уже не поедет. Вы думаете, я с чего напился? У меня от нее тоска. Почему меня жизнь на «фомага» на этого бросила? Я от Актюбинска на нем семнадцатую остановку делаю. Иногда едешь на нем двое суток куда-нибудь, так хоть плачь.

Его вдруг осенила хитрая идея. Он сел за руль, пустил машину, но сам слез и пошел на траву. Он стал смотреть на степь и облака, пролетающие мимо на невероятных скоростях. Шофер зевнул:

— Ну тебя, хочешь — стой как истукан. Мне плевать.

Он даже сплюнул для равнодушия и отвернулся. Одним же глазом он косился назад, чтобы поймать намерения неприятеля. Но видно было, что машина не такая уж дура, чтобы дать себя перехитрить. Она теперь тоже начала дипломатничать. Когда шофер отходил, она начинала дергаться, фыркать, как будто собираясь пойти, когда же шофер оборачивался, она вдруг затихала и становилась смирной. Первым терпение потерял шофер. Он подбежал к грузовику и пнул его сапогом в бок, но здесь непонятно для себя вдруг оказался сам лежащим спиной на земле и увидел небо. По небу мчались облака. Шофер хотел заснуть, но вспомнил партнера и встал. Игра продолжалась.

— Ага, я понимаю, что ты хочешь сделать, аспид, — сказал он. — Ты думаешь, я пьян, так и лыжи на ветер. Ты хочешь, чтобы я заснул. Этот номер тебе никак не получится. Тебе не удастся воров уйти.

Видно было, что воображение его бешено росло с каждой минутой. Он подошел к кузову, вытащил оттуда веревку, привязал один конец за задний борт машины, а другим обвязал свой сапог и лег на траву. Теперь он успокоился и накрылся опять курткой, чтобы уснуть. В это время подъехала задняя машина нашей колонны и тоже остановилась. Узнав, в чем дело, два инженера и

механик слезли и подошли к грузовику. Они осмотрели машину, но не нашли в ней ни одной видимой причины остановки.

— Да нет, я ж говорю, характер в ней такой, — сказал шофер, не вставая с земли.

— Бес ее знает, — сказал инженер. — Нужно в моторе покопаться. Вообще-то ей полтора года лет, и она не идет, видно, от старости. В ней живого места нет. И нужно удивляться не тому, что она стоит, а как могут такие грузовики ходить и не рассыпаться по этим степям, болотам, канавам. Вы посмотрите, что за дороги — ад, ад, милые товарищи, что делается...

Мы сели в кузова, за рули, на подножки и поехали по дороге через степь, в холмы, падающие вниз и поднимающиеся к небу. Оглянувшись, мы вдруг увидели, что «фомаг» неожиданно задрожал и закачался, шофер сел за руль, и грузовик спокойно побежал по дороге.

II. РАССКАЗЫ О ДОРОГАХ

Удивительная вещь эти шоферские разговоры! Стоит только колонне остановиться где бы то ни было, хотя бы посреди пустыни, сейчас же все соберутся у передних машин. Здесь у нас полевой клуб. Мы сообщаем друг другу последние новости: на восемнадцатой лопнула покрышка, десятая бухнулась в канаву, шел волк по степи... Он был старый и слепой. Наткнулся на колонну — испугался... А если никаких новостей нет, то начинаются рассказы.

«Смотрите — благодать, песочек-то какой!» — «Да, в Казахстане везде так. Вон на Карсакпае тоже такие дороги: песок, пустыня, четыреста верст от станции...» И пошел разговор о карсакпайской линии, о казахских песках, о дорогах, затерянных в песках.

Я записал несколько таких разговоров на стоянках; это мимолетные рассказы, очерки и справки о дорогах.

КАРСАКПАЙ

История Карсакпайских медных рудников начинается с фантастической дороги, которую вели в Карсакпай два года. Дело было так. Американские предприниматели, взявшие в 1912 году медные месторождения в концессию, решили построить там,

глубоко в пустыне Бет-Пак-Дала, местную железную дорогу протяжением в два километра. На место ее везли самоходом: прокладывали два километра рельсов, перевозили по ним паровозы, вагоны, людей и все хозяйство. Потом снимали и прокладывали два километра рельсов дальше. Так городок на колесах в течение двух лет добирался до Карсакпая. Американская предприимчивость, но плачевные темпы! Главным концессионером был знаменитый Уркварт. Революция отменила Уркварта, отменила темпы и увеличила размах. Сейчас у Карсакпая 120 километров железной дороги.

Николай Александрович Четвериков, участник нашего пробега, работал в Казахстане, в Ашхабаде, и через его автомобильную биографию многочисленные путешествия в песках проходят, как самые обыкновенные дела.

Самая страшная из его экспедиций — это путешествие через каменистую пустыню Бет-Пак-Дала в Казахстане. Бет-Пак-Дала — это 30 процентов пухлых солончаков, 10 процентов песков и 60 процентов камня. Нужно было отыскать новую дорогу к Карсакпайским медным рудникам. От полотна железной дороги, возле Кызыл-Орды, вышел автомобиль старой системы Панар-Левассор, принадлежавший некогда Лесли Уркварту, американскому концессионеру рудников. В автомобиле сидели автомобилист Четвериков, автомобилист Дунаев и казах-проводник Балгабаев. Все они были очень опытные, каждый в своем деле, но никто из них не оценил трудностей предстоящего пути. Было взято очень мало горючего и одежды. Попав в песок, машина начала буксовать. Зайдя в солончаки, она совсем отказалась идти. Кое-как ее все же вытащили и дошли, наконец, до камня. Камень был гол и раскален, точно плита. Ночью вступил в силу закон резко континентального климата: стало так холодно,

путешественники посинели. Разжечь костер было невозможно потому что на камне ничего не росло. По плацу гуляло звонкое эхо. Ночью под машиной лежали люди и так сильно стучали зубами, что в камнях раздавалась дробь и путешествовала в темноте, точно заблудившийся барабанщик. На второй день испортился автомобиль — отказалось работать магнето, и два автомобилиста ничего не могли с ним сделать. Тогда автомобиль подхватили за крылья и потащили вперед. На третий день автомобиль вдруг заработал, но зато в экспедиции была выпита вся вода. На четвертый день кончилась вся пища, а на голом камне ничего не было, кроме веленых лишайников. К вечеру на горизонте показалась жиденькая поросль камыша, и когда люди добрались до нее, то нашли на дне углубления, черную воду, в которой кишели головастики. На пятый день гибнущую экспедицию спас сайгак — пустынная антилопа, случайно пересекавшая степь. Антилопа была убита и съедена. Это было уже невядалеке от города Тургая, до которого экспедиция прошла 800 километров.

— Вы хотите знать, что осталось здесь от американцев? — сказал инженер Четвериков. — Ничего, только память кое-какая. Когда мы приехали на рудники, там скука была и запустение. Шесть человек жило там во время консервации рудников. Когда решено было эти рудники оживить, мы отправились в барак. Видим — сторож в цилиндре разгуливает, граммофон американский в бараке играет, а кругом, конечно, пустыня. Так и жил там народ, сторожил добро; время было такое, жалованье имуществом им платили: кроватями, спиртом, коврами. Завхоз комбината от американцев остался. Еще зав. гаражом Буров, Павел Никанорыч, работал у них. Да ветхий автомобиль системы Панар-Левассор — вот все, что перешло к советской власти. От американцев же самих осталась только тень. Помнили, что звали инженера мистер Стичдей и что по созвучию его называли

«Дмитрий Евстигнеевич». Железную Дорогу переводили мы больше на верблюдах. Паровозы на верблюдах пришлось, конечно, по частям везти. Потом пошли грузовики, без дорог, просто. Хорошая дорога нужна — без нее же страсть, теперь нельзя машины коверкать! Теперь в Джусалах — двести машин. Думается мне, самый необыкновенный автомобильный город посреди пустыни...

— Вот ты говоришь про карсакапайскую линию, — сказал здесь другой водитель. — Какое объяснение этого тракта? Объяснение очень обыкновенное. Вот был у нас на карсакапайской линии шофер Егоров. В кузове вез пассажира. Шли песками, барханами. Всю дорогу жарило солнце. Все время машину качало. Егоров газовал, что есть сил. По пути с пассажиром балакал о том, о сем. А тот всё молчал. Скучный он пассажир. «Давай песни Петь», шофер ему говорит. Тот опять молчит. Приехал в Джусалы, оглянулся, а пассажира, оказывается, нет. Он его в пустыне обронил. Тот умер от жары. Шофера судили. Вот и история...

—...По таким дорогам трудно ездить. Проводник хороший нужен, следопыт. Вот видишь, мы опять стали — с тропы сбились. Что там такое? — спросил здесь кто-то.

А там проводник наш дорогу смотрит. Старик-казах этот, что из Иргиза нас ведет.

Здесь наступила очередь Ибрагима Башеева, водителя нашей, машины, любителя необычайных рассказов.

— О, — сказал он, — это особенный проводник, слушайте; он лучший проводник во всем Казахстане и даже колдуном считается. Как вы думаете: правда это?..

Тут пришел вице-командор и прервал историю о проводнике-колдуне, водители завели моторы, мы поехали дальше. Но вскоре передние машины опять остановилась.

— Позовите проводника, — сказал командор. Проводник Батырбек Шукатов слез с машины и медленно пошел на холм. Нас окружали пески. Мы поняли, что дороги наши кончены. Начинались бои с пустыней. Проводник стал на холме и вытер лицо полой халата. Он погладил бороду и покачал головой. Перед ним расстилались пески. Все его знание пустыни и караванов — все сразу улетело, как дым; там, где могли ходить верблюды, там, оказывается, не могут пройти эти тяжелые машины, застревающие в песке. Было бесполезно пробиваться дальше по верблюжьей тропе. Мы сели на крылья машин, глядя на Батырбека. Тогда он еще раз вытер лицо халатом и вернулся к колонне.

— Пойдем в сторону. Без тропы. Нужно выйти на другую тропу, — сказал он командору.

Командор внимательно взглянул на казаха, за одну минуту взвесив риск: двадцать три машины, сто девять людей, — здесь можно погубить пробег. Потом он спрятал бинокль и опустил очки.

— Заводи моторы, — сказал он.

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ПРОВОДНИК

Вот идет проводник-следопыт во главе автомобильной колонны. Он идет так: слегка раскачиваясь, руки заложив за спину, посматривая под ноги. Его голова, повязанная белой тряпкой, и черный халат то появляются на гребне песчаного холма, то опять исчезают за буграми. Он чувствует на своей спине взгляды ста девяти людей, но он не замечает их и идет спокойно. Иногда он останавливается и стоит — тогда останавливаются и все двадцать три автомобиля. Он садится на песок, поджав под себя ноги, берет горсть песка, думает, сидит долго. Вся колонна следит за его рукой, как за рукой дирижера. Вот он встал и поднял руку, потом



махнул ею в другую сторону. Все двадцать три автомобиля разворачиваются на буграх и вот нестройной колонной, рыча и сминая бугры, направляются в сторону, указанную проводником. А он опять уже шагает впереди, раскачиваясь и глядя под ноги...

О следопыте стоит рассказать; это был интересный эпизод нашего путешествия.

Участок Иргиз — Аральск многие считают самым сложным узлом пробега. С точки зрения автодорожной он лежал перед нами почти шахматным этюдом. Был этот этюд удачно и красиво решен, но остались в нем какие-то на первый взгляд непонятные пункты. Колонне предстояло пройти путем, по которому никогда еще не ходили автомобили, и больше того — пересечь такие участки, по которым не ступала даже нога верблюда. Протяжение этого пути приблизительно исчислялось в 400—500 километров, но что они собой представляют — голые пески или проходимую твердую почву, — этого не знали в точности даже местные жители. Мы должны были проложить дорогу через эти многочисленные и многоименные приаральские пески, называемые иногда общим именем — Малые Кара-Кумы.

В Иргиз мы пришли ночью 22 июля, задержавшись в утомительных поисках степных и песчаных дорог.

Это маленький поселок, живущий тихим пульсом глухого района, отгородившегося от мира песками. Над глиняными плоскими крышами светила луна. Река Иргиз, омывающая поселок о двух сторон, выбрасывала на глиняный берег белые клочья соленой пены; это странная речонка с морским характером — ее вода солоня и не годна для питья; пресную воду приходится привозить в город из окрестностей. Где-то гудел карнай¹—

¹ *Карнай* — длинная медная труба, издающая необычайно громкие звуки. Часто служит для оповещения о празднике, сборище, часе окончания работы и т. п.

зловещая и торжественная вавилонская труба. Но колонна уже спала. Люди лежали в темной чайхане, на пыльных коврах. На подмостках валялись брезентовые сапоги, полевая сумка и наган Катушкина, желтый комбинезон Абрамова, голубой комбинезон Тиссе. Шагая через тела, я больно ушиб ногу, ввалившись в суфлерскую будку; наверное, здесь, в чайхане, бывают спектакли.

Ночью я бродил по улице и не мог уснуть, поражаясь столкновению предметов. Здесь жили вещи из разных миров: автомобили, любительские спектакли красной чайханы, наганы, карнай, прокаженные нищие, будка телеграфа, откуда телеграммы по телефону передавались в Челкар. В будке, за окошком, помещался человек, освещенный луной; он кричал по ту сторону пустыни: «Алло, алло, Челкар! Передайте в Арморе: колонна Пришла. Передайте в Арморе...» Арморем здесь называют Аральское море.

У дверей чайханы я наткнулся на пожилого казаха в чалме. Это был старый Батыр бек Шукатов, водитель верблюжьих караванов, который должен вести за собой в пески наши Двадцать три автомобиля. От его умения теперь зависело благополучие нашей колонны. Он сидел под навесом чайханы и спокойно пил кончай из широкой пиалы. Он говорил что-то парнишке, своему племяннику, которого учил искусству вождения караванов.

Думал ли проводник о предстоящей тяжелой дороге?

Из Иргиза мы вышли утром 23 июля. Машины выстроились на кривой, узкой улочке. В конце улицы пенилась река. Отряд местных пионеров босиком спустился с деревянной лестницы балаханы¹ и промаршировал перед колонной. Кинооператор заснял пионеров. Потом он за. снял шеренгу в профиль. На

¹ *Валахат* — в туземных двухэтажных постройках верхи галерея, балкон с навесом, стоящий на подпорках.

радиаторах висели убитые орлы и дудаки, сушились шкуры каких-то зверей. Автодоровец Данильченко прибил к кузовам красные плакаты. На этот раз он, хитроумный декоратор, выдал каждой машине по одному слову. Когда машины пойдут одна за другой, то можно будет по порядку прочесть: «Все трудящиеся, вступайте в многомиллионный Автодор».

— Посадите проводника на первый номер, — сказал командор, и вдруг все поняли, что он вырос, этот незаметный, молчаливый пассажир с заднего грузовика. Он сел со своим племянником в первый автомобиль и сказал что-то командору через переводчика. Тот махнул рукой, и автомобили начали изворачиваться в узком ущелье улички.

Выехав за поселок, мы увидели тропу, идущую на Тургай. Она бежала по пескам, поросшим травой, и уходила на северо-восток. Мы пошли правее и скоро очутились среди желтых холмов. Сразу некоторые машины забуксовали и разошлись в поисках дороги. Теперь строй перепутался, и Данильченко застонал от волнения: «трудящиеся» уехали вперед, а «вступайте» плелись где-то за «Автодором». Он бежал рядом с машинами, уговаривая стать в строй. «Отлезь от колес! — крикнул Гриша Шебалов. — Отлезь, не балуй. Пристал, как клещ, со своими лозунгами. Кто их будет читать тут?»

Тот оглянулся: действительно, читать лозунги было некому. Нас окружали пески...

... В ночь на 24 июля колонна погрузилась в непроходимые пески Малых Кара-Кум. Это продолжалось ночь и часть следующего дня. Мы брали с боем каждый метр.

Колеса некоторых машин буксовали. Мы хватали лопаты и принимались отрывать колеса. Несли «гребень» — доску со шпорами, совали под вадный скат. Ломали саксаул и устилали подъем ветками. Стояла луна. Пески были похожи на кусочек ада.



В кустах на песке хрипел и рычал город на колесах. Машины с усилием брали бархан за барханом. Луна бледнела. Приходила заря. Мы еще тащили доски. Тогда люди начали засыпать. Они лезли под колеса отгребать песок и, припав к песку, моментально засыпали.

Одного человека забыли в кустах: он заснул там внезапно и незаметно.

Потом на помощь пришла лента — ташкентское изобретение нашей «бригады проходимости» — прорезиненная полоса в 25 метров длины. Ее подкладывают под колеса, и машина движется по ленте.

Машины наполняли пустыню отработанным газом. Мы использовали ленту, доски со шпорами, самовытаскиватели системы Савинова, цепи и веревочные лестницы, лопаты, ломы и ветки.

Ленты и вытаскивателей не хватило на всех. Мы висели на крыле нашей машины. Когда машина начинала застопоривать, водитель давал сигнал, мы соскакивали и бежали рядом. При втором сигнале мы вытаскивали доски и на ходу бросали их под колеса.

...Ехали машины долго, и пассажиры каравана не переставали удивляться. Под ногами не было никакой дороги, а Батырбек спокойно ехал и пел песни. Потом появлялась верблюжья тропа, и эта тропа была похожа на совершенно незаметную, тощую, бледную ниточку среди моря песков и кустиков. Иногда она казалась созданной воображением, и если люди протирали глаза и внимательно смотрели на землю, то там никакой тропы вовсе не было. А Батырбек ехал и пел песню. Люди боялись, что он потеряет, упустит ниточку. Но он подбегал к командору и просил остановить колонну.

— Сейчас мы с этой тропы сойдем, — говорил он, — и пойдем напрямик.

Караван поворачивал за ним и ехал, пересекая бугры, ломая кусты, и через час выезжал на новую тропу.

Семь раз Батырбек сводил караван с тропы и семь раз выводил на новую верблюжью тропу.

Ночь проходила, караван еще шел по буграм, по волнам, освещая кусты огнями.

Вот опять собрались водители и пассажиры в голове колонны. Стоит день. Мы подходим к открытой, ровной степи и подтягиваемся в стройный ряд. Машины одна за другой подлетают из-за бугров, а тем временем мы открываем наш дорожный клуб. Мы говорим о прошедших двух сутках. На этот раз много новостей мы можем рассказать друг другу...

Гриша Шебалов, водитель нашей машины, рассказал так:

— Ночь, конечно, звезды, ни черта дороги никакой нет, один песок, но валишь, конечно, за огнями. Прямо удивительно — ничего не разберешь, может быть, на одном месте крутишься. А днем куда еще хуже: на наших амовских радиаторы шипят, фонтаном бьют, колеса буксуют, пошли доски под колеса, лестницы, резиновые ленты, самовытаскиватели. Жара, воды недостаток. Потом снова выбираемся на путь, тогда газуем на всю железку. Хуже всех пришлось «Амо»: радиатор одинарный, ставишь остыть машину — отстать боишься...

— Я знаю Восток, — сказал человек, ехавший рядом с проводником. — Я ехал на первой машине рядом с Батырбеком. Я знаю Восток. Много проводников я видал таких, которые умеют отыскивать дороги. Но наш проводник — исключительный проводник. Я не верю в чудеса, но я готов поверить в шестое чувство — чувство дороги. Я присматривался к проводнику. Вот

он просит командора остановить колонну, тот останавливает. Проводник идет на холм, стоит, стоит и вдруг начинает водить носом взад-вперед, потом машет рукой и говорит: «Поехали прямо». Иди сядет на корточки и начинает в руках пересыпать песок, поймает ящерицу, посмотрит на нее, отпустит, сломает ветку саксаула, понюхает... Исключительная личность!

Проходя по колонне, я услышал из-под машины голос Ибрагима. Он лежал с двумя другими водителями и говорил почти шёпотом, делая страшные глаза:

Тогда решили во что бы то ни стало найти самого лучшего, самого умного и самого опытного проводника-казаха, который бы знал все пески насквозь. Послали гонцов в аулы, в кочевья, в степи, по глухим верблюжьим тропам, невесть куда, и нашли такого человека. Это был человек, вышедший из степных недр. У него было черное лицо, горящие глаза.

— Правда это, будто он колдовство знает какое-то? — спросил кто-то...

— ...Да, вот вода вся кончилась, всю в радиаторы вылили. Даже во флягах ничего не осталось. Языки сохнут, головы кружатся. Зовут проводника. Видит он — стоят машины, крышки в радиаторах открыты, пар оттуда идет. «Эге, — думает проводник. — Пятый желудок кончился, воды больше нет. Плохо дело». Побежал на пригорок, травку сорвал какую-то, в руках потер. Побежал дальше, горсть песку взял, пощупал. «Километрах в двух отсюда вода будет», говорит. Проехали кое-как еще два километра, видят — ямка, но в ямке сухо, нет воды. — Копайте рядом, — говорит тот. Взяли лопаты, выкопали яму — вода!.. Каким это способом, —я тебя хочу спросить, —он узнал все это?

Но узнать Ибрагиму этого опять не пришлось. Снова загудели сигналы. Проводник снова пошел вперед. Колонна опять пошла через пески.

... 23 июля мы выехали на огромное плато и изумились. Начинался закат. Солнце освещало равнину сбоку. В красных лучах посреди равнины стоял город. Мы схватили маршрутные карты и проверили ещё раз: здесь на несколько сот километров обязана была быть пустота. И вдруг — город. Необыкновенный город. Контуры башен, мечети, целые толпы плоских крыш, амбразуры окон были залиты кровавой краской и молчаливы; мы поняли, что город мертв.

Профессор Ветчинкин опустил ноги на подножку машины. Инженер Соломонидин схватил коробку с кассетами.

— Я бы взял точку слева, с пригорка, — сказал профессор инженеру, — контражуром. Мечети нужно снимать контражуром. Это бывает раз в жизни. Я бы вам советовал.

Соломонидин засуетился и выпрыгнул из кабины. Он уронил трубку и не поднял. Я понял — он боялся, чтобы город не поднялся в воздух и не улетел прочь. Он побежал.

— Сыпьте контражуром, — кинул ему вдогонку профессор усталым голосом. — Я был в Африке... Это бывает раз в жизни.

Колонна стояла перед городом. Это было минутное потрясение. Нужно представить караван в двадцать три автомобиля, в пустыне, у стен мертвого города, к которому затеряны все тропы. Куда привел нас Батырбек? А может быть, этот город не мертв? А может быть, это Багдад, может Мекка, может быть, город этот прилетел сюда на волшебном ковре из «Тысячи и одной ночи»?

Я боялся соскочить на землю — она была не настоящая. Люди стояли на пригорке. Они молчали. Толпой, в комбинезонах и очках, они смотрели на город.

— Это, очевидно, аул Джулай, — сказал Семевский. — Он считался святым городом. В нем гробница султана Урмана. В город стекались паломники, караваны...

— Поехали, — сказал командор.

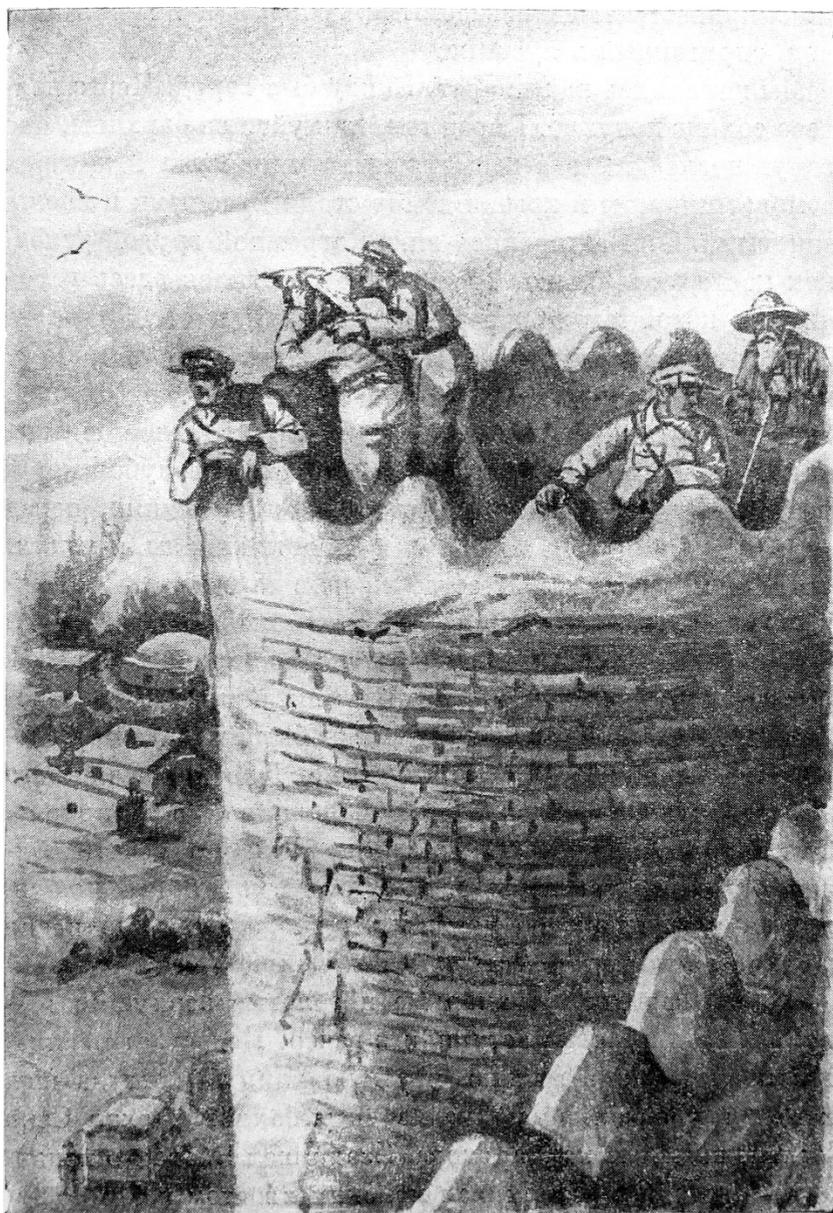
Мы сели в автомобили. Автомобили подошли к городу. Кругом росла трава. Никто не вышел нам навстречу. Командор на третьей скорости въехал в город. На улице было пусто. Не было оркестров. Все посмотрели на Катужкина: в этом городе ему не придется выступать. Катужкин хмурился и смотрел с опаской: не появится ли вдруг трибуна? Трибуны не было, никого не было. Город был мертв. Толстый Катужкин засиял и вылез.

Мы отправились в дома и мечети. Это были глинобитные дома с пустыми комнатами, в которых росла трава. В одной из комнат лежали человеческий череп и кости. Мы вынесли череп на улицу и подарили командору. Командор положил череп на капот радиатора; радиатор кипел, череп неизвестного человека дрожал на моторе. Он ничего не мог сказать командору. Кто этот последний житель города Джулай? Может быть, мулла, может быть, последний бедняк, обманутый святынями города.

— Иль-алла алла! — крикнул Богдан с мечети. Он изображал муэдзина, зовущего на молитву. — Иль-алла алла! — неистово закричал он, прикладывая в то же время лейку к глазу. Он снимал колонну ракурсом сверху.

— Слезьте, — сказал командор. — Нужно уважать товарищей.

Тогда мы вспомнили того, кто привел нас сюда. Батырбек сидел в стороне и делал вид, что ничего не слышит. Он скромно сидел на корточках на траве и смотрел на закат солнца. Что он там видел? Может быть, он ожидал нашего восхищения. Я думаю, что это был его подарок нам: привести сюда неведомыми тропами и показать город, спрятанный в пустыне.



Мы поднялись на минарет. Внизу был город. Через полчаса солнце потухло. Перед тем, как уйти за барханы, оно вдруг последний раз вспыхнуло на минаретах и крышах домов; минареты и крыши домов стали красными и апельсиновыми. Они загорелись внизу огромной грудой углей, как костер в пустыне. Тысячи дней светился здесь город ни для кого. Мы притронулись руками к стенам — это была глина, суглинки, лес. Но мы видели золото и мрамор, мраморные дворцы, золотые шпили минаретов. Должно быть, архитектура Азии рассчитана на солнечное общение. Я видел мечети из мрамора с золотом, голубой керамикой, индийской яшмой. Но только в пустынях, перед развалинами городов и гробниц из простой глины, я понял, что можно уважать искусство жрецов за тонкость, за хитрость, за мастерство. Мне представились великие кочевые орды, идущие из степей поклоняться гробницам. Черные люди из огромной и плоской земли, наполненной запахом степи и бараньих кошм, должны были падать на колени перед величием города в пустыне. Для этого лживого эффекта жрецов должна была быть равнина, на равнине — этот город. Должно светить солнце. У ворот мечети должен стоять святой дервиш, полуголый бородастый мошенник, и петь песню об уважаемых гробницах. Эта песня должна звучать торжественно и печально.

Солнце заходит. Мраморные и золотые верхушки гаснут. Багдад и Мекка вступили в вечер. Недостает месяца. Мы посмотрели в темную, мертвую улицу оттуда шел караван. Спереди в машине на сверхбаллонах ехал Сеня Уткин, водитель из Харькова. Сзади шел Богдан в испанском берете. Он размахивал конским хвостом и фотоаппаратом лейкой. Две машины шли сзади, рыча в узкой улице и цепляясь да глиняные стены, как пьяные бродяги.

Мы пошли к машинам, оглядываясь на город. Батырбек сидел еще и смотрел в степь, на закат. Очевидно, он думал о караванщиках, с которыми тридцать или сорок лет назад встречался на этом перекрестке пустынных троп. Нет караванщиков.

Тропы, шедшие когда-то отсюда, стерлись и заросли. Один лишь Батырбек знает еще эти тропы. Вот он еще раз в жизни пришел в Джулай, к гробнице султана Урмана. Но привел он не караван паломников... Кто бы подумал, что приведет он сюда такой необычный караван!..

... Я прохожу мимо радиомашин. Вокруг нее и на ней натянуты антенны, стоят батареи, динамо, в кабине горит свет, и радисты ловят Москву, но Москва пока врывается в аппарат лишь злым свистом и шипением разгневанного пространства.

Возле третьей машины происходит летучее заседание контролеров и технической комиссии. На окраине лагеря проводник Батырбек Шукатов стоит на коленях в стороне, на песчаном бархане, на чистой подстилке, и тихо молится на вakat. Проводник шепчет молитвы и кладет поклоны уходящему красному солнцу, а оно смотрит на него без выражения, как загадка. Безоблачное небо сияет над страной пустынь и морей. Батырбека в Аральске командор решил торжественно премировать деньгами и почетной грамотой. О чем он молится?

— О чем он молится? — спросил я Ибрагима, говорящего по-казахски.

— Не мешай, не надо, — ответил он. — Он молится аллаху о караванном пути на завтра. Он говорит про подшипники и баллоны. Чтобы радиаторы не кипели. Чтобы было хорошо... Ты вот скажи мне лучше: как он дорогу находил? Верно, будто он песок нюхал?

Но командор тут загудел сигналом.

Машины тронулись, и из переулков прибежали последние искатели вещей. Вообще в мертвом городе ничего не было найдено, кроме нескольких случайных и несуразных предметов; как-то: старый коран, жестяная лампа, деревянный стул, обруч.

А Ибрагим так и не узнал про тайну следопыта.

О СЛЕДОПЫТАХ

Конечно, Ибрагим изрядно фантазировал, да и вообще все это на самом деле не так удивительно. Батырбек изумлен нашими машинами, мы же поражены его умением, воспитанным тысячелетиями кочевника. Это встреча людей из двух миров.

Нет на свете шестого чувства. Что же касается воды, то ее Батырбек Шукатов находил действительно по растениям и по цвету песка. Нашим пустыноведам-ученым тоже известны многие индикаторные травы — те травы, которые на что-либо указывают. Одни показывают дорогу, другие — близость воды, третьи — состав почвы. Показатели воды — «пеганум-гармелес», чия, каракамыш и другие растения. Например, «пеганум» скот не ест, а так как всю остальную траву около колодца он выедает, то здесь разрастается «пеганум». Где его много, там должен быть колодец.

После окончания автопробега я получил письмо от руководителя научной бригады, Бориса Николаевича Семевского. Письмо это совершенно частного характера, но я думаю, что не обижу автора, если приведу из него один интересный отрывок. Вот он:

«Все, кто пишет о пустынях, переоценивают умение кочевников ориентироваться в пустыне. Вы помните один фельетон тему о том, как в песках проводник определял направление по ящерице, пересыпанием песка и сбором веток кустарников. Возможность таким способом определять путь — сплошная чушь.»

Кочевники любят во время остановок, сев на корточки, пересыпать из руки в руку песок — это забава, препровождение времени, своеобразный «пасьянс» пустыни. Мне приходилось встречать несколько человек, которые принимали это пересыпание за «ориентировку» или «отыскивание троп». Сами по себе ветки кустарников (особенно сорванные другим человеком), конечно, никакого определения пути дать не могут.

Но кочевники часто внимательно осматривают ветви, так как для ориентации на них подвешивают тряпочки, которые и указывают путь. Наивно же полагать, что кочевники определяют направление вообще по растительности. Увы, далеко не один и не десяток, и даже не сотни кочевников блуждали в пустыне и погибали там. Когда это происходит с европейцами, мы внаем об этом; подобные же случаи с кочевниками не всегда доходят до нас.

Каждый кочевник едет уверенно, если у него есть дорога — будь то следы или тряпки на кустарниках. Но как только дорога потеряна, кочевник так же беспомощен, как и каждый из нас, прошедший много времени в пустыне и потому не потерявшийся в ней. В частности, по звездам умеют ориентироваться далеко не все кочевники; как правило, лишь вожаки караванов. Мне приходилось много раз блуждать в пустыне, иногда с «проводниками», и уверяю вас, что далеко не всегда им, коренным жителям пустыни, принадлежал выбор правильного пути. У кочевников есть одно замечательное умение — идти по прямой линии. Это очень трудно, и я долго учился у них, прежде чем мне удалось постичь этот секрет. Но их прямая линия далеко не всегда выводит на дорогу или в аул. Посмотрите на схему погибшего в 1926 году отряда, которую я вам передал. Там проводник шел по прямой линии, но дошел лишь до могилы».

К пустыне нужно относиться спокойно. «Куда ведет эта тропа? Она ведет к дьяволу, а может привести и в Иербентский кооператив», говорят в Кара-Кумах. На перекрестках троп лежит

еще не один секрет. Нельзя пустыню преувеличивать. Но в пустыне нужно уметь ходить. Вот несколько рассказов о пустынных дорогах.

КАРТА

Передо мной карта. Это кусок еще вчерашнего Казахстана: в нем больше курганов, чем аулов, и больше верблюжьих троп, чем дорог. Это захолустье. Звон каравана тут еще привычнее автомобильного гудка.

На карте обозначен путь трех студентов и одного казаха-переводчика в прииргизских песках. Из всех известных мне документов о пустыне этот наиболее выразительно рассказывает о песчаных тропах. Карта составлена следственной комиссией по делу так называемой «экспедиции Тихомирова-Чанова в 1926 году». Здесь рассказ о путешествии заменяют простые линии и знаки, на которые нужно поглядывать, слушая эту историю.

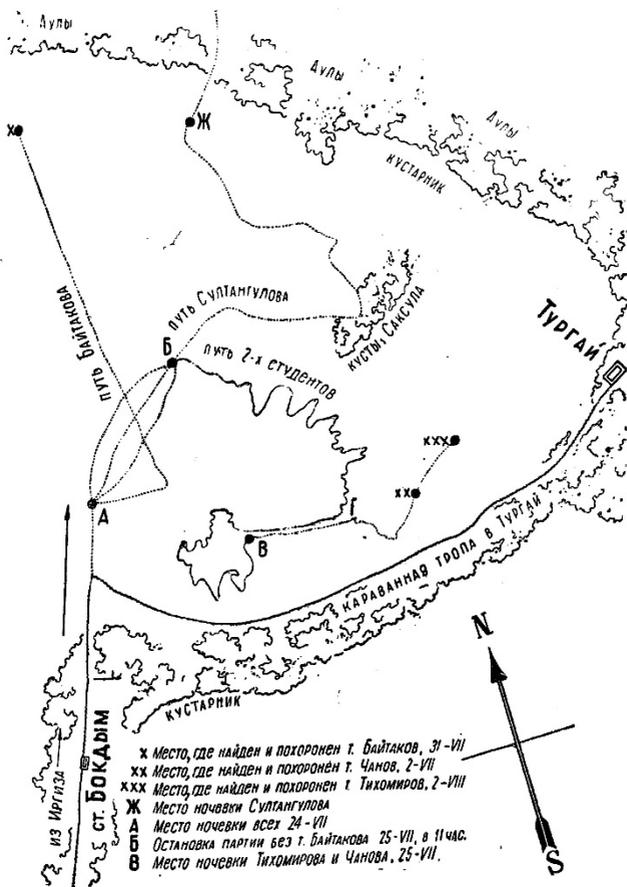
Вот посмотрите на маленький кружок, лежащий внизу, за пределами карты. Это Иргиз. Отсюда в июле 1926 года, по направлению на запад, вышла одна из групп известной экспедиции по изучению казахского аула Джандосова и Соколовского. Отряд составляли четыре человека: два ленинградских студента — Чанов и Тихомиров, один ташкентский студент — узбек Султангулов — и казах — проводник и переводчик Байтаков.

Над Иргизом стояла луна. Душная ночь входила в чайхану. На широких лавках сидели люди и пили чай. Студенты рассматривали карту предстоящей экспедиции и писали письма в Ленинград. «Они не хотели спать и выпили десять пиал чаю, и ходили купаться на реку Иргиз, будили чайханщика и щели песни», вспоминал впоследствии Султангулов. Они говорили, какой Ленинград большой и какой Иргиз маленький. Тогда чайханщик

говорил: «Вы завтра будете в Тургае, так скажите — какой Иргиз большой». А Тихомиров беспрерывно спрашивал Байтакова: «Это что пиала? Это что — дерево, карагач? Ага. Это что?» Это ковер, это узор, по-казахски «карга-тырнак» — вороний коготь. Тихомиров не верил и опять будил чайханщика и спрашивал: правда ли вороний коготь? Тогда толстый и сонный чайханщик сердился, но Тихомиров рассказывал ему анекдот, и тот ташил опять чаю, смеясь и хлопая себя по толстым бокам: «Ай молодежь, хороший молодежь!»

К полуночи они легли спать. Тихомиров взглянул на карту и сказал, что завтра они не будут ночевать в степи, завтра к вечеру они будут в Тургае — смешно такой путь растягивать на два дня. «Не смотри на карту, смотри под ноги, — сказал казах-переводчик. — Ходи не языком, а ногами. Днем ходить, вечером пить чай, а ночью спать. Таков закон, от века и до века». Он потушил свечу и лег, спать. За стеной, во дворе сопели и ворочались верховые лошади. Город был молчалив, и река вздувалась белой пеной. Это последнее, что запомнил Султангулов в Иргизе. На рассвете они оседлали коней и выехали в Тургай. Они, ехали степью, очень редким кустарником, верблюжьей тропой. Тихомиров непрерывно размахивал длинными руками: «Это что саксаул? Это что? Ты ведь переводчик, ты должен знать. Это что — дерево или так себе, глупость? Это что? Это пустыня?»

Если посмотреть на карту, можно сразу заметить, что караванный путь на Тургай имеет одну особенность. Немного дальше Бакдыма он доходит до Большой Тургайской степи, встречает молчаливую пустыню перед собой, голые барханы, начинающиеся пески и, как испуганный конь, под острым углом бросается в сторону и мчится вправо так решительно, что его никакими силами не повернуть обратно. Трудно объяснить исторически возникновение этого угла. Возможно, что некогда



первые караванщики, нащупывая путь, наткнулись на непроходимые места и свернули здесь в сторону. Может быть, когда-то! здесь лежало разветвление путей, но дорогу на север затерялась в кустах, и ее засыпало песком.

Вечером 24 июля экспедиция проехала бывшую почтовую станцию Бакдым, и, так как уже темнело, всадники прищипорили коней и вскоре достигли поворота дороги. Но что такое черная линия караванного пути, обозначенная здесь на карте? Это слабые отпечатки копыт, ложбины в песке, верблюжий помет, тонкая нить признаков, не видимых в темноте. В сотый раз здесь дорога, испугавшись пустыни, шарахнулась в сторону и незаметно убежала из-под копыт. Всадники еще раз дали шпоры и, сойдя с тропы, умчались вперед. С этого момента следы экспедиции исчезли. Она не вернулась в Иргиз и не пришла в Тургай.

Через несколько дней значительно севернее, близ линии аулов, караванщиками был найден труп казаха. Это был переводчик Байтаков. Потом из степи пришел студент Султангулов. Он не пил и не ел два дня, был истощен и взволнован. Он ничего не мог рассказать о своих товарищах. Так как они не были разысканы, то явилось подозрение, что в степи случилось что-то неладное. Следственная комиссия, выделенная местными властями, отправилась с Султангуловым по следам экспедиции.

Комиссия составила точную карту этого путешествия. В ней зафиксирован весь путь экспедиции. Вот опять маленький кружок на нижнем краю карты. Султангулов опять видел луну над Иргизом. В чайхане сидели те же люди, что и несколько дней назад. Чайханщик удивился, что Султангулов опять здесь; он спросил, где его товарищи, но Султангулов ничего не мог ответить. Утром комиссия отправилась в путь.

На другой день они приблизились к пункту «А» и увидели, что экспедиция сбилась с дороги. На пункте «А» валялись, консервные коробки и уголья, Песок был истоптан. «Здесь мы ночевали последний раз все вместе, — сказал Султангулов. — Товарищ Тихомиров здесь сидел, спрашивал Байтака казахские слова и учил их. Он говорил, что будет караван-баши¹ и отпустит бороду. Это было вот здесь. А меня он звал в Москву учиться в Тимирязевскую академию. Потом мы пили чай. Утром мы увидели, что дороги нет...»

Дальнейшие события похожи на внезапный ветер. Так стремительно разыгрываются только трагедии пустыни.

Здесь опять нужно посмотреть на карту, чтобы понять особенности пунктира, рисующего поведение людей. Сперва следы расходятся в сторону: участники экспедиции решили здесь разделить и подвигаться вперед так, чтобы видеть друг друга на горизонте.

Студенты решили идти поодиночке, искать дорогу и на стоянке сходитья вместе. Но вдруг они увидели, что крайний справа — это переводчик Байтаков — остановился и, круто повернув налево, пошел наперерез остальным. Он прошагал мимо и ушел на север. За ним почему-то никто не последовал. Вот путь его на карте; он поразительно прям, — это характерная черта казаха-кочевника. Пройдя вправо, он убедился, что дороги не найти; в таком случае только какой-либо прямой путь в конце концов выведет к жилью. Это умение поколений, геометрия инстинкта.

Остальные трое побрели дальше и около полудня сошлись у пункта «Б». Пески окружали бивак. Во флягах не было воды.

¹ *Караван-баши* — водитель караванов.

Студенты взглянули на часы: солнце поднималось к зениту, и студенты поняли, что нужно куда-то спешить. Султангулов пошел прямо. Он оглянулся. Издалека увидел — двое товарищей пошли вправо. Еще правее, в стороне, показался кустарник.

— Стойте, а куда вы дели лошадей? — спросил здесь Султапгулова один из членов комиссии.

— Мы их бросили еще раньше. У нас не было воды. Не поенные лошади днем должны пасть. Мы бросили лошадей. Я увидел кустарник. Я подбежал к нему — думал, есть вода. Ее не было. Тогда я повернул назад и пошел прямо. Вечером упал у кустов, пролежал всю ночь. Днем я вышел к аулу.

Тогда комиссия отправилась по следам Чанова и Тихомирова. Вот эти следы. Шли два человека. Они оставили на песке такой же след, как перо сейсмографа — прибора, записывающего колебания почвы, — на белом листе бумаги. И вот перед нами эта единственная сейсмограмма¹. Сначала студенты шли ровно, потом след начинает бросаться из стороны в сторону; иногда он прерывается — студенты падают, потом снова идут вперед. У пункта «Б» происходит их последняя ночевка; очевидно, они в полубессознательном состоянии, потому что на следующее утро их след делает петли, уходит в стороны и в конце концов описывает полный круг. И вот здесь, наткнувшись на собственные следы, они не узнают их и принимают за чью-то тропу. Это заключает комиссия из характера следа. Открытие студентов придало им бодрости: они здесь очень решительно и быстро шагают вдоль тропы. Они рады и спешат; их следы здесь совсем не похожи на прежние, словно путники сразу переменялись. И вот

¹ *Сейсмограмма* — кривая колебаний почвы, вычерченная пером сейсмографа.

у пункта «Г» комиссия находит носовой платок. Это платок одного из студентов, оброненный еще раньше. Студенты, у знают платок и понимают, что шли по своим собственным следам. Здесь мнения следственной комиссии разделились. Некоторые считают, что здесь студенты лишились рассудка. Во всяком случае, отсюда они бегом бросаются в сторону, цепляются за песок, падают и снова бегут.

Сперва нашли мертвого Чанова. Еще через несколько шагов комиссия нашла второго человека. Султангулов последний раз увидел здесь студента Тихомирова. Студент лежал, уткнувшись лицом в песок, протянув руки, как бы продолжая двигаться вперед и размахивать руками. «Что это такое карагач? Что это такое пустыня?» ожидал услышать Султангулов и нагнулся. Но когда Тихомирова перевернули, стало ясно, что и Тихомиров мертв.

Его и Чанова похоронили там же, где и нашли, в притургайском песке. Можно заметить на карте, что это место находится в нескольких десятках шагов от караванного пути в Тургай, той самой дороги, с которой они обились. Места эти отмечены на карте крестиками. Это карта еще старого Казахстана. В Казахстане завтрашнего дня на месте караванной тропы из Иргиза в Тургай будет проведена автомобильная дорога, и с нее будет видно место, на котором погибли молодые ученые, изучавшие Казахский аул.

ОПИСАНИЕ СТАРОГО ТРАКТА

Морской корабль, отправляющийся вдоль фиордов, огибая острова, у которых море всегда похоже на ад и дно кишит подводными камнями, берет в маленьких портовых городках опытных местных лоцманов — проводников, хорошо знающих свой участок моря. Заходя в порты, моряки посещают маленькие

кино, отдыхают в кабачках, покупают в лавочках безделушки, а потом доски волнуются и стонут под ногами, небо переворачивается, моряки снова идут в море, чтобы где-то встретить бухту и спокойный городок.

Сейчас, когда я вижу на карте один маленький участок нашего пробега — от Аральского моря, до Ташкента, невольно вспоминаются старые морские сравнения. Он был на нашем пути одним из самых трудных, этот участок. В каждом городе здесь мы брали с собой местных проводников, которые вели караван наш до следующего города. Мы ориентировались по картам и звездам. Мы блуждали среди пустых пространств, лишенных всякой жизни. Карты ввали и ошибались. Мы испытывали качку, морскую болезнь, тоску по вещам; в городках мы ходили в кино.

На карте этот участок совершенно спокоен. Нужно мысленно преодолеть чистоту белой бумаги, чтобы представить себе море кочек, камыши, болото, солончаки, жалкие кустики. Среди пустой этой земли проходит черная линия железной дороги. Она построена в прошлом столетии. Царская Россия связалась ею с далекой своей туркестанской колонией. Это самая скучная и гнетущая дорога в Союзе. Вид из окна вагона здесь — оскорбление чувств пассажира. Он видит унылые рыжие холмы, эти злобные какие-то плевки природы. Один раз в сутки покажется на холме кибитка кочевника, верблюд и худая рыжая собака. Собаки здесь рыжего цвета, как земля. Верблюды здесь — самые меланхолические верблюды мира. А собака воеет на вakat, словно плачет по этой обойденной земле.

Когда-то здесь не было железнодорожной линии, тогда проходили в этих местах караванные пути, лихая тысячеверстная дорога, почтовый тракт, по которому недели и Месяцы мчались почтово-пассажирские кибитки. Днем кони храпели, убегая от ночи и от волков; ночью пассажиры на маленьких глиняных

станциях играли в карты со стационарными зрителями и ели бишбармак, изготовленный служителями-киргизами. Где она, эта дорога? Ее остатки, незримый путь, брошенный людьми, кружат и выются в степи среди кустов, то приближаясь к железной дороге, то уходя от нее. Несколько десятилетий на дороге никто не появлялся, и вот вдруг караван автомобилей, гремя кузовами и сверкая фарами, пробежал на Ташкент, пролетая мимо разбуженных и удивленных развалин почтовых станций, мимо указательных столбов и могильных курганов, смотрящих в небо.

Два века, два дорожных, мира живут рядом друге другом. По железной дороге мчатся среднеазиатские экспрессы, огромные поезда с хлопком для Москвы, с тракторами для колхозов Средней Азии, а где-то в траве лежат обрывки дороги, стертой временем, — дороги, по которой шествовал в прошлом веке русский империализм на Вог стоке.

«Могила Абдулла», «быв. почтовая станция Кара-Абдал», «станция Арман-Таш» — кратко сообщают наши маршрутки. И вот они стоят, эти могилы и эти почтовые станции, на которых давно не останавливается история. Ветер гуляет в развалинах полуразрушенной станции. Тамарикс растет между камней пола, и каменные бабы с двуглавыми орлами так горделиво смотрят на степь, что можно подумать, будто сейчас из станции выйдет зритель в форменной фуражке и ветер донесет колокольчик прибывающей генеральской кибитки. Я выглядываю в окно и вижу автомобиль «АМО-3» № 20 завода имени Сталина. Он идет через кусты, и Гриша Шебалов поет за рулем песни. Автомобиль уходит, и передо мной одинокий верстовой камень. На камне выгравирован орел; он суров и черен; хищная николаевская птица сторожит развалины своего века, века, полного трагическими для Азии событиями, шедшими по этой самой дороге. У столба тихо и сыро. Шумы внешнего мира проникают сквозь кусты порывами.

Вот снова из-за кустов и холмов, из степи ветер притащил со стороны станции то ли обрывки голосов, то ли смех. Что это? Уж не играет ли генерал там в карты со станционным зрителем и не закладывается ли почтовая кибитка? Или, может быть, то шумит овцеводческий совхоз № 9, которого не оказалось на наших подробных картах? Или просто ветер, так, иллюзия голосов, плод дорожного воображения?..

III. ВСТРЕЧИ

Ташкент — столица Средней Азии, Куныя-Ургенч—древние развалины города, умирающего без воды и дорог. Около двух недель мы ехали между ними. Тысяча двести километров, пройденные от утра в Ташкенте до памятной ночи перед выходом в Кара-Кум, наполнены многими городами и встречами. Ташкент —Ура-Тюбе — Джизак — Самарканд — Катта-курган — Бухара — Каракуль — Чарджуй — это звено между двумя пустынями в нашем маршруте.

Мы видели тут необыкновенное гостеприимство, яркие краски и пыль. Колонна шла на фоне гор и мечетей, разрушенных городов и гидроплотин. Она входила в толпу мечетей, как в скалы. Машины шлялись в кривых и узких переулках, точно звери в Камышевых зарослях. Восточные базары были древни и многолюдны. Падающий минарет в Самарканде и Башня смерти в Бухаре завершали это торжественное шествие фотообъектов.

Это была дорога контрастов. В степи ночью ехали два старика верхом на ослах и дремали. Открыв глаза, они увидели перед собой огни фар — целый город на колесах. Они упали с ослов и бросились бежать в степь.

Это не значит, что автомобили в Средней Азии не были известны. У границ страны в том году такие слова, как моторы, кузова, подшипники, уже вошли в быт. По улице в Самарканде и в

Бухаре красные автобусы возили женщин с лицами, прикрытыми паранджой. В городе Иолотани трактористы — беллуджи — ездили на тракторах в чалмах и с кинжалами, так же как их товарищи скачут на конях. У столбов автостанций стояли очереди на грузовики, идущие в Гарму, на Памир.

Мы стояли в Ташкенте. Колонна раскинулась огромным лагерем у здания Совнаркома.

«PRODUK OF INDIA», написано на белых ящиках, чай из Индии. Ящики с галетами, с фруктовой кислотой для пустыни. Еще были тут палатки почты, буфета, справок; все это было оборудовано заботливыми руками местных организаций. Сто тысяч человек пришли на демонстрацию. Нас встречали автомобили, самолеты. Ремонтные рабочие починяли наши машины, общество «Динамо» издало книжки и атласы маршрута пробега, учреждения давали банкеты, парикмахеры города постановили нас брить бесплатно.

Но мне вспоминались иные огоньки, иные встречи... То было, когда мы проезжали степями Казахстана, по пескам и диким зарослям, по ужасной земле, раскаленной и потрескавшейся от солнца.

РЕЛЬСЫ

Мы стояли в темноте, вдвоем, и мне казалось, что меня опустили в банку с чернилами. Я решительно ничего не видел, кроме болтающегося в воздухе фонарика. Темноту мне хотелось ощупать руками. Сколько времени уже это продолжалось? Я решил, что колонна ушла другим путем, а меня покинула среди пустыни. Бывает ли в этом районе рассвет?..

Здесь нет дорог, нет аулов, городов, нет человека, и земля, лежащая высоко, лишена воды; она потрескалась от жажды. Но солнце и месяц всходят и над этими местами земли...

... Мы ехали вечером. Пятые сутки под колеса мчались степь и кочки и потрескавшаяся земля.

— Посмотри, что это! — крикнул мне товарищ.

Вдалеке мы увидели огонек, двигавшийся к нам. Потом показались две темные фигуры.

— Сюда, сюда! — донес к нам ветерок их голоса. — Сюда! Мы ждем вас уже четыре часа. Тут есть хорошая дорога.

Мужчина и женщина подбежали к машине и стали пожимать нам руки.

Кто вы такие? удивились мы.

— Мы со станции. Полустанок, пост наш, он там.? — Они показали руками назад, и мы увидели контуры каких-то будок. Оказывается, мы блуждали около самой железной дороги. Колонна разорвалась, задние машины отстали где-то за горизонтом, в буграх.

Потом мужчина и женщина бежали впереди, высоко поднимая фонари, чтобы осветить нам дорогу.

— Как мы ждали!.. — кричали они. — Читали в газетах... Осторожнее, канава. Идите за нами. Мы выведем на дорогу. — И вот они вывели нас к полустанку.

Здесь не было ни заборов, ни деревца. Десять машин, качаясь и гремя на буграх, проследовали за мужчиной и женщиной через дворик; прошли между курятником и помойной ямой, задели веревку с бельем, потом обогнули домик полустанка и прокатили по земляному перрону. На фасаде полустанка в свете фар блеснул маленький колокол.

— Отправляй побед, дежурный, — пошутил один водитель.

Машины сошли с перрона и удалились. Меня командор попросил обождать отставших.

Мы стояли у станции. Спустилась ночь. Казалось, что все вещи мира исчезли. Я боялся двинуть ногою, чтобы не оступиться куда-нибудь и не потерять фонарика «летучая мышь». Стало холодно. Подул ветер. Странные голоса забегали вдалеке; точно катал кто-то ржавые консервные банки. Мне захотелось, чтобы кто-нибудь заговорил.

— Ничего не видно, — сказал я в темноту.

Мне никто не отвечал.

— Что это, ветер? — спросил я, но опять без ответа. — Что это, ветер? — спросил я, подбежав к мужчине.

— Что вы? Да, да, ветер, — удивился мужчина. — Больше некому. У нас отсюда никто не приходит.

Потом женщина сказала, что она была несколько лет назад в Москве, — это хороший город.

— Планетарий построили? — спросила она.

Опять загремели банки.

— Планетарий построили.

Здесь ветер качнул фонарь, и на одно мгновение вдруг под ногами сверкнул кусок рельса. Холодный и, как всегда, строгий рельс убегал во тьму. Я обрадовался рельсу, как другу, про которого почему-то забыл раньше. Мне вдруг захотелось сесть на корточки и держаться за эту ниточку, по которой можно прийти к живому миру. Это смешно, но я нагнулся и потрогал рукой железо.

— Неужели по этим рельсам можно дойти до Москвы? — спросил я.

Я представил себе Мугоджарские горы, отроги моря, пески, оренбургские степи — по ним все бегут и бегут рельсы. В конце находится моя квартира и площадь Большого театра. А такие вот

маленькие станции разбросаны на гигантской этой груди земли, точно маленькие спичечные коробки. Мужчина не понял меня.

— До Москвы, конечно, можно, — удивился он. — А как же, поезда ведь ходят. Правда, они у нас редко останавливаются.

«Понятно, понятно, — подумал я, — ведь именно рельс связывает людей этих полустанков». Живя на линии, можно чувствовать своих товарищей справа и слева, как бы плечо к плечу, и это единая цепь большой дружбы.

Я попросил напиться, и женщина ввела меня в дом. При свете лампы я увидел стены, оклеенные порывевшими «Известиями», комод, радиоприемник. В комнате оказались еще люди. Какой-то старик играл на гитаре. В кровати лежал мальчик.

— Четыре дня он ждал вас и бегал в тугаи. Для него такое несчастье: вы пришли ночью.

Мальчик спал; над кроватью висели автомобильные очки, сделанные из бумаги. Я напился воды, снял свои шоферские очки, повесил их над мальчиком и вышел. Ветер опять налетел, залязгали банки, и закричали какие-то голоса.

— Что это? — спросил я.

— Шакал. Шакал бесится, паршивая собака, — сказал мужчина. — Они тут стащить все норовят что-нибудь.

Вдруг небо засветлело от варева, и послышался шум машин. Шла колонна. Мужчина и женщина снова побежали навстречу.

— Нужно помочь на дороге выйти. Устали, небось, — говорили они.

Я встретил машину. Два человека снова проводили нас через свой двор, и долго ветер доносил к нам их крики.

ГОРЫ

Горный хребет возникает внезапно на горизонте. Точно грозная стена гигантов появляется из синевы тумана лишь на миг, чтобы вселить в нас, проезжающих мимо, чувство невольного почтения. Горы движутся слева, идут за нами, перегоняя и заслоняя друг друга, как стадо доисторических животных, обуреваемых жадой и любопытством. Мы не подъедем к ним.

Двадцать три автомобиля на ста пятидесяти четырех резиновых колесах бегут друг за другом по степи, чтобы успеть до ночи прибыть в город Туркестан. Но города не видно. Сколько суток шли эти раскаленные степи, марево, ветры, колышущие беспредельные океаны трав! Этот пейзаж первобытен и прост; от века и до века гниют, сменяя друг друга, поколения трав.

Шины из резины марки «СК-1» и «СК-2», из импортного каучука и советских каучуконосов — тринадцать сортов разной резины, которую испытывают на выносливость, на право существования в нашей стране, — бежали к Туркестану, шурша по горячей пыли дороги; это еще тропа, но видны уже колеи от проезжавших тут арб.

Внезапно мы встретили одинокую арку, стоящую посреди степи. Два тонких шеста были вкопаны по обеим сторонам дороги; между ними протянут кусок материи. Красное полотнище шевелилось на ветру на фоне синих гор и черных туч. На плакате белой масляной краской была выведена краткая фраза:

*Испытательному пробегу привет от родины
советского каучука тау-сагыза.*



И мы посмотрели на горы. Так это хребет Кара-Тау, «Черные горы»! Там, на их склонах, по ту сторону хребта, были найдены первые стебли каучуконоса с нелепым названием «горная жвачка». Там разворачивались теперь плантации мировой величины по разведению растения, содержащего до 38 процентов каучука. Старый казах Турахан Даербекков принес в 30-м году работникам Резинотреста первый корешок растения, заполнившего необозримые пространства Казахстана и которое шло лишь в пищу горным архарам. Это растение удивило мир, показав золотистые нитки, тянущиеся из разреза корешка.

Придержав автомобили у одинокой арки, мы с новым уважением взглянули на далекие горы. Они еще двигались в тумане и исчезали и появлялись вновь. Золотистые нити связывали незримо Бразилию и Африку — страны каучука — и эти казахские степи через материки и океаны. Борьба миров разворачивалась и вокруг маленького индейского слова «каучук» (текущее дерево) в те дни, когда страна лихорадочно искала у себя эти золотистые нити, из которых можно делать автошины, изоляцию электропроводов, обмотку прокладки для самолетов, спецодежду. И пришли горы и долины страны, сказав «есть». Пришел тау-сагыз, пришла хондрилла, за ними пришли толпы растений с драгоценными корешками и стеблями. Мы стояли у арки, под колесами лежала жалкая тропа, но горы снова вышли из тумана, как копилка сокровищ.

— Подождите, подождите, когда, бишь, появился в Средней Азии первый автомобиль? — мучительно вспоминали мы. — В 1910 году? Сейчас там тридцать тысяч машин, а в 37-м году будет восемьдесят тысяч или сто, или двести тысяч. Как там, дорогие горы, записано у вас по плану пятилетки?

БАНКЕТ В АКТЮБИНСКЕ

Несколько суток мы гнались за горизонтом. Но горизонт отступал и, отступая, оставлял нам только степь и ветер. Остальное бежало: города, деревья и люди убегали от нас и скрывались в пыли...

Эта огромная степь шла до самого города Актюбинска. Степные зарницы и ночные пожары трав бродили по земле.

По небу черные тучи шли целыми караванами в Турке стан.

Под тучами, на пустой земле мы разжигали костры и кипятили чай. Мы ничего не ждали от Актюбинска: ум дим степной городишко и снова уйдем в степь.

Больше всех злился один хмурый водитель, ехавший, с нами. Он тащил с собой чудовищную подозрительность: он полагал, что все люди, небо и земля сговорились напакостить его машине.

— Тонна перегрузки! — кричал он на остановках. — Смотрите, смотрите все: у меня прогнулись рессоры. Это он нарочно, завхоз, навалил мне два ящика сыру и полон кузов консервов. Я выкину его сыр! Я выкину пассажиров! Я выкину консервы!

Когда он перегонял нас, то говорил, будто мы остановились нарочно, чтобы срезать ему дорогу, чтобы испортить тормоза.

В Актюбинск мы вошли днем, в ветер, и увидели следующее.

Около низенького дома стояли человек двенадцать стариков, выстроившись в две шеренги под аркой. Один из них был без руки, другой стоял на деревянной ноге, ровняясь одной оставшейся ногой по шеренге и поднимая бороду, которую трепал ветер. Напряженные их лица поразили нас; старики готовились к чему-то необычайному, затаив дыхание, следя за своим начальником. И вот, когда первый автомобиль наш поравнялся с толпой зрителей,

начальник махнул рукой, шеренга подняла вдруг винтовки и выстрелила в воздух. Небо над городом загремело, и так как винтовки были старые, то оставшие выстрелы полетели догонять своих товарищей. Шеренга поставила винтовки к ногам, и тотчас же сбоку заиграл небольшой оркестр. Он играл, и ветер трепал марш, как собака рвет тряпку; на улице оставались отдельные обрывки медных и торжественных звуков, остальное улетало в степь. Начался митинг.

Напряжение суток вдруг разорвалось. Бессонные ночи и степь измотали нас. Сейчас нам хотелось лечь на землю и забыть автомобили. «Я выкину сыр!» крикнул было хмурый водитель, но сейчас же умолк. Мы шли по улицам широкого города, положенного среди степи. В усталых глазах все еще продолжало двигаться, плыли мимо лиц необыкновенные старики с ружьями... Так мы шли и ехали через город, и впереди гордо выступала шеренга с винтовками, причем все время я видел деревянную ногу, отмахивающую такт по земле наравне с другими. Потом шеренга вдруг исчезла.

Мы приехали на стоянку, к новому каменному дому. Он был высок и поднимался над городом, как окала. На крыше рвался красный флаг, стремясь оторваться и улететь вместе с тучками, бежавшими по небу. Мы ввели автомобили во двор и выстроили их квадратом. И вдруг перед нами опять появились странные актюбинские старики — шеренги людей с винтовками. Они молчаливо, по неслышной команде, построились, разошлись и стали по углам квадрата, держа винтовки на-караул.

Захватив узлы и спустив на машинах тенты, мы отправились к дому. В этот момент двери открылись, и на двор вышла диковинная процессия: пара за парой шли женщины, причем каждая из них держала в одной руке ведро, а в другой, через плечо, точно ружье, длинную щетку. Так они прошли по тропинке,

Проложенной в траве, обогнули автомобили, остановились сзади, потом поставили ведра па землю и молча стали мыть машины, соскребывать грязь с колес, вытряхивать пыль с тентов.

— Идите, идите, товарищи! — крикнул кто-то. — Ступайте же за нами!

Нас ввели в просторный дом. Там мы прошагали порез коридоры и вошли в комнату, из которой валил пар. Это был горячий душ. Здесь у нас забрали комбинезоны и унесли их стирать.

Появились мыло, горячая вода, полотенца.

Степь и пыльная дорога, степные ветры исчезли, и вдруг мы очутились в чудесной просторной комнате. Под огромными стеклами окон стояло множество кроватей с чистыми простынями и одеялами.

Мы гоготали и кричали друг другу какие-то смешные и непонятные слова, рассматривая стекла, чистый пол, белоснежные стены, и вдруг увидели опять стариков. У дверей молчаливо стояли два человека в пиджаках с винтовками к ноге; они смотрели сурово и не мигая. Это нас смутило, и все притихли.

— Кто вы, товарищ? — спросил кто-то тихо у одного.

Старик молчал и смотрел мимо нас, переминаясь с ноги на ногу.

— Зачем вы стоите? — решительно подступили мы тогда к нему.

Но старик сунул брови и молчал. Он набирался воздуха, потом, наконец, его прорвало. Он смущенно кашлянул в руку и открыл рот:

— Мы, товарищи, не должны говорить, мы в почетном карауле и помним устав караульной службы.

Он испугался и скосил глаза на дверь: дисциплина боролась в нем со страстным желанием исполнить нашу просьбу.

— Я ничего вам не говорю, — сказал он, наконец, твердо. — Я только скажу вам...

— Мы красные партизаны, — прервал здесь его другой; не выдержав и волнуясь, они стали перебивать друг друга. — Мы же ж красные партизаны...

— Актюбинская организация красных партизан и красногвардейцев! — гордо сказал другой. — Нас тут сила. Организовали все загодя две недели до вашего приезда. Две недели мы ждали колонну...

— Прошли, как один, военный строй...

— Жены наши организовали мойку там, чистку...

— Опять же постели, ужин, столовая... Город у нас конечно, вот маловат, товарищи, против Москвы...

Но нам не удалось на этот раз дослушать партизан так как за окном загудела машина, и все, кому нужно было на почту, бросились во двор. Несколько водителей, журналистов и инженеров влезло в кузов грузовика. Перед домом стояла толпа* Она смотрела на огромную карту, нарисованную местным художником, — маршрут каракумского пробега. Это была фантастическая география: моря красного цвета, земля фиолетовая; здесь были также города, которых нет на свете, а те, которые существуют, сдвинулись, переменились местами. Каспийское море висело сморщенное, как резиновая колбаса, из которой выходит воздух.

Около карты стоял теленок с голубым ошейником и терся о Каспийское море. Теленка изо всей силы гнал прочь милиционер. Мы поехали.

Выехав на главную улицу, мы увидели сыпучие пески. Это были первые барханы. Машина прошла полквартала и завязла. Мы соскочили и стали ее подталкивать. Она не шла. Наконец, нашелся кусок доски, который мы подложили под колеса, и автомобиль



двинулся. Но, пройдя несколько метров, он снова завяз. На помощь нам бросились прохожие. Некоторые из них возвращались с работы, другие шли смотреть колонну, третьи просто вышли на улицу; город был возбужден, колонну ждали уже полторы недели и два месяца готовились к ее приходу. Партизаны маршировали по улицам, клуб чистился, женщины шили новые платья. Для сегодняшнего вечера, оказывается, были скуплены все цветы в Актюбинске и Оренбурге.

Так, беседуя с прохожими и толкая перед собой машину, мы пришли к почте. Мы поднялись в темную конуру — это был телеграф. Двери стояли открытыми, но комната была пуста. Мы могли унести стол, сломать аппарат, могли сами отправить любые телеграммы во все концы света. Появился сторож — босой старик в рубахе бее пояса, с лампой в руках. Он сказал, что дежурный телеграфист побежал к нашей колонне, чтобы на самой стоянке открыть отделение по приему телеграмм. За ним вдогонку была послана девочка. Через две минуты телеграфное отделение вернулось. Оно состояло из раскрасневшегося молодого человека, кипы бланков, чернильницы и стула, который человек нес в руках. Все это было немедленно предложено нам, но вдруг оказалось, что на телеграфе есть всего одна ручка, да и та без пера. За пером была послана опять девочка.

Мы вышли на улицу, когда уже стемнело. Мы отказались от грузовика и пошли пешком. Нас опять сопровождали прохожие. Весь город был осведомлен о новостях, интересующих нас. Нам кричали: «Дальше, за городом, дорога очень плохая». «Ездил пробный грузовик; он мог пробраться только за девяносто километров». «Дальше идут пески».

В клубе ревел духовой оркестр, и вал наполнялся людьми. За столом собирался весь городской партактив, делегаты профсоюзов, красные партизаны.

По длинным коридорам прохаживались люди в безукоризненно белых воротничках. Борис Николаевич Семевский, наш ученый, сменив комбинезон на черную пару, прогуливался по коридору рядом с невысоким, коротко остриженным человеком,

— Вот наш новый пассажир, — сказал он: — Петров, директор Репетенской песчаной станции. Еще тут приехал один товарищ из Приаральской нашей станции.

Я взглянул на Петрова и вспомнил глухую станцию Закаспийской железной дороги, на которой шесть лет работал этот человек: станция стоит посреди песков, где-то в самой глубокой тишине мира; она там занимается растениями пустыни.

У Семевского было завязано горло. Он простудился в степи. Ученый был радостно взволнован: видно, получил хорошие новости о песчаной станции. Он махнул рукой и опять побежал по коридору.

Я вошел в вал. Там все уже было готово к торжественному моменту. Ряды бутылок стояли, как войска перед сражением. На нашем конце стола сидели в ряд партизаны. Как главные организаторы вечера, они были по-хозяйски важны. Рядом со мной недвижно, как стоят на часах, сидели двое в вычищенных люстриновых пиджаках.

Банкет начался, и шум заколыхался в зале. Против меня, рядом с партизанами, сидели хмурый водитель и Савицкий, наш начальник охраны, толстый и крепкий человек с шрамами на лице. Мы предложили партизанам выпить за их здоровье, мы расспрашивали их об актюбинских делах и рассказывали анекдоты; они охотно смеялись и в свою очередь старались всячески развлекать нас.

Окно комнаты распахнулось, и ворвавшийся ветер помчал по столу песок с улицы и из степи. Партизан захлопнул окно.

— Город у нас степной, — сказал высокий партизан. — Ветер кругом; город, как кол в поле. Когда мы дрались с Дутовым, степя были жестокие, зимой было дело: не ветру лицо в один момент обмораживалось. У нас здесь в организации народ со всего Казахстана и с Сибири.

Он откашлялся и продолжал!

— Мы в автомобиле, конечно, понимаем на копейку. Но степь мы свою внаем; много наших товарищей полегло за Актюбой, в заиргизских и тургайских песках. Да и где они ни полегли — от Урала до Байкала! Мы эти степи помним все наизусть. Тому прошло сколько лет; которые теперь на советской работе, которые в инвалидной кооперации. Жизнь в другое русло вошла. Но когда дошло до нас сообщение, что пройдет через наш город пробег, — это большое дело для Союза, — пройдет колонна пробега, все мы, актюбинские партизаны, как один, поняли, что наша труба опять трубит. Весь Советский союз, сказали мы, смотрит сейчас на актюбинского партизана. Нужно сделать все, что необходимо будет колонне, когда она пойдет в степи. Мы не понимаем, какая гайка к какой ложится и к чему ее привинчивать в машине; на машинах, признаться, мы ездили маловато, больше пешком да на конях... Но кто же ведет зги машины? Их ведут наши кровные товарищи. Когда мы четверо суток шли черев степь и винтовки держали помороженными руками и ничего не ели, а пили талый снег, и нам негде было уснуть, — но то ж была гражданская война, товарищи! Дутов наваливался. Средняя Азия была отрезана, Урал горел. Горел!

Я партизанил за Уралом, у Минусинска, в Сибири. Был у меня знакомый командир нашего партизанского фронта, балтийский моряк. Вот его жизнь: когда в Кронштадте произошла революция семнадцатого года, он веял командование над своим кораблем и привел его из Гельсингфорса в Кронштадт. Два раза он был ранен.

Потом он пошел с экспедицией по Ледовитому океану. Судно его погибло в океане, и он со спасшимися товарищами высадился у Енисея. Здесь его белые три раза арестовывали, потом повели расстреливать и товарищей его расстреляли, а он, раненный в грудь и в ногу, уполз. В лесах он собрал четыре тысячи партизан. Бился с белогвардейцами. За всю свою жизнь был он, между прочим, ранен ровно шестнадцать раз... Однажды его партизанский отряд под Огинском окружили интервенты; здесь были побиты многие партизаны, и командир получил три пули в голову, одну в плечо, и одна разбила ему челюсть. Белогвардейцы тут кольцом окружили нас, и выхода не было. Тогда он упал на землю и велел всем прорываться, а его приколоть штыком на месте. Партизаны стали плакать и уговаривать его, но он категорически велел исполнить приказание. Тогда один из партизан взял винтовку и приколол командира штыком к земле...

Партизан кашлянул в кулак и исподлобья посмотрел на слушающих. Хмурый водитель был то ли пьян, то ли взволнован — он моргал глазами. Савицкий сидел с красным лицом, вытирая со лба пот и нервно крутя салфетку. Откашлявшись, партизан продолжал:

— Его, значит, прикололи. Прикололи его штыком, но тут его судьба еще не кончилась. И вот сейчас он сидит рядом с нами, товарищ Михаил Тимофеевич Савицкий, бывший балтийский моряк вот он. Сейчас он едет в вашем автопробеге. И все товарищи его помнят, как его, командира Савицкого, которого ни пуля, ни штык не берут, несли на носилках тысячу двести километров, отступая через тайгу в Монголию...

Хмурый водитель вскочил и побежал во двор. Савицкий окончательно вспотел и не знал, что делать с салфеткой. Я вышел за водителем. На дворе была ночь. Из окон через ветер и пыль

пробивались снопы света. Водитель вдруг подбежал к своей машине, открыл почему-то капот и стал возиться в моторе.

— Проклятые фильтры! Фильтры засорились! — оказал он мне. — Надо фильтры прочистить.

Когда я вернулся в зал, там партизаны качали Савицкого. Он был тяжел. Партизаны поднимали и опускали его. «Ура, ура!» кричали они.

Потом другой партизан сказал речь.

— Мы хотим передать через пробег просьбу к товарищу Сталину и товарищу Ворошилову, — сказал он. — Пусть они будут спокойны за актюбинских партизан. Они не забыли здесь своего дела и стоят всегда начеку.

Затем выступил Борис Николаевич Семевский, торжественно поднимая тарелку.

— Товарищи! — сказал он в наступившей тишине. — Я должен сделать вам радостное сообщение. Вот первые огурцы и капуста, выращенные в песках нашей Челкарской станцией.

Тогда тишина прорвалась громом аплодисментов, и все закричали «ура». Это было необычайное «ура» огурцам и капусте наших пустынь. Мы приветствовали их все: водители пробега, ученые, актив степной Актюбы, шоферы местных троп, партизаны, прошедшие когда-то с боями через пустыни. А огурцы и кочан капусты, сияющие и радостные, поднимались над толпой в дрожащих руках взволнованного ученого Севевого.

Так закончилась торжественная часть вечера. Начались художественные выступления. Директор железнодорожного техникума вместе с какой-то девушкой спели романс, который они перед тем тщательно разучивали две недели. Потом спела одна девушка. Один из местных шоферов начал играть на баяне. Мы стали в круг, и бывший моряк и командир партизан Савицкий,

блестя автомобильными очками и стуча сапогами, начал плясать кавказскую пляску.

ВСТРЕЧА КАРАВАНОВ

Не доезжая до моря, мы встретились с караваном из Челкара, пересекавшим пустыню.

Встречи караванов освящены тысячелетиями. Их традиции непреложны, как прибой волн; сперва надо поговорить о здоровье дальних путешественников, потом поделиться новостями, затем отправиться дальше по своим тропам. В данном случае не было отступления от законов.

Сперва смуглые и бородатые вожаки остановили ослов и верблюдов. Как волхвы, с посохами в руках, они подошли к нашему каравану, отвесили нужные поклоны и спросили, по казахскому закону: «Как здоровье ваших животных?», скосив глава на фары машин. Мы также сперва справились о здоровье верблюдов и затем перешли к самочувствию хозяев.

Потом караванщики сказали, что давно уже не читали свежих газет, и попросили поделиться «Казахстанской правдой». Мы дали пачку газет и завели моторы. Волхвы же поехали своей дорогой, сидя на ослах и разворачивая перед собой листы с последними новостями мира.

IV. УЧЁНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

Каракумская автомобильная колонна двигалась и двигалась вперед. Иногда она попадала в песчаные полосы и с трудом выбиралась из них, потом снова выбегала на твердую почву и мчалась со скоростью до 60 километров в час. Обрывы и овраги перемежались с холмами; галька, солончаки, суглинки сменяли друг друга. И везде колонна встречалась со следами каракумского прошлого.

Поразительно хорошо пустыня сохраняет следы и вещи. Песок и сухой воздух защищают предметы от времени. Это музейные предметы, и понятно, почему рассказы о пустыне часто сопровождаются историческими воспоминаниями; это огромный музей, в котором вещи никто не трогает, и они долго лежат свидетелями самых различных эпох.

На краях обрывов стояли развалины древних сторожевых башен, точно ночные филины, с пустыми и хищными глазами окон. Люди выбегали из автомобилей, фотографировали башни, лазили на развалины. Между каменными плитами росла трава, песок заходил в двери.

Английский купец Джонсон в XVI веке видел здесь Сарыкамыш и Узбой, наполненные водой. Вся долина была

заселена людьми и имела культурный вид. Буйно росла зелень. У обрыва Усть-Урта расстился огромный город Деу-Кескен.

Колонна проезжала Деу-Кескен. От города осталось несколько башен и груды камней, полузасыпанных песком. Страна, расцветавшая здесь, ничего не оставила после себя, кроме камней. Она умерла, давно позабыта людьми, и ветер носит ее пыль по пустыне. Эта пыль ничего не говорит о городах, о людях, о человеческом смехе, звеневшем здесь столетия назад.

Кое-где в начале пути дорогу автомобилям пересекали канавы. Они полуистерлись, насыпи почти сровнялись с землей и походили на давно заросшие шрамы, но были так ровны, что могли быть сделаны только человеком. Очень вероятно, что это остатки оросительных каналов, сделанных несколько веков назад. Весной по ним проходят талые воды, дно и насыпи лубенеют от солнца, становятся от этого еще крепче.

Потом вдруг нам начали попадаться более удивительные следы. Это были две совершенно отчетливые, параллельные, залубеневшие полосы, похожие на след давно прошедшего автомобиля. Полосы исчезали, потом снова появлялись перед радиатором.

Чьи это следы? Кто был тут до нас в пустыне?..

Есть в мире чувство, знакомое только путешественникам. Так в море находят бутылку с письмом, брошенным давно ушедшими мореплавателями. Так в волнении полярный исследователь перед хижиной, оставленной в пустых просторах земли, читает дневник старой и славной некогда экспедиции.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Однажды автомобили въехали из-за пригорка на ровную площадку. Один из ученых выбежал собирать растения и

изумился. Диковинная вещь росла перед ним. Он сорвал растение и поднес его к глазам. Сомнений быть не могло: это обыкновенный овес, какой растет где-нибудь в Средневожском крае. Что это — мираж? Ученый знал все пять с половиной тысяч видов растений, живущих в Средней Азии, их характер и привычки; но овес не имел никакого права расти в пустыне.

Однако, овес растет, золотые стебли тянутся к солнцу. Молодой ученый задумчиво стоит у растения. Сколько еще тайн в пустыне!..

Водяные потоки в древности шли когда-то по Кара-Ку-мам. Таяли ледники. С гор Гиндукуша, Памира, Копет-Дага огромная масса воды двигалась по Кара-Кумам, Усть-Урту, Заунгузскому плато. Поток вошел в русло. Он прорвал Тюя-Муюнские высоты, — образовалась великая река. Аму-Дарья текла по Узбою. Огромные прерии Кара-Кум были покрыты зарослями. Рос илак — песчаная осока, кандымы, черкезы, песчаная акация, тополь — туранга, грецкий орех, пахучая джида с серебристыми листьями. Здесь паслись огромные стада антилоп, водились кабаны, змеи, летали стаи птиц. Где все это? Реки ушли, звери вымерли. Человек вырубил заросли, но не сумел завести новых. Никто ничего здесь не сеял — ни ржи, ни овса, ни хлопка...

Посреди раздумья к ученому подошел вдруг еще один участник пробега и сказал, положив руку на плечо:

— Вы удивляетесь, откуда здесь овес? Я знаю, откуда. Посмотрите внимательней кругом.

Ученый пристально осмотрел полянку и увидел среди травы ржавые консервные банки, угли, коробки из-под бензина.

— Это было давно. Мне пришлось уже один раз ехать здесь с автомобильной колонной. Только это был пробег совсем в другом роде, чем наш. У нас не было в колонне ученых. Автомобили были наполнены красноармейцами, бомбами,



пулеметами. В пустыне тогда скрывались еще басмачи, они нападали из песков на мирных дехкан, на аулы и совхозы. Против них были направлены авточасти и кавалерийские отряды. К красноармейским частям присоединились национальные отряды, составленные из многочисленных добровольцев — бедняков-туркмен и узбеков. Вот здесь, я помню, на этом самом месте, когда из-за пригорка выехал наш автомобиль, его встретил залп басмаческих ружей, и мой товарищ-шофер был убит наповал. Здесь вот стоял кавалерийский отряд, вы видите — валяются банки, конский навоз, остатки фуражных мешков. Понимаете теперь, почему здесь вырос овес?..

Автомобильные следы стали в дальнейшем пути попадаться все чаще. Машины, давно прошедшие по пустыне, указывали нам путь. На многих следах сохранилась даже елочка — рисунок протектора; она залубенела и стала твердой. Наши машины старались идти по этим отпечаткам, и когда это удавалось, то колеса не проваливались в рыхлую землю. В колонне нашей ехали люди, проезжавшие когда-то здесь на военных автомобилях, — Рейсгоф, Шкуров и другие товарищи. Они говорили:

— Скоро будут такие холмы, где нельзя будет идти друг за другом, так как колеса будут вязнуть. Придется там идти развернутой цепью.

— Скоро мы увидим большие ямы. Наши машины бились несколько часов в сыпучей земле.

— Потом приедем к месту, на котором когда-то происходило сражение.

Мы шли развернутой цепью. Мы видели ямы. Наконец, мы спустились в большую котловину, к колодцу Дахлы. Вся площадь у колодца была усеяна остатками происходивших здесь когда-то битв. Патроны и сбруя лежали рядом со скелетами лошадей и верблюдов. Кое-где из песка высывались руки и ноги высохших

человеческих трупов. Они протягивали к автомобилям пальцы, почерневшие от солнца и обглоданные шакалами.

Ржавые обоймы, седла, амуниция, пустые патронные гильзы, разбросанные на пригорке, — все указывало на то, что это место было ареной большой схватки. Кошмы, котелки, шапки — все предметы лежали в таком виде, будто только что были здесь брошены людьми. На концах расстрелянных патронов еще чернела пороховая копоть, в кривая басмаческая шашка блестела на песке, как новая...

— Здесь была уничтожена огромная басмаческая шайка, устроившая нам засаду в овраге. А вон там — братская могила, в которой мы похоронили погибших красноармейцев.

Люди подошли к холмику и обнажили головы. Песок. На холме — два кустика. «Гамантус овинус». Песчаное растение. И все.

Здесь, собственно, кончается история старой пустыни.

Пески будут засеяны полезными травами; появятся дороги, каналы, аулы, совхозы; тысячи предметов заполнят пустыню. Из тех людей, кто когда-то открывал эту страну, многих уже нет, другие расскажут, наверное, когда-нибудь о замечательных страницах истории страны. Пока же мертвые вещи, разбросанные в песках, молчаливо, одним своим присутствием, рассказывают целые главы этой книги.

Вот:

остатки бензиновых баков и железные листы, подстилавшиеся под колеса машин на всей трассе, по колодцам Дахлы, Чегыл, Туар;

надпись «*Гаевский*» — на скале, у берега сухого русла Куня-Дарьи. Гаевский — фамилия начальника оперативной группы, совершившего здесь один из героических песчаных рейсов;

такие предметы, как разбитые кузова автомобилей «ЯЗ», «рено» и «фордов», сожженных басмачами, валяющиеся до сих пор в песках по дороге о Чеммерли и Иербенту,

и могилы у Дахлы, Чегыла и других колодцев, в том числе у Бакал-Кую, где разбит последний атаман песчаных белобандитов, Дурды-Мурд, зять Джунаид-хана.

Эти места пустыни и вещи, разбросанные в ней, напомнят о многом:

о 83-м дивизионе, вышедшем когда-то из Ашхабада и состоявшем из 75 человек, всех погибших в ночь у Дарганаты, кроме двух человек;

об отряде Класовского, двое суток пробывшем без воды и продолжавшем наступать, несмотря на то, что даже туркмен-проводник отказался идти дальше;

об отрядах Шкильтера, Александьянца, Отогена;

о частях Хорезмского Песчаного, полка, проявивших исключительный героизм в операциях против Дурды-Мурда, Ахмед-Бека и Бады-Дува, атамана из Дарганаты, когда красноармейцы пили кровь лошадей и в перерывах между бредом и миражами продолжали, сжимая винтовки, двигаться через пески;

о 25 курсантах-националах, направлявшихся из Хорезма на учебу в Ташкент и зверски убитых в песках наемными ханскими разбойниками;

о товарище Карпове, уполномоченном ОГПУ, с несколькими человеками в течение недели одерживавшем осаду полутора тысяч басмачей, и о знаменитой ташкентской Ленинской школе, и о многих других красноармейских частях, прославившихся боями в песках в годы басмачества.

Когда будут окончательно проведены хорошие дороги через пески и автомобили повезут через пустыню хлопок, серу, мирабилит и нефть, в памяти встанут имена работников пустыни, будут жить еще имена, связанные с первыми днями этих дорог:

Линник — первый прораб первой в Кара-Кумах и первой в мире постоянной автомобильной дороги через пустыню, убитый в трех километрах от конца прокладываемой им магистрали, у колодца Иербент;

Рахманов, Окружнов, Хвостиков и другие шоферы постоянной дороги Ашхабад — Серные бугры, погибшие от руки басмачей;

шофер Танов, раненный в руку, продолжавший раненой рукой вести машину и тем спасший ее и пассажиров.

Это наши предшественники в пустыне. Среди них — множество безыменных героев, пересекавших пустыню, когда слово «Кара-Кум» почти не было еще известно миру. Среди них находятся и ученые почвоведы, ботаники, изучавшие пески, их воду и растительность иногда в таких условиях, для которых трудно найти подходящее название.

Известный пустыновед профессор Дубянский два раза вместе со своей женой и помощниками в южных Кара-Кумах попал в плен и басмачам.

Трогали или нет басмачи ученых? Были случаи, когда их отпускали с миром и даже давали бочонок воды на дорогу. У Дубянского они забрали вещи и даже позволили фотографировать себя на память. Значит ли это, что наука — мирный путешественник в пустыне, проходящий мимо ее событий?

Однажды летом из Куня-Ургенча вышла экспедиция: почвоведы Левицкий, Конопацкий и несколько рабочих. В хозяйственных организациях Хорезма возникла идея — оживить район, прилегающий к Куня-Ургенчу. Экспедиция решила обследовать остатки древних каналов и сооружений в этом районе. Куня-Ургенч в те годы переживал осадные басмаческие времена. Ворота домов запирались наглухо. На мечетях стояли дозорные. Из пустыни прилетали шальные выстрелы. Чьи руки направляли эти выстрелы? Много диковинок в пустыне. Басмаческие же шайки состояли из полудиких туземцев с длинными бородами; они боролись якобы за аллаха, против неверных. Зато другие туземцы защищали советский Куня-Ургенч вместе с европейцами, забаррикадившись в бастионах глинобитных домов.

Там же спрятались подсобные работники экспедиции. Они отказались продолжать путь.

— Война войной, но нам нужно исследовать древние каналы. Нас интересует вода и почва, — сказали почвоведы и поехали дальше одни. Ехали они верхом на лошадях, с продуктами и научными приборами. У начала пустыни на них напала конная банда.

— Зачем вы едете? — спросили бандиты.

— Мы едем изучать пустыню.

— Для чего вам нужно ее изучать?

— Для того, чтобы пустыни не было.

Басмачи избили исследователей плетками, отобрали вещи и отпустили. Но почвоведы отправились дальше. Но, не дойдя до древних сооружений, они повстречали новую банду.

— Зачем вы едете?

— Мы едем к древним каналам. Мы хотим оживить арыки, землю засеять травой и хлопком, дороги обсадить деревьями, воздух наполнить птицами...

Много позже из осажденного Куня-Ургенча вышли люди на поиски почвоведов.

— Почему же не прекратить пустыню? Что для этого требуется? Пустить воду, построить аулы, то да се...

Работники Хорезмского оазиса в те дни ответили бы:

— Это не так, не так уж просто. Пустыня не только песок. Новые Кара-Кумы — это вопрос очень сложный, и о нем трудно сказать в двух словах. Прежде чем пустить воду, нужно прорыть каналы. Чтобы засеять пески, нужно разыскать подходящую почву, воспитать подходящие растения, которые могут быть пищей верблюдам, овцам. Для животноводчества нужно организовать людей, колхозные хозяйства. Но еще, раньше всего, необходимо победить врагов Советов, агентов ханства и кулачества, в то же время и агентов всей темноты, дикости старой пустыни — басмачей. Таким образом, бороться с пустыней значит бороться с заилением арыков и рек, с бездорожьем, с песками и солончакками, с засолонением колодцев, с басмачеством. Это, если хотите, единый фронт, от этого вот высохшего арыка до той вон верхушки минарета, снесенной снарядам. От этой караванной тропы и до таких вещей, как вот это...

И они показали бы две отрезанные головы, найденные в пустыне недалеко от Куня-Ургенча, головы почвоведов Левицкого и Конопацкого — экспедиции, погибшей от руки старых Кара-Кум

ЖАЖДА

Бывают рассказы, у которых как бы не видно начала; они как длинные реки: одним концом упираются в землю, в долины, пустыни, а вытекают с гор. Под небесами — там грохочут обвалы, идут облака, хаос, вообще несведущий человек не разберет, что к чему.

Вопрос о воде в Средней Азии — стар и сложен этот вопрос.

Историю транс-каракумского канала я слышал в 1933 году от двух человек: директора Среднеазиатского ботанического института Гранитова и заместителя директора почвенно-мелиоративного института Богдановича. К их рассказу нет нужды прибавлять ни одной запятой. Но настоящее начало этого рассказа существовало задолго до того, как пятнадцать человек вышли на верблюдах из города Керки в пустыню, и даже до того, как они выехали на поезде из Ташкента, и до того, как они сидели над калькой чертежей и проектов.

История транскаракумского канала существует в среднеазиатских научных учреждениях как комплекс: старая мечта энтузиастов, груды исписанной бумаги, несколько заседаний, плюс какие-то похождения какой-то изыскательной партии. Иногда в коридорах учреждений могут показать на широкоплечего мужчину. Это Францкевич, который был на транскаракумском канале.

Где точка для начала? Сдается мне, что она затеряна где-то между горами и пустынями, в архивах истории туркестанских народов. Это извечный вопрос о воде, о недостатке вод, об ирригации. Так бывает с народными былинами, которые с течением времени превращаются в научные доклады, в синюю бумагу чертежей.

Известно, что в Средней Азии орошение считается на время: дать, скажем, колхозу пятнадцать минут воды. Человек, живущий среди этой водной сети, в оазисах Мерва, Байрам-Али, Иолотани, не чувствует окружающей пустыни. Лишь работники УМОСа постоянно, как врачи, видят перед собой сетку артерий, от которых зависит жизнь страны. Под Иолотанью мне пришлось однажды увидеть границы этой сетки, перенесенной с кальки в настоящую жизнь. Мы поехали с работником райкома охотиться на кабанов.

Город Иолотань населен охотниками. В выходной день он запирает двери квартир и канцелярий, берет ружья и идет в камыши, в тугаи, в степи. Беллуджи в чалмах, кооператоры с портфелями, инженеры, — все говорят о дудаках, о кабанах, о двустволках. Мир камышей и птичьих пересвистов окружает город.

Кабаны завели нас в степи и исчезли, мы плюнули на кабанов, пошли по зайцам. Так мы доскакали до каких-то дерев, и путь казался непрерывным как вселенная. Кругом двигались арбы, дехкане с кетменями, беллуджи на конях, откуда-то прилетало ворчанье трактора. «Стой, — сказал спутник. — Дальше нечего делать. Эк нас занесло». Здесь я увидел, что все вдруг исчезло. Не было кетменей, тракторов, беллуджей. Стояла необычная тишина. За деревьями желтел сыпучий песок. Я выехал вперед, за деревья, и вдруг увидел пустыню. Она, желтая и гладкая как море, начиналась под ногами коня и уходила к горизонту.

Это пространство называется юго-восточными Кара-Кумами, и здесь где-то недалеко разворачивались похождения экспедиции транскаракумского канала.

Жажда. Она мучает огромную страну, лежащую под солнцем, среди песков. В Красноводске стоят опреснители, перегоняющие морскую воду в годную для питья. Столицу Туркмении намерены перенести из Ашхабада в Чарджуй, так как город чахнет без воды. По среднеазиатской железной дороге возят воду в огромных деревянных жбанах станций, лишенных воды. На карабугазские промысла возят воду на автомобилях. Хлопок вырастает хорошо, если Землю поливать от трех до четырех раз в лето. Страна мечтает об источниках воды.

Вопросы воды остры и сейчас. Меняется форма, вопросы остаются.

В пятнадцатом веке рассказывали легенды о реке, скрывшейся в пустыне. В 1925 году было предложено несколько проектов оживления Келифского Узбоя. Идея орошения Закаспийской низменности при помощи огромного канала, для которого были бы использованы естественные впадины и русла, возникла уже давно. От американской экспедиции, исследовавшей Келифский Узбой в начале столетия, до последних работ можно назвать десятки фамилий различных исследователей.

В 1925 году ирригационные учреждения стали перед двумя течениями в исследовательской литературе: инженера Моргученкова и профессора Ризенкампа. Оба они предполагали создание транскаракумского канала.

Огромные и захватывающие перспективы рисовал канал: обводнение Прикопетдагской низменности, Мургабских районов, низовьев Теджена, всей Закаспийской низменности. Но оба проекта нужно было подкрепить обстоятельными исследованиями на месте — там, где проходило сухое русло Келифского Узбоя...

Экспедиция первого варианта в 1925 году отправилась в юго-восточные Кара-Кумы для поисков Узбоя.

Экспедиция по второму проекту, под руководством инженера Волкова, отправилась в апреле 1926 года, выйдя в пески от Аму-Дарьи, выше города Керки. Состояла экспедиция из пятнадцати человек, и ехала она на верблюдах и ишаках. В экспедицию входили профессор Димо, гидрогеолог Шалаев, кормовед-ботаник Францкевич, энтомолог Харин, еще один инженер, фамилию которого я не знаю, два туркмена-проводника несколько рабочих.

Шалаева зовут Александр Федорович, Францкевича — Адам Иванович. Адам Иванович — коммунист, поляк, светловолосый, широкоплечий мужчина, выше среднего роста. Энтомолог Харин

был в 1926 году полным молодым человеком лет двадцати пяти, — вот все, что мне известно о личностях участников экспедиции.

Багаж подобной экспедиции представляет собой сборище чемоданов, ящиков, брезента, лопат. В багаже преобладают предметы почвоведов: “монолитные ящики” — 1 метр 20 сантиметров, “тещи” — лопатки особой кривизны, связки пергамента для стерильных проб почвы, мешочки. Толпой мелочей следуют суконки, карты, компасы, клубки шпагата. Все это висит на верблюдах и ишаках; стоит пыль, верблюды топают копытами, ишаки трубят свои ослиные песни, путешественники тыкают в ишаков палочками-погонялочками, это напоминает детскую игру и смешно. Старики шутят по адресу молодого Харина: всем известно, что он везет с собой в ящике кусочек цианистого калия, он прячет его на всякий случай, а “всякие случаи” вычитаны им в юношеских книжках. Это какие-то там невероятные самумы, не бывающие в жизни, песчаные заносы и страдания путешественников.

Перед самым выходом экспедиции инженер сказал Харину:

— Скоро будем попивать чаек на берегу Узбоя. Тогда пожалеете, что берете с собой всякую ерунду. Лучше возьмите лишний кусок сахара, молодой человек. Люблю в пустыне распивать кок-чай...

В задачи экспедиции входило изучить трассу будущего канала. Она ставила теодолит, делала почвенные разрезы, брала пробы почв и грунтовых вод, встречавшихся в колодцах.

Воду закупоривали в бутылки, к ним привязывали номерки и прятали.

Первые затруднения пришли со стороны проводников. Старые туркмены никак не могли понять цель путешествия: “Канал? Какой канал? Река? Вы хотите реку? Вы плохо говорите по-туркменски, и получается очень смешно; будто вы хотите

устроить здесь реку. Какая же здесь река, когда аллах устроил здесь пустыню, вечные пески”. Благодаря этому экспедиция делала лишние крюки по пустыне, и путь ее, нарисованный в моем блокноте, похож на кривой знак “М”.

Покинув один колодец, экспедиция шла уже пятые сутки до того места, где на карте был обозначен следующий колодец. К этому времени у каждого участника экспедиции осталось только по четверти фляжки воды, и люди выбивались из сил. Но самое худшее, что отказывались идти верблюды. Их стегали веревкой, били ногами, но обессилевшие животные лежали без движения. А нужно было спешить к колодцу. Наконец придумано было средство для того, чтобы поднять верблюдов с земли, — под ними разводили костер. Верблюды с ревом поднимались на ноги.

На следующие сутки экспедиция вышла к тому месту, где должен был быть колодец. Но колодца не было. Он оказался засыпанным песком. В этих местах колодцы отличаются большой глубиной; откапывать колодец на глубину 120—130 метров у людей уже не было сил. Случай с колодцем произвел на экспедицию гнетущее впечатление. Нужно учитывать, какое действие оказывает на психику и силы человека жажда в пустыне. С этого дня похождения экспедиции сразу вступают в такую полосу, что мне приходится сокращать ряд деталей, совершенно достоверных, но которые могут показаться наиболее неправдоподобными...

Моча содержит в себе отработанные части воды и очень низкий процент веществ, годных для питания организма. В исключительных случаях жажды она может давать лишь краткий психологический эффект, при котором организм работает, как сердце, пульсирующее под воздействием электрических токов. Ее пили. Но в ящиках, закупоренные в бутылки, еще хранились пробы грунтовых вод. Это была научная ценность, это была просто

нужная вещь, за которой пришлось бы опять снаряжать экспедицию в пустыню.

На следующие сутки пал первый верблюд. Организм верблюда отличается способностью запасать воду впрок. У него особый желудок. И даже когда верблюд гибнет, в нем может оставаться какое-то количество воды. Один из почвоведов взял нож и с уверенностью, с какой он делал почвенные разрезы, вскрыл верблюда, в нужном месте разыскал воду и поделил ее между всеми. Но ее оказалось слишком мало, чтобы утолить жажду.

На следующий день все материалы, приборы и дневники экспедиции решено было оставить. Их засыпали песком и над холмом поставили флаг. В таких случаях обычно говорят без особого пафоса. Инженер Волков просто сказал:

— Люди погибнут, материалы останутся. Наш транскаракумский канал...

Он посмотрел на товарищей. Люди лежали у песчаного холма неподвижно, разбросав руки. Они были полуголыми. Вся одежда и брезенты были изорваны на узкие полоски и разбросаны по дороге для отметки пути. Лежали верблюды. Ишаки высунули языки и закрыли глаза.

По карте до Иолотани оставалось 70 километров совершенно голых, сыпучих песков. Но здесь между туркменами и русскими произошел раскол по вопросу о дороге. Проводники не верили в кратчайшее направление по карте, а предлагали идти по прямой, в несколько ином направлении. Тогда Волков, рассматривая карту, предложил иной проект. В нескольких километрах в сторону должны быть каки — стоки талых вод. Сейчас еще начало лета, в каках можно добыть воду.

Экспедиция разбилась на три отряда. Инженер и два проводника с верблюдами отправились искать воду. Францкевич,

Шалаев, Харин и еще четыре человека пошли дальше, в сторону Иолотани. Остальные же остались на месте.

Отряд Францкевича, медленно передвигая ноги, проваливаясь в песок, пошел на запад, время от времени оглядываясь с надеждой назад. Если к флагу вернется Волков с водой, там, как было установлено, должны раздаться выстрелы.

Люди, оставшиеся лежать у флага, скрылись за холмами. Вскоре исчез и флаг. И ровно через час оттуда донесся выстрел. Шалаев прибежал назад, к флагу. Когда ему сказали, что Волкова нет и воды нет, а выстрел вышел случайно, Шалаев упал без сознания.

Остальные шесть человек иолотанской группы ушли вновь, но Шалаев остался лежать на песке. Когда он пришел в себя, то увидел лежащих людей и флаг на палке, торчащей из пригорка, и вспомнил, что под флагом, в ящике, лежат пробы грунтовых вод. Люди подползли к холму, разрыли песок и открыли ящик. Каждому досталось по полбутылки воды, — вода была горьковатая, но прохладная. К горлышкам бутылок были привязаны таблички с номерами. Воды хватило людям на сутки, и следующие двое суток они опять не пили. На третьи сутки они коллективно отгребли верхние слои песка, докопались до нижних, более прохладных, и легли в яму. Они лежали в ней, никто не говорил, но все видели, что яма очень похожа на братскую могилу.

... Шесть человек во главе с коммунистом-ботаником, широкоплечим человеком Адамом Ивановичем Францкевичем, шли к Иолотани. Адам Иванович шутил и говорил об иолотанских кабаках, которые скоро им встретятся. В первый день эта группа прошла пятнадцать километров, на второй день десять километров. Шли главным образом ночью, а днем лежали, прикрываясь тряпками.



На третью ночь они ползли. Тряпки казались тяжестью. Люди оставили при себе наганы, трусики, один клубок шпагата и пустые фляжки. Утром они перестали ползти. Начиналось солнце. Оно вставало сзади, со стороны Келифского Узбоя, красное и большое. Один рабочий сказал:

— Я покупаю канал. Десять каналов. Вы хотите воды, но я не могу разбрасываться водой...

Адам Иванович посмотрел ему в глаза. Они были пустые, холодные, ничего не видели. Рабочий бредил.

Так они пролежали день. Второй инженер, тот самый, что любил пить кок-чай в пустыне, лежал на пригорке в странном состоянии.

Миражи объясняются различными причинами. Слово “мираж” существует на многих языках; есть слова, соответствующие этому, и в туркменском и узбекском языках, но в среднеазиатских условиях они не всегда обозначают одно и то же явление. Солончаки — шоры и такыры в Каракумах и Кызылкумах часто кажутся вполне нормальному человеку озерами; солнечные лучи отсвечивают голубоватым блеском, колеблются. В степях Казахстана иногда накаленный воздух преломляется возле предметов — деревьев или аулов: кажется, будто озеро, деревья растут из воды.

Но бывает иной мираж — психологического порядка, мираж жажды. Человеку с ним почти невозможно бороться. Он видит реку на горизонте. По реке плывут баркасы. Река холодна и спокойна. Это Амударья. Это транскаракумский канал. Это пришла последняя степень жажды. Язык распух, превратился в корку, мешающую говорить, пить воду. Кружка же с холодной водой стоит у самого рта.

Инженер открыл глаза и увидел товарищей. Никакой кружки не было. Два человека, лежа, приподнимали третьего, и он

пытался водрузить на кустик какую-то тряпку, чтобы устроить тень, но падал, и все трое минуту отдыхали и опять начинали подниматься. А что же это за ними? За песчаными холмами течет голубая река и плывут опять баркасы. Они похожи на желтые пятна в глазах, когда зрение устало и, куда ни кинешь взгляд, везде пятна, везде баркасы.

Миражи отряда Францкевича очень редки в практике этого рода. Они отличались тем, что видели здесь воду во всех ее возможных видах.

Много видов имеет вода.

Росли иолотанские камыши. Вода среди камышей тихая, и по ней скользят паучки, как на коньках. Как близко и как далеко лежит отряд от Иолотани? Очевидно, он ее больше не увидит... Кто-то поставил ведра с водой на пол. Звук ведер с водой, поставленных на пол: звякнули железные ручки, вода равномерно заколыхалась. Из графина докладчик наливает воду в стакан, и вода булькает в горлышке. Бутылки с лимонадом; лимонад сладко-кислый, но холодный, со льда. Нарзан отличается своими пузырьками, целым роем поднимающимися со дна бутылки. В лодку набирается вода; ее сгребают черпаком, это темная, грязная, прекрасная вода. И вдруг пошел дождь, везде дождь, капли стучат в окна, вода стекает по черному зонтику, косой дождь, все люди мокрые, у них смешные капельки висят на носу. Вода течет по желобам, по тротуарам, вместе с красной краской, босые ребятишки, засучив штаны, шлепают по воде...

Инженер повернулся и увидел перед собой на песке лицо энтомолога Харина, которому он советовал вместо цианистого калия взять кусок сахара, и заплакал. Инженер снял с голых плеч ремень с наганом. Он еще раз посмотрел на бледное лицо энтомолога и его синие губы, чтобы проверить, действительно ли все это может быть. Оказалось, что все было на самом деле. Он

удивился — как быстро: каких-нибудь несколько дней назад он бежал по улице Ташкента и прыгал на ходу в трамвай, чтобы успеть в управление Водхоза, на заседание, а Францкевич выступал на заседании с язвительными замечаниями. Сейчас же они оба лежат на песке в таком безобразном и ненужном положении, как какие-то вещи. Докладчик Францкевич! Кстати инженер вспомнил, что нужно еще подработать докладную записку. Но появилась жена, она шла по барханам, держа в руке кружку с водой, и опять показался энтомолог Харин.

Инженер отстегнул наган от ремня. Когда он пытался застрелиться, неожиданно к нему подскочил Францкевич. Он отнял наган и швырнул в сторону. Инженер вспомнил опять, что он инженер и член исследовательской комиссии, которого стали считать почти вещью, и обиделся.

— Это хамство, — сказал он. — Это вас не касается, товарищ...

Но губы так шевелились, что слова были едва слышны.

— Подождите, батенька, я вас еще вот поколочу, если будете делать глупости, — ответил Францкевич.

Инженер взглянул на Францкевича. Тот сидел на песке, с бледным и смертельно похудевшим лицом, поминутно протирая глаза. К нему также пришли реки, лодки, шел дождь.

Потом опять началось заседание, и все участники пили остывший чай, стуча ложками о стаканы и бросая окурки в блюдца.

Потом энтомолог Харин вынул из сумки кусочек цианистого калия. Для того чтобы отравиться, он до последнего дня сохранял во фляжке две капли воды. Но фляжки около него не оказалось. Он оглянулся на рабочего. Тот лежал с его фляжкой в руках и говорил:

— Товарищ Францкевич, я покупаю канал.

В фляжке не было воды: рабочий в бреду ее выпил.

Тогда энтомолог попытался проглотить яд без воды, но распухшие губы и чудовищный высохший язык никак не могли справиться с колючим кристаллом — они ворочали его, пока опять не подскочил Францкевич и не отнял яд.

К вечеру, когда остыли пески, шесть человек поползли дальше и неожиданно невдалеке увидели... колодец!

Колодец был очень неглубоким, но в нем валялись трупы животных. Это не смутило людей. Они привязали фляжку к шпагату и опустили в колодец.

Шпагат был короток. Его не хватило до воды. Тогда были разорваны остатки рубашек и трусики и из лоскутов сделана лента, которую надвязали к шпагату.

Фляжка опустилась к воде. Но поверхность ее была покрыта густой коркой, и фляжка не могла ее пробить. Шесть человек, лежа у края колодца, опускали веревку и били фляжкой о корку, кусая руки от досады. Корка не поддавалась.

Один из них кинул вниз какой-то предмет, и в дыре заблестела вода. Через минуту была выпита первая фляжка воды. Эта была густая и вонючая жижа, которую случается пить разве только один раз в жизни.

— Ничего, ребята, смотри веселее! — сказал Ад Иванович. — Сейчас мы дадим знать о себе. Наши, конечно, нашли воду и скоро придут к нам. То-то будет пир горой!

Он еще держался на ногах. Он взобрался на пригорок и стал стрелять из нагана в воздух. Но никто не откликнулся в барханах. Выстрелы в пустыне сухи, как треск ломаемых веток...

Инженер Волков с проводниками через два дня после того, как экспедиция разделилась у флага, нашел воду. Он послал проводников с водой и верблюдами обратно к экспедиции, но те отказались идти обратно.

Тогда инженер вынул револьвер и пригрозил расстрелять каждого, кто останется у колодца. Когда проводники ушли, он отправился напрямик через барханы к городу, но заблудился и на пятый день вернулся к флагу. Здесь уже была вода и сидели веселые люди, распевая песни.

Одного рабочего с ишаком, груженным водой, отправили вдогонку группе Францкевича. Но в песках прошел за эти дни большой ветер, он замел следы шести человек. Долго бился человек с ишаком и хотел уже возвращаться назад, когда услышал частые револьверные выстрелы за барханами. Это были выстрелы Францкевича.

Нет нужды описывать, как радовались люди, увидев ишака с водой, и как они ругались с человеком и лезли на него с кулаками, а тот неумолимо отцеживал им по маленькой порции воды.

Стоит ли рассказывать, как странный караван — экспедиция людей в трусах и кальсонах, верхом на верблюдах въехала в город?

Мне хочется добавить только одну деталь, которой товарищ Францкевич, если ему случится прочитать эти строки, будет, наверное, недоволен, ибо не любит, когда ему напоминают это: как он потом дома, в течение долгого времени, ложась спать, клал под подушку полную фляжку с водой. Это временный психоз. Здесь нет ничего обидного, даже для человека с такими крепкими нервами, как у Адама Ивановича Францкевича, коммуниста и ботаника.

РАССКАЗ О МОЛОДОСТИ

Утром странный человек ходит по крыше. На фоне зари он похож на фотографию, снятую контражуром. Он в ночной сорочке

и в брезентовых сапогах со шнурками. Холодный ветерок раскрывает грудь и треплет мягкие волосы. Человек стоит и смотрит. Дело происходит в день выхода нашего в пустыню. Под ногами человека простираются ночные тени развалин древнего Куня-Ургенча. Солнце появляется из-за глиняных крыш, из-за минаретов, из пустыни. Оно освещает серые глаза и маленькие усики человека.

Люди, спящие на веранде, просыпаясь, замечают солнце, крышу и человека на ней.

— Профессор! Что вы там делаете? — кричат они, натягивая на себя синие и желтые комбинезоны и подбегая к холодной воде колодца. — Доброе утро, профессор!

— Доброе утро! Я привык вставать рано. Вот рассматриваю солнце. Ожидается нынче хороший день.

Каждое утро он встает раньше всех, он долго ходит вдоль шеренги холодных автомобилей. Он с самой зари занят самыми разнообразными делами: на холмах он собирает какие-то травы, стругает палочки, пристраивает какие-то баночки, прибивает гвоздики. Он ходит и тихо поет романс, какую-то старую песенку, известную только ему одному, пожилому, сидящему человеку.

Он не похож на наших автомобилистов, громких и разговорчивых, сверкающих историями и анекдотами, с голосами хриплыми и раскатистыми, напоминающими рев автомобильных гудков.

Но вот уже несколько дней, как все привыкли видеть его тихую суетню вокруг колонны...

Ночевка в Ходжейли происходила у нас в огромном саду, где колонна нашла зеленый чай, ужин, замечательную звездную ночь. Здесь утром к нам присоединился этот пассажир, появившийся в экспедиции так незаметно и естественно, точно возник он из воздуха оазиса вместе с утренними тенями тополей.

Его появление требует предисловия.

Самая большая и заманчивая загадка пустыни Кара- Кум лежит в нескольких километрах к юго-западу от Хорезмского оазиса. На научном языке это называется проблемой Узбоя. Цепь впадин, состоящая из высохшего русла Куня-Дарья, высохшего озера Сарыкамыш, высохшего русла Узбой, — сложный и романтический узел, волновавший многие головы в течение многих веков.

Большая среднеазиатская река Аму-Дарья бежит от границ Индии к Чарджую, мимо земель бывшего Бухарского ханства, через азиатские пески к Хорезмскому оазису. До этого места все обстоит сравнительно нормально, но река течет дальше, и тут начинается проблема, которой посвящено много научных исследований, легенд, рассказов и стихов. Река здесь, в древнем оазисе, еще до существования Хивинского ханства поворачивала в сторону от Аральского моря, уходила в пустыню и втекала в Каспий. Но несколько столетий назад эта ее половина отсохла, точно рука, пораженная проказой. Кусок реки высох, и Аму-Дарья стала впадать в Аральское море.

Английские путешественники и купцы XV столетия, приезжавшие в Хиву со стороны Каспийского моря, видели еще богатые города, оазисы, крепости, аулы, табуны скота вдоль Узбоя и Сарыкамыша.

В 1715 году Петр Великий отправил в пустыню Кара- Кум экспедицию поручика Бековича-Черкасского, чтобы проверить, есть ли правда в легенде о высохшем русле Аму- Дарья. Говорят, будто узбеки, воевавшие с туркменами из-за воды, возле урочища Харакай перегородили Аму- Дарью плотиной, и вот она потекла в другое море. Страна узбойских оазисов задохлась в конвульсиях безводья, растения засохли, пески пустыни засыпали страну.

Но если пустить реку по старому руслу, то можно открыть по Волге, Каспию и Аму великий водный путь из России в Индию.

Через шесть месяцев Бекович-Черкасский вернулся, потеряв половину людей в пустыне и не найдя сухого русла. Тогда была снаряжена новая экспедиция. Она состояла из семи тысяч человек. Полтора года они бродили по пустыне, и ни один из них не вернулся обратно. Часть из них погибла в песках, а часть была перебита туземцами.

Сухие русла и озера были найдены значительно позже. Что можно сказать о стране, покрытой саваном песков?

«Сейчас об этой стране, говоря откровенно, мы знаем не многим больше Бековича, — писал один исследователь. — Мы имеем маршрутные схемы и записи топографических съемок, но никто не может поручиться за их точность. Мы знаем о существовании цепи Куня-Дарья — озеро Сарыкамыш — Узбой, но нет ни одного человека, который прошел бы вдоль всей цепи. Темное, туманное пятно лежит между двумя морями. Остатки древних башен стерегут границу двух пустынь — Кара-Кум и Усть-Уртского плоскогорья. И, положа руку на сердце, никто из нас не может сказать, отвечает ли истине вся сумма ботанических, топографических, геологических и иных сведений, которая собрана трудами одиночек-исследователей в течение десятилетий...»

... Колонна каракумского автопробега приближалась к границе двух пустынь, к системе высохших впадин, пересекая Хорезмский округ и каракалпакский город Ходжейли, чтобы в туркменском городе Куня-Ургенч оторваться от культурной полосы оазиса и уйти в пески Туркменской республики.

Ночевка в Ходжейли, как я сказал, происходила в саду, в высокой траве, на берегу пруда, среди тополей и оросительных канавок. Толстыми восточными одеялами участники пробега

отгораживались от неба, наполненного звездами, от журчания воды, от высоких деревьев, стерегущих пруд. То ли комары слишком звенели над ухом, или ночь была очень душная, но из сна как-то ничего не получалось. Он летел прочь, а на его место приходили разговоры о бывшем хозяине этого сада—одном из богачей Хивинского ханства, о каких-то гаремах и других восточных вещах. Кто-то сказал: здесь одна из последних ночевков в оазисе, — тогда все вспомнили, что лежат почти рядом с пустыней; им показалось, что она находится за деревьями, и сон окончательно убежал.

— Через два дня мы увидим Куня-Дарью. Я возьму в гербарий ветку саксаула, растущего на дне впадины, сказал научный работник, сбрасывая одеяло.

— Сто лет назад об этом можно было мечтать, — ответил ему товарищ, и они заговорили о преобладающей флоре сарыкамышских солончаков.

Они были талантливыми учеными, руководителями видных научных учреждений, но все же они были молоды; казалось, будто они собираются срывать для своих гербариев неприступные альпийские розы.

— Бекович-Черкасский погиб в оазисе, может быть в этом же саду, — сказал один молодой писатель. — Предок хозяина сада был феодалом, беком и воином, породившим нынешних басмачей.

Писатель не раз бывал в пустыне и три года работал над книжкой, в которой добросовестно рассказывал о проблемах Кара-Кум. Он знал все скучные и веселые тропинки каракумской истории, читал отчеты многочисленных экспедиций и ясно представлял себе людей, мелькавших в академических сборниках: Карелин, Коншин, Молчанов, Дубянский. Это все ученые-исследователи, приходившие и приезжавшие на верблюдах к высохшим впадинам и одиноким колодцам, чтобы сделать сухие и

точные отметки о найденных ракушках, составе почвы, эндемическом¹ составе растений. Многие из этих людей давно ушли, оставив лишь краткие заметки; другие дали огромные труды по таким практическим и специальным вопросам, что на их изучение потребовалось полжизни. Такова, например, книжка профессора Цинзерлинга об ирригационной сети Аму-Дарьи, о характере и всех хороших и дурных привычках этой замечательной реки

Когда писатель собирался уже под утро заснуть, то увидел небольшого человека с маленькими усиками, идущего по траве к баку с кипятком. Это был профессор Цинзерлинг. Он держал в руках какой-то мешок и жестяную кружку.

— Вставайте, вставайте, друзья, — сказал он научным работникам. — Я уже приготовил себе копченое стеклышко. Ведь на сегодня назначено затмение солнца. Оно в оазисе должно быть прекрасно видно. Впрочем, ваши синие автомобильные очки еще лучше для затмения.

Он выпросил у кого-то очки и, протерев их платочком, побежал на солнышко.

Целый день он делал какие-то записи, потом ходил вокруг машин и осматривал их, как привык осматривать караван, везущий его в пустыню. Он видел в своей жизни разные караваны: мексиканских лошадей и туркменских верблюдов, калифорнийских ослов и африканских слонов. Караван машин ему понравился. Он, довольный, уселся на машине и начал раскладывать вокруг себя пожитки. Так он приехал в Куня-Ургенч.

Человек стоит на крыше и смотрит на древние развалины, на песчаный туман, в который уйдет через три часа экспедиция.

¹ Виды растений, возникающие в данной местности и ей только свойственные.



Человек этот разглядывает пустыню, как собственную комнату. Сколько, им видано солнц в пустыне, сколько, троп, сколько переходов! Двадцать пять лет назад он бродил в песках Калифорнии и Мексики. Он знает все пустыни мира. С 1913 года он путешествует в Кара-Кумах и Кызыл-Кумах. Шесть лет он прожил в дореволюционной Хиве, в оазисе, руководя ирригационными работами на Аму-Дарье, от Колорадо до Аму, от кактусов калифорнийских пустынь до саксаула Туркмении... И вот еще раз солнце встает над пустынями мира. Ветер и песок бьются о брезентовые сапоги со шнуровками. Москиты оазисов, полевая сумка, туркменские верблюды, калифорнийские кактусы, полынь белой земли. Анабасиз, трава солончаков... Куда сегодня поедет ученый, чтобы открыть тайну, убежавшую в течение десятилетий?

Двадцать лет назад он занялся капризной рекой Аму. Он изучал ее привычки, ее ирригационную сеть, ее высохшие русла, уходящие в пустыню. Профессор Цинзерлинг — автор проекта орошения Кара-Кум. Этот проект грандиозен до головокружения. Система высохших русел — Куны-Дарья, Узбой, Сарыкамышская впадина — наполняются водой. Генеральная плотина у Тахеоташа часть Аму-Дарьи поворачивает в Кара-Кум. Стоимость плотины — 15 миллионов рублей. Три плотины дают гидроэлектроэнергию, равную энергии Днепростроя. Открывается морское судоходство по Узбою и Куны-Дарье. От памятника, где расстреляны в пустыне бакинские комиссары, в сторону Ашхабада протягивается озеро длиной в 150 километров. Сарыкамыш становится гигантским озером в 7 тысяч квадратных километров. Это генеральный план. План же завтрашнего дня — обводнение Узбоя и Западной Туркмении, плотина, у Тахеоташа. В декабре 1932 года Госплан СССР одобрил проект, но предложил изучить и все другие варианты.

Профессор присоединился к автоколонне, которая поедет к сухим руслу Куня-Дарьи и к Сарыкамышской впадине.

Вечером мы приехали к Куня-Дарье. Крутые песчаные обрывы преградили автомобилям дорогу. Весь вечер и всю ночь мы поднимали машины на другой берег древнего русла. Профессор бегал в толпе и тянул за канаты. Здесь еще не ходили морские суда; вода, запроектированная профессором, еще не билась о песчаные берега. Профессор вместе с другими бегал по дну реки, проваливался в песок, ломал сучья саксаула и бросал под колеса автомобилей.

Корабли еще не пришли.

Профессор вынимал из кузова свою бутылочку с пайком воды и выливал несколько капель на пересохший язык.

— Я лично знаю семь случаев гибели людей от жажды, — говорил он. — Четыре в Калифорнии, три в степях Казахстана... Они не соблюдали режим. Нужно помнить о режиме.

Остаток ночи проходит в тупом бредовом отдыхе. Машины уже у колодца Дехча, под автомобилями лежат усталые люди.

Я открываю глаза. Человек идет по гребню холма в брезентовых сапогах и серенькой кепочке. Он давно уже кипятит чай на треножнике и хлопочет вокруг костра, как хозяйка. Все окружающие завидуют его аккуратности. У нас сахар валяется в шапках, галеты пропитаны бензином, сгущенное молоко едим с песком и пылью. Профессор же окружил себя целой системой баночек и коробочек. Он быстро приспособился к автомобилю, достал множество консервных банок, пробил в них дырочки, привязал веревочки и подвесил банки к крышке кузова. Чай, соль, сахар, конфеты висят в воздухе, не бьются, не попадают под тяжелые бочки и ящики.

Журналисты лежат у его костра и мучают профессора вопросами. Профессор отгребает рукой песчаную площадку и

строит рельефную карту. Я помогаю производить земляные работы. По указанию профессора я воздвигаю рукой огромные дамбы и возвышенности.

— Вот здесь будет плотина. Здесь Куня-Дарья выходит к Сарыкамышской впадине.

Я послушно делаю Сарыкамышскую впадину. Песок уже накален и обжигает руки. Мы вспоминаем семь случаев профессора Цинзерлинга.

— Два дня в пустыне можно жить без воды? — спрашиваем мы профессора.

— Да, но почему вас интересуют эти трагические предметы? — говорит профессор. — Вы молоды и романтичны. В действительности жажда — противное чувство, и лучше бы ее не испытывать. Так как она — профессиональный спутник пустынного человека, то приходится побеждать ее опытом, тренировкой, режимом. Что тут особенного? Нужно всячески поддерживать работу слюнных желез. Можно сосать ремешок, камешек. Стараться делать меньше движений. Это так же скучно, как тренировка боксера, как массаж. Опытный человек не подчиняется срокам — двух дней без воды; он может выдержать и дольше. Это так же, как северный человек спит на морозе. Но ведь бывают случаи отмораживания ног. Я не вижу ничего страшного и особенного в пустыне. Мне приходилось жить в пустыне. Мне приходилось жить месяцами в обществе пары индейцев или мексиканского проводника. Скалы. Песок. Здесь саксаул, там кактусы — это обычно и привычно, как трава в степи. Пустыня — ужас? Ерунда. Кто провел жизнь здесь, относится к этому проще. Киргиз, — пошлите его в леса, — погибнет. Требуется спокойствие. Вы пьете целый день и много. Я же выпиваю несколько глотков лишь до восхода и после заката солнца.

Однажды мне пришлось в пустыне Кзыл-Кум пройти двенадцать дней от одного колодца до другого...

Этот человек как бы вышел из книжки Фенимора Купера. Вот так и бродил профессор Цинзерлинг в Махавской пустыне или в долине Колорадо, в брезентовых сапогах, с лопаткой и дорожным мешком. Тогда еще не было перед ним хорезмских проблем, не было каракумского пробега, было утро в Калифорнии, молодой Цинзерлинг был техником-топографом. Вот маленькая история на тему о природе и людях.

Молодому топографу было поручено произвести съемку береговой линии залива Бахия-де-Тавари. Он отправился туда с парнишкой-мексиканцем, проводником. Человек уходит в пустыню. Он молод и поет песни. За плечами у него лопатка, теодолит¹, веревка. Он шагает к заливу с проводником. Сзади идут две лошади с грузом воды и пищи...

— Мы не рассчитали, что береговая линия изрезана заливчиками, глубоко уходящими в материк, и путь по берегу получается гораздо длиннее, чем мы думали. Мы считали — шестьдесят километров, и взяли запасы на четыре дня. Пройдя шесть дней, мы сняли двести километров, но не дошли еще до середины пути. Дело происходит перед рождеством. Утром два градуса холода, днем — жара, как сейчас...

Все походило на рождественский рассказ, какие печатались в американских газетах. Два человека погибали в пустыне, так как у них не хватало запасов, чтобы вернуться назад, и еще меньше было надежды дойти до конца.

— Мы выпили последние пол-литра воды и отправились

¹ *Теодолит* — угломерный инструмент, служащий в землемерных и топографических работах.

вперед. На седьмой день одна лошадь пала, другая, понутив голову, едва плелась сзади.

Мексиканец хныкал, пел рождественские псалмы, падал и хныкал. На восьмой день приближалось окончание двухдневного срока пребывания без воды, когда вдруг мы увидели благополучную концовку рождественского рассказа. На горизонте показалась палатка кентуккийца-фермера. Спотыкаясь, мы бросились к палатке. Мексиканец пел псалмы, которые перестали быть похожими на проклятья, а напоминали уже благодарственную песнь...

А вот и конец рождественского рассказа. Подойдя к палатке, молодой Цинзерлинг откидывает полог и вместе с лошадыю входит внутрь. Ангел-избавитель появляется посреди палатки в виде огромного детины с свирепой рожей, с сигарой в зубах; он сидит и читает газету. Рядом с ним стоит ведро с такой изумительной водой, что лошадь ржет от восторга. Кентуккиец не подымает глаз.

— Что вам угодно? — спрашивает он, продолжая читать газету. Цинзерлинг приподымает шляпу.

— Добрый день. Мы восемь дней скитались по пустыне и умираем от голода и жажды. Не будете ли вы добры указать, где мы сможем достать воды и немного пищи?

— Пожалуйста, — отвечает фермер, толстый собственник, владелец воды, сердито сдвигая губами сигару. — В шести километрах к востоку отсюда находится лавочка, где вы найдете все, что вам требуется.

Путники благодарят. Они джентльмены. Цинзерлинг берет лошадь под уздцы и ведет лошадь так, что она задевает ведро, — оно падает, и вода льется по палатке.

— Извините, — говорит Цинзерлинг, еще раз приподымает шляпу и уходит с лошадьё на воздух, прочь из палатки. Проклятый кентуккиец!

Костер профессора догорел, угли зашипели под разливающимся кипятком, и профессор пошел готовить бульон, покинув рельефную карту. Мы увидели брошенные каналы и неосуществленные плотины, по которым бегали ящерицы. У наших ног сейчас лежала миниатюрная копия системы Узбоя, в то время как в ста саженьях перед нами возвышались и уходили за горизонты настоящие обрывы сухих впадин, террасы и ямы, поросшие редкими кустами саксаула. Нам показались они сейчас такими же одинокими в пустыне, как их маленькая копия. На далеком обрыве чернела древняя сторожевая башня, покинутая столетия назад. Только стоя посреди пустыни, у бесконечных высохших рек, можно понять все огромное упорство людей, пытавшихся в дореволюционное время добиться оживления умершей страны. Нужно было поистине переделать весь мир и вызвать сначала к жизни какие-то иные силы, которые могли бы переделать этот желтый неподвижный океан. Эта работа была не по плечу ни армиям поручика Бековича, ни тщедушному российско-хивинскому ханству оазиса.

И поэтому вся дореволюционная работа профессора чад Аму-Дарьей походила на само течение этой упрямой, но бессильной перед песками реки. Умиравшее, чахнувшее хозяйство оазиса требовало генеральной реконструкции реки. Река давала жизнь целой группе городов и районов. Но беднеющая страна, из которой высасывались последние соки, не только не могла мечтать об оживлении пустынь, но и сама была сплошным анахронизмом. В стране ездили на ослах и верблюдах. До ханства русские чиновники добирались по Аму-Дарье на туземных лодках в

течение месяца, и казалось, что они ехали в средневековье. В степях свирепствовали тигры, а в городах и аулах — хивинские нукеры, забиравшие девушек для ханского гарема. Вершиной транспортной техники здесь была конная колесница, подаренная хану еще послами императрицы Елизаветы.

В это время в оазисе появился неугомонный человек Серыми глазами на совсем необыкновенной колеснице. Первый автомобиль в Хорезмский оазис был привезен в 1914 году Владимиром Владимировичем Цинзерлингом. Это была машина старинной системы Комник. Ученый решил из атрибутов ученой экспедиции выкинуть традиционного верблюда и заменить его бензиновым мотором. Он сел в огромный гроыхающий кузов и поехал в нем прямо в святая-святых Азии — в пустыню. Первый рейс был совершен из Турткуля в Шейх-Абаз-Вали. Когда рычащая колесница прибыла в глиняный восточный городишко, людские толпы облепили крыши и балконы домов, весь базар сорвался с места и побежал, как сумасшедший. Две женщины были раздавлены в толкотне. У профессора хранится сейчас пожелтевший снимок, на котором машина системы Комник в Шейх-Абаз-Вали окружена беснующейся толпой, готовой раздавить машину вместе с ученым и его проводником Баба.

В песках автомобиль буксовал. Тогда ученый придумал смелые рационализаторские мероприятия: он взял пилу и отпилил заднюю половину кузова для облегчения веса. Ездил он всюду со своим старым проводником, туркменом Баба. Когда автомобиль начинал буксовать, Баба вытаскивал тридцать метров плотной материи и расстилал их перед автомобилем, а ученый давал газ и влетал на бархан под неистовый гром, весь в облаках дыма.

Это был автопioneer в пустыне. Одинокaя машина металась по пустыням Хорезма в тщетной суете. Пустыни молчали. И совершенно так же, как на берегу Калифорнийского залива, никто

не дал усталым путешественникам глотка воды, так теперь на берегах Каспия и Арала никто не мог дать воды великим умершим рекам.

Со времени фотографического снимка в Шейх-Абаз-Вали прошло девятнадцать лет.

Командор дал сигнал и велел колонне автомобилей возвращаться назад. Перед нами стояла неприступная стена обрыва, уходящая к горизонту.

— Повторяется история у Бахия-де-Тавари, — засмеялся профессор. — Там мы бродили вдоль залива, не зная его очертаний. Здесь мы должны так же обогнуть берега неведомого северо-западного залива высохшего озера Сарыкамыш. Долго ли будет продолжаться это путешествие, никому не известно. Но нам нечего бояться. Мы великолепно технически вооружены, а сверхбаллоны легковых машин могут проходить везде, как по воздуху.

Командорская машина загудела; за ней последовали другие. Вой хриплых гудков поднялся над долиной, ударяясь в уступы каменной стены, стоявшей перед колонной.

Колонна спустилась обратно в Куня-Дарью и поднялась на противоположный берег.

Перед закатом солнца автомобили подошли вплотную к огромной отвесной стене Усть-Урта. Она поднималась на сто метров к небу и уходила вправо и влево к горизонту. Ничто не нарушало тишины скал. Только внизу два десятка крошечных машин ползли блестящими точками, обходя каменистые русла. Глубокие расщелины преграждали дорогу, сотнями черных змей они расходились от стены. Машины шагали через ямы, скрипя и охая, подпрыгивая и подбрасывая седоков к крышам тентов.

Стена вдруг резко завернула направо, и за поворотом на земле выросли толпы трещин, извилин и провалов. Колонна смешалась,

разбилась и рассыпалась по долине. Люди бежали у машин, перетаскивая автомобили через ямы. Они бежали весь вечер и часть ночи, уходя толпой огней в мглу каменистой долины.

Ночью мы увидели Сарыкамьшскую впадину, высохшее озеро. Внизу, в ночи, за ямами и оврагами, белело что-то огромное, как туман. Это были солончаки, дно залива, где не ступала еще нога человека. Обессиленная колонна притаилась у стены. С залива бежал ветер, раздувая пламя костров, осыпая людей искрами. За кострами белела неизвестность. Ночью профессор Цинзерлинг взял лопату, веревку и ушел к Сарыкамьшской впадине.

Человек опять шел в пустыню. В брезентовых сапогах со шнурочками он прошел мимо костра. Терпеливый профессор, нагруженный веревкой и лопатой, пожелал нам 100

спокойной ночи и, осторожно ступая, чтобы не разбудить спящих на земле людей, скрылся в темноте. Ветер донес его глухие шаги из оврага и стук осыпающейся гальки. Мы уснули.

Профессор всю ночь проходил у озера и открыл подземные русла высохших рек. Он подошел к высохшему дну, падал в ямы, карабкался, наконец, спустился в огромный овраг.

«Здесь лучше идти, потому что на дне оврагов ям не бывает». И вдруг перед ним в стене огромная дыра. Он попал в пещеру. Шел десять метров, двадцать, пятьдесят. Холодно. Пещера все уже. Очевидно, это не главное русло, — нужно найти его. Нашел. Выход завален куском мергеля величиной с автомобиль. Профессор полез в щель. За спиной лопата, тужурка. Лопата и вьюк зацепились — профессор повис в воздухе. Так можно остаться здесь навсегда. Колонна автомобилей уйдет, а профессор останется висеть под землей, у своего мирового открытия. Он изо всех сил уперся ногами в стену, освободил вьюк и упал в пещеру. Прошел по подземному руслу несколько километров. Мергель,

камни, почва из глины и соли, под солью мергель гипсовый, твердый пласт. Утром он вернулся к лагерю исцарапанный и вымазанный в глине.

Мы проснулись — профессор суетился у костра. Он сосредоточенно зашивал рубашку, варил суп, пел тихий романс, вежливую старинную песенку, может быть вывезенную им из Калифорнии.

Я взглянул на Сарыкамышскую впадину. Это было великолепное зрелище. Ночь ушла. Огромная белая солончаковая земля, искрясь и блистая под солнцем, бежала к горизонту, точно снежная равнина была перенесена с Мурмана и положена в пылающий Кара-Кум. Толпа автомобилей, ослепительных от солнца, стояла у бесконечной каменной стены, сверкала, фыркала, совершала утренний туалет. Начиналась заправка автомобилей. Профессор стоял у машины, засучив рукава. «Будьте любезны подать мне ведро, — говорил он водителю. — Я хочу долить воды в радиатор».

...Почти двадцать лет назад Цинзерлинг на старинном «комнике» со спиленным кузовом ездил по пескам со своим единственным спутником — проводником Баба. Давно нет старого туркмена Баба, давно заброшен где-то кузов «комника», и вот десятки железных советских автомобилей пришли к берегам мечты профессора. Профессор суетится, как двадцать лет назад. И я не верю ему, когда он упрекает нас увлечениями молодости. Он сам всегда будет молод, он наполнен неугомонностью искателя. Железные чудовища пришли к водопою, но в озере нет воды. Сухое ослепительное дно трескается от жажды. Все же вода придет. Я верю в это вместе с профессором. Вот уже нет тоскливой пустыни. Я вглядываюсь в бесконечную даль солончаков. Где-то в синей дымке на секунду поднимаются облачка пыли, и опять все мертво. Но вода придет, как приходят такие замечательные люди,

как приходят железные караваны машин к неведомым берегам. Вот по Аму до Каспия, в Балханский залив, идут полные пресные воды. Волны бьются о берега Сарыкамьшской впадины. У меня уже не сохнет язык. Вновь зеленеют травы по Узбою, воскресают оазисы и города. «Идут, идут корабли!» хочу я крикнуть профессору. Необыкновенные чувства приходят ко мне. Я хочу схватить лопату профессора, его теодолит, веревку и идти с ним в пустыню, радоваться, весело шагать туда, где ходил Бекович, Карелин, Молчанов. Пришло время оживить пустыню. Я не знаю, будет ли пущена вода сегодня или завтра, но я знаю, что в этой стране проводятся необычайные каналы, а пустыни в этой стране умирают.

ПСИХРОМЕТР АСМАНА

Старый немец Асман, ученый, сконструировавший метеорологический прибор, Похожий на двойное дуло охотничьей двустволки, — он не знал, сколько конфликтов и душевных волнений будет стоить его детище нам, пересекавшим на автомобиле горячие земли Средней Азии. Нежный предмет, измеряющий влажность воздуха, слишком хрупкий, чтобы ехать в грузовике стандартного типа, слишком тонкий и задумчивый, чтобы поспевать за пробеговой скоростью, — Он стал мерой бушевания страстей на машине № 20 «ЗИС-3», грузовик — 2¹/₂-тонка.

Началось это в Ташкенте. Четыре человека, четыре новых спутника — три научных работника и один корреспондент — присоединились к экспедиции на площади у узбекского Совнаркома. Четыре человека, четыре новых соседа, принесли в артельный котел свой багаж и свои дары: ботаник Гранитов декорировал все двадцать три радиатора Живыми цветами,

лучшими цветами ботанического сада Средней Азии; почвовед Богданович пел басовые арии и стал ценным грузом для любой машины; корреспондент Звездин был корреспондентом — он блестел очками, он может быть украшением машины. Пусть едет в кузове и блестит очками, и говорит о своих делах; пусть прохожие его видят и дают ему материал. Это необходимо.

Хуже всего было с четвертым пассажиром. К нашей машине подошел тихий, сосредоточенный мужчина в кожанке и протянул нам в кузов чемодан.

— Поставьте, пожалуйста, — сказал он, — меня назначили в вашу машину. Я маленький человек и занимаю немного места. Вот, возьмите еще.

Никто ему не ответил. Мы думали о несчастной звезде нашего грузовика, всю жизнь получающего дополнительных пассажиров.

За чемоданом он подал черную коробку, за коробкой портфель, за портфелем желтый футляр. Я понял: добром это не могло кончиться. Водители смотрели на эту процедуру, как звери, которых дразнят. Когда дело дошло до футляра, Григорий Шебалов распахнул дверь кабины.

— А вы, наверное, хотите, гражданин, рессоры сломать да?

Но ничего этого не понял человек в кожанке.

— Нет, — сказал он, — почему рессоры?

— А для чего же это? — указал водитель на футляры.

Тогда человек разложил футляры на земле и начал вынимать из них блестящие предметы.

— Это для измерения температуры. Это вот — для определения скорости ветра: анемометр Фуса. Вот психрометр Асмана, — начал он объяснять, обрадовавшись любознательности человека.

Водитель взял в руки футляр; он весил полкило без малого. Но водитель поднял его, как знамя старой ненависти к комиссии

по перегрузке; он шагал уже по площади, и за ним шел его помощник; оба они кричали.

— Я же говорю: они нас специально хотят угробить психрометрами Асмана, — говорил водитель.

— Да, да. Вчера навалили бочку горючего. Потом запасные баллоны. А теперь психрометр. Этого и лошадь не выдержит, — жаловался собравшимся водителям помощник Ибрагим Башеев. — Огромный ящик, тяжелый — два человека не смогут поднять его.

Но добиться им ничего не удалось. Михаил Степанович Жуков, молчаливый, сосредоточенный метеоролог, сел в кузов и разложил свои ящики.

Так на машине стало шесть человек. Товарищ Жуков не пел песен и не блестел очками. Он существовал лишь в пределах метеорологии. Мне никогда не приходилось видеть научного сотрудника, который был бы так сосредоточен на своем предмете.

— Хороший город, — говорил он. — Смотрите: крыши все восточного типа, плоские. Они меньше накаляются от солнца. Поэтому температура в таких городах гораздо ниже, чем в европейских городах.

За Ура-Тюбе мы проехали мимо гор. Я назвал их «подножьем Памира». Порогами поднимались они к юго-востоку, где толпа гигантов сторожила горные тропинки в Индию.

— Индия и Афганистан... — мечтательно вздохнул Михаил Степанович. — Персия, Китай... Страны великих возможностей... Если бы нам удалось получать оттуда регулярные сводки! Я занимаюсь в Метбюро прогнозом погоды. Эго я даю погоду на завтра. Но часто я иду, как слепой. Нужна полная метеокарта центрально-азиатского района. Вы представляете — телеграммы из Пенджаба, телеграммы из Гарма, из Мешеда, из Мазар-и-

Шерифа: тридцать и три, двадцать и пять, давление, средняя влажность, облачность!

Но говорить с Михаилом Степановичем мы могли очень мало. Когда машины останавливались, он соскакивал на землю, открывал ящик с приборами и бежал к радиатору, в поле, к постройкам. Он спешил измерить все: скорость ветра, давление, температуру, среднюю влажность воздуха. Мне запомнился Жуков в двух видах: стоящий под солнцем и наблюдающий за прибором, прикрыв глаза ладонью, и Жуков, бегущий за уходящей машиной и на ходу неумело прыгающий на подножку, держа в дрожащих руках футляры с приборами.

— Твое счастье! — кричал голос из кабины. — Когда-нибудь останешься в поле из-за своих коробок. Я машину задерживать не буду.

Но из кабины приходило новое испытание.

— Уберите чемодан, — говорил Ибрагим. Вот опять кругом в кабине метеорология. Во что приличную машину превратили: ведро некуда поставить.

Метеоролог лез в кабину и убирал приборы. Их было много. Наша машина действительно стала метеорологической станцией. Ежеминутно Жуков доставал то термометр, то анемометр. Одному с ними на ходу справиться трудно. Я держал футляры и записывал показания в книжечку. Ибрагим смотрел на меня с презрением.

— Тебе очень нужно давление воздуха? — говорил он — Ты спать без него не можешь? Запиши двадцать, ну, запиши двадцать, ну, не все ли тебе равно? — толкал он меня под локоть.

За Ура-Тюбе была у нас неважная дорога. Ямки и мосты, арыки, бугры желтый лессовый путь, как штопор, вился по глинистой земле. Здесь началась великая трагедия психометра. Желтый футляр с прибором бился в судорожной истерике у наших ног между ведром и домкратом. Нам некогда было поправлять

багаж. Он ходил по машине с грохотом и стоном. Метеоролог положил прибор за сиденье. Там он дрожал, как больной, подпрыгивая на мостах и ямках. Метеоролог обернул его запасными штанами и ватником. Но он еще бился о ящик, из-под ватника доносилось его лязганье. Я видел, как лицо Михаила Степановича краснело и бледнело от волнения, когда он разворачивал, открывал прибор и смотрел на него; прибор был еще цел: два ствола, две стеклянных трубки, колпачок. Жуков заводил пружину — она жужжала нормально раскручиваясь.

На одной остановке Жуков слез и подошёл к кабине, волнуясь.

— Товарищ водитель, у меня к вам большая просьба, — сказал он. — Перед большими буграми уменьшайте, пожалуйста, немного ход. Это психрометр Асмана. Таких точных и дорогих приборов, как этот, в Средней Азии только два. Вы понимаете — какая ценность! Я не знаю, что буду делать, если он разобьётся.

— Мы не будем место терять в колонне из-за него.

— Бели она дорогая, нужно ее было оставить. Для чего она вам? — добавил Ибрагим.

— Для определения влажности воздуха. Как же оставить? |Ц испугался метеоролог* — Вот, смотрите, два термометра, две трубки. Этот колпачок смачивается водой...

Наверняка разобьётся, — сказал Ибрагим.

И вот прибор стал у нас причиной странной борьбы. Сперва водители сдерживали немного тормоза перед буграми. Потом они возненавидели психрометр. Им казалось, что он тянет машину, он тащится, как огромная обуза, никому не нужная металлическая штука; это из-за нее машина теряет место, отстаёт, из-за нее кипит радиатор. «Опять с карбюратором что-то. Мотор в грязи. Все психрометры у нас, а пыль стереть некому!» злобно кричали водители. Они больше не придерживали тормоза. Метеоролог

просил хотя бы предупреждать его; чтобы не утруждать водителей, он установил сигнализацию; один гудок — неровность почвы, два гудка — большой бугор, три — яма. В такие моменты он будет на время брать прибор в руки.

Но машина пролетала молча, на всех скоростях, через бугры и кочки...

Ветер северо-восточного направления, напряжением в шесть с половиной баллов, гнал на автомобили непроницаемые тучи пыли. Они били в хвост колонны. Радиаторы кипели, и машины останавливались, повернувшись лицом к ветру; мимо пролетали остальные автомобили, гремя в тумане. Мы запаздывали в город. Наступал вечер. Из-за пыли не было видно дороги. Одна машина перевернулась. Мы шли дальше.

Вдруг передние машины остановились. Поперёк пути была протянута веревка. Полтораста всадников окружало колонну. Они были в халатах и тюбетейках. Они кричали по-узбекски, требуя остановить машины. Из тумана выплыли глиняные дома селения. Мы сошли с машин, и всадники повели нас к домам. Здесь, на улице, на коврах, у чайханы лежали горы винограда, дынь, плова, лепёшек. Нам несли самовары с чаем. Это было то, что больше всего сейчас требовалось. Смеясь, благодаря колхозников, мы глотали горячий чай, слушая, как оживает в нас притихшая было циркуляция крови. Потом пришел аппетит. Мы набросились на пищу. Через пятнадцать минут мы пошли по тропинке обратно и здесь у покинутых машин увидели метеоролога. Он стоял посреди дороги, и в его руках крутились шарики прибора. Он важигал спички, поспешно, одну за другой, пытаясь записать что-то в книжке. На земле лежали футляры.

— Почему же вы не идете есть? — крикнул ему Ибрагим.

— Это замечательно, это замечательно! — сказал ему метеоролог. — Сейчас любопытный ветер. Я хочу высчитать степень его влияния на машину.

Колонна выстроилась, и, наконец, мы поехали в темноте, расталкивая туман и пыль. Мы все поехали дальше тихо, во избежание аварий. Бугры и ямы ходили под колесами. Ибрагим включил свет в кабине — метеоролог отсутствовал.

Мы выглянули из кузова и здесь увидели: рядом с машиной мерным шагом бежал метеоролог, прижимая к себе футляр с психрометром Асмана.

— Ничего! — крикнул он нам. — Это я на время бугров. Сейчас они кончатся, и я опять вспрыгну.

— Гришка! Ты с ума сошел, Тришка! — закричал тогда Ибрагим, нагнувшись к кабине. — Сбавь скорость на буграх. Разве можно, такая тряска!

Михаил Степанович вскочил, и мы все прилегли за сиденьем. Стало холодно.

Мы закрылись от ветра одеялами, ватниками, брезентовыми ведрами. Город точно провалился; без конца мы ехали к нему через холодную ночную мглу. Под нами скрипели рессоры. Холод доставал нас сквозь щели тента.

На рассвете нас разбудил Гриша. Он остановил машину и заглянул в кузов.

— Вы с ума сошли! — закричал он. — Какой народ!

Мы увидели метеоролога. Он сидел в летней рубашке, засунув руки в рукава. Перед ним в ногах лежал футляр, завернутый в его кожаную тужурку и кусок брезента — все, что осталось свободным на машине.

Водитель стащил с себя ватные штаны и кинул Жукову. Потом он заставил его одеть тужурку. Мы встали. Ибрагим скинул

с себя ватник и, отняв у метеоролога футляр, стал пристраивать его на ложе из одеяла и ватников, в бочке из-под бензина.

— Профессор, — сказал утром Ибрагим, — расскажите мне о погоде. Очень меня давно интересуется метеорология.

— Я не профессор, сказал тогда метеоролог. — Вы ошибаетесь. Я сотрудник Метбюро. Кроме того, я создал одну бригаду. Это, видите ли, любопытная проблема — человек и гидрометеорологический режим. Что это значит? Это значит — человек и машина. Человек и пустыня. Человек и город. Посмотрите на город: какая трагедия метеорологических условий, но какое великое будущее!

— Посмотрите на город, — оказал нам метеоролог, и мы увидели города земли, где температура пока еще расправлялась с человеком по-своему.

Он рассказал нам о проблеме изменения температуры и климата. Мы увидели города, где можно улучшить климат, если делать правильные крыши и окна. Мы увидели автомобиль, который может ходить в Средней Азии и не раскаляться, с радиатором, который не кипит, с водителем, который в кабине не изнывает от духоты и жажды. Мы увидели пустыню, которую человек может переделать и в которой можно легче дышать.

Так у нас на машине появилось дитя. Мы пеленаем его в ватники и кладем на лучшее место — в бензиновую бочку.

Когда машина подбегает к бугорку, водитель придерживает тормоз. Утром Ибрагим строго напоминает метеорологу:

— Вы измерили влажность воздуха? Нате.

И подает ему футляр.

Когда Михаил Степанович раскручивает пружину прибора или смотрит на шкалу, мы стараемся говорить топотом.

Метеоролог достает прибор и, прилаживая к нему колпачок с водой, обычно говорит нам весело:



— Это называется доставить Асману клизмочку.

Машина ждет, пока он измеряет температуру в, поде и на дороге. Ибрагим рассказывает подъезжающим водителям, делая страшные глаза:

— У нас научно-техническая машина. Вы думаете, мы можем идти так просто, как все? Нет. Там у нас товарищ Асман едет, ай человек! Что же, такое дело у нас — научная работа... — вздыхает Ибрагим.

V. СПУТНИКИ

В Чарджуе «комиссия по грузу» начала проверять груз и все личные вещи участников пробега. Мы вытаскивали чемоданы, узлы, портфели, клали их на огромные весы. Каждый должен был оставить у себя не больше пяти кило, не считая одежды. Вообще оставлялся всякий груз, без которого можно было обойтись в дальнейшем пути.

Весь день, до глубокого вечера, ходила комиссия, разгружая машины.

Вице-командор Николай Иванович говорил с участниками пробега.

— Мы находимся, — говорил он, — в последнем железнодорожном пункте. Пойдут дальше верблюжьи тропы, пустыня и так далее. И вот есть еще время каждому подумать и поглядеть как следует внутрь себя: а готов ли я к этому пути? Если кто раздумает, пусть подойдет тихонько и скажет на ухо; получит плацкарту, краюху хлеба и так далее. Стесняться нечего. Люди бывают равных, так сказать, комплекций...

Но решительно никто не хотел оставаться. Наоборот: колонна росла все больше.

Всю ночь в автобазе работали учреждения, устроенные специально для колонны: магазины, амбулатория, почта,

ремонтный пункт, буфет. В четыре часа утра я пошел в телеграфное отделение.

На почте заспанный юноша быстро увязывал пакеты.

— А как бланки переводов? Взять ли с собой бланки?

Он ехал с нами на особой машине. Во дворе стоял специально оборудованный крытый автомобиль с большой вывеской: «Радиопочта. Туркмения — автопробегу». Это была почтово-телеграфная контора на колесах. Здесь была радиоустановка, антенны, конверты, марки, квитанции и даже собственный штемпель: «Почта-радио. Автопробег Москва — Кара-Кум — Москва». Квитанции с таким штампом — большая редкость. Это — единственная почта в пустыне. Как она отпирывала оттуда письма, — я хочу рассказать.

МАЛО СЛОВ

Однажды утром журналисты собрались у радиомашин и поделили между собою слова: корреспонденту «Правды» восемьдесят пять слов, тебе семьдесят слов, тебе шестьдесят. Они спорили, размахивали голыми загорелыми руками, дрались за каждое слово.

— Невозможно жить, — сказал заведующий «почтой на колесах», длинный волосатый парень. — Мы в ночь можем передать только шестьсот слов. Мерв нас с трудом ловит, и то не всегда. А тут ребята лезут на каждом колодце с телеграммами. Есть такие, что на каждом колодце суют по пять штук. «Скучаю, целую», а потом всякие ужасы, пески, жара. Поцелуй и ужасы, поцелуй и ужасы... Командор приказал частных не принимать, а телеграммы для газет строго ограничить...

Я тоже получил свою норму. Итак, теперь у меня такой паек: семьдесят слов, два литра воды в день, коробка фруктовых

консервов на три дня, коробка молочных консервов на два дня, галет на шесть дней.

Но это очень, очень мало. Воду я выпиваю всю к вечеру, к галетам я равнодушен, но без слов я совсем не знаю, что делать.

Я ложусь под машину в тень, разворачиваю бумагу пишу телеграмму: «Ленинград, редакция газеты...» пишу д и здесь начинаются сомнения. Как описать переход черев Сарыкамыш, что сделать с прошедшей авральной ночью куда девать колодец Дахлы, как их вместить в семьдесят слов, когда один адрес занимает уже восемь? Я проклиная редакцию, которая поселилась на такой длинной улице, что она занимает сразу два слова.

В это время гудят гудки машин — надо двигаться. Колонна разворачивается и уходит от колодца.

В самый полдень мы подходим к тяжелым пескам перед Чегьлом. Огромные барханы цвета яичного желтка лезут друг на друга. Машины сразу закапываются в песок и не хотят оттуда вылезать. Мы потеем, роем песок, страдаем, ругаемся, подталкиваем машину. Потом вдруг наша двадцатая прорывается вперед и уходит от колонны. Но здесь перед нами вырастает еще более высокий бар-, хан. У подножья песчаной горы мы видим машину с вывеской «Почта-радио». Она безнадежно, по уши, засела в песке и не двигается с места.

— Ага! — кричу я, подбегая к машине и открывая окошечко. — Вы отправили мою вчерашнюю телеграмму? Кстати, разрешите получить квитанцию.

Но в окошечке никого нет. В машине стоят пустые скамейки, аппараты, бочки.

— Какие тут квитанции! — говорит недовольный голос из-под автомобиля. — Нет ли у вас лишней лопаты? Мы вот никак не можем выбраться.



Легкомысленные юноши! Почтовики! Они не захватили с собой лопат! Они думают, что машина будет двигаться по беспроволочному телеграфу.

Несчастные парни! Вся колонна недоумевает: когда же они спят? Ночью они выстукивают телеграммы, днем голыми руками вытаскивают свой тяжелый тарантас.

Мы берем лопаты и бежим помогать радиомашине всей командой: я, контролер Гельман, резинщик Евстратов, Гриша Шебалов, Башеев...

Позже мы встречаем самолет. Он появляется вдруг на горизонте, отыскивает колонну автомобилей и тихо спускается на ровную солончаковую площадку.

— Пишите скорее письма. Через пять минут самолет уйдет!

Кто-то жмет летчикам руки, кто-то расспрашивает о московских новостях; сорок человек облепили крылья самолета и пишут письма. Наспех я описываю все: Сары-камыш и колодец Дахлы, заклеиваю конверт, сую в радиомашину. Заведующий почтой торжественно берет грудку собранных писем и, полуголый, в трусах, шествует по песку к аэроплану. Он передает почту летчику, киноаппараты снимают все это, самолет дрожит, как в лихорадке, потом срывается с места и улетает.

...Вечером у колодца тьма. Догорающие угли костров в темноте скалят зубы. Автомобили потушили фары и черной массой толпятся на конце огромной площади. Лишь одна машина в стороне освещена, и из нее летят ритмические звуки.

Я подхожу к радиомашине и берусь за ручку динамо, приводящую в действие радиоаппарат.

— Крути, крути...—устало говорит голос из окошечка. — Что-то не удастся связаться с Мервом. Вот просил инженеров — никак не могут устроить привод к моторам. Крути вот голыми руками. Сколько напишешь, столько сам и крути на свою голову...

В окошечке блестят наушники. Звезды зажглись над колодцами. Стоят машины. Спят водители, спят контролёры, спят инженеры, кинооператоры, доктора. Какая-то фигура бродит по солончаку и, как слепая, натывается на кустарники, ш

— Мне очень нехватает слов, — тоскливо говорит человек, неприметно возникший у радиомашин.

Я понимаю своего товарища. Мало слов. Я не смог написать о встрече с караваном, выехавшим из Казанджика приветствовать нас в пустыне, о том, как командор, в трусах и с перевязанным горлом, прощался с погонщиками каравана, и они салютовали из винтовок и как ветер уносил эхо в безжизненную даль. Мне не хватало места для истории шофера Гордеева, который три года работал на автомобиле в песках. Я не сказал, как ночью выли шакалы у колодца Узун-Кую, как мы посредине пустыни нашли палку с красным флажком и бутылку, закопанную под палкой, и письмо в бутылке с трогательным и теплым приветствием колонне, как люди пробирались в пустыню, чтобы передать это приветствие, как нам навстречу забрасывали бензин. Я еще не рассказал, как водители автомобилей изнывали в кабине от жары и испарений бензина, как холодно по утрам в песках и как трудно держать в руках руля автомобилей, как кричали в пустыне голоса машин и как они отдавались и перекликались в песчаных холмах и на далеких каменных уступах...

ТЕНЬ ИНЖЕНЕРА ПАНЮКИНА

История необыкновенных походов Сени Панюкина будет понятней, если заглянуть в папку секретаря комитета автопробега Москва — Кара-Кум — Москва, в папку, которая содержит в себе многочисленные заявки и просьбы на участие в пробеге. Перед пробегом эта папка пухла по часам. В нее летели заявления из

Коломны и Ленинграда, из Винницы и с острова Сахалина. Старые и молодые люди писали просьбы и предложения, и проекты. Все хотели ехать, независимо от своих сил и возраста. Говорят, что Панюкин, молодой инженер, который назван здесь вымышленной фамилией, фигурировал в папке секретаря ораву в нескольких вариантах. Он предлагал себя пробегу в качестве контролера, специалиста экспедиционного повара и фотографа. Он выступал с бумажками от имени местной секции Автодора, от Латышского клуба и от редакции журнала «Охотник». Его упорство оправдывается его горячим и бескорыстным желанием во что бы то ни стало увидеть своими глазами Кара-Кумы. Если бы он был на восемь лет моложе, он удрал бы от родителей и побежал за колонной пешком. Но здесь случилось иначе.

Влив города Горького в колонне был обнаружен «заяц». Молодой, застенчивый человек в очках и с длинной шевелюрой, зачесанной вверх, сидел в автомобиле и близоруко смотрел по сторонам. Когда его спросили, какую функцию он выполняет в пробеге, он скромно назвал себя «представителем». Это удовлетворило его соседей, и этого хватило доследующей остановки колонны. Но нельзя непрерывно сидеть в автомобиле, и, когда различные участники пробега поинтересовались подробностями, он погубил себя универсальностью. С точки зрения искусства самозванства он совершил необдуманый, незрелый шаг. Одному он назвал себя представителем Автодора, другому контролером, по третьей же версии он оказался механиком по ремонту. В Горьком контролера, механика и представителя Автодора позвали к командору.

— В Москве накануне старта я вам последний раз отказал в месте, — вежливо, но убедительно сказал командор.

— А я поехал, — ограничился Панюкин скромным констатированием факта и покраснел.

— Прощайте, — сказал командор.

И они разошлись в разные стороны. Но в Казани им пришлось опять встретиться. На одной из машин был обнаружен человек, который называл себя чуть ли не вице-командором, хотя эта вакансия была занята уже с избытком: в колонне было три вице-командора.

— Вы на свои деньги вернетесь в Москву, — спросил командор Панюкина, — или вам дать на билет с плацкартой?

— У меня нет денег. Вот все, что у меня есть.

Панюкин показал узел, сделанный из двух носовых платков и заключающий в себе книгу, кружку и рубашку.

Нужно ли говорить, что в Чебоксарах и в Самаре, и в Оренбурге эта история повторялась почти дословно? В Чебоксарах Панюкину удалось получить у завхоза комбинезон, ватник, котелок и синие очки. Он одел их с гордостью, точно рыцарь, наряжающийся в кольчугу и панцирь. Он стал уже своим человеком в колонне и перестал стесняться. Он лазил под автомобили, мазал себя машинным маслом и с особенным удовольствием давал населению сел и городов объяснения по поводу колонны.

— Это импортные машины, это вот наши опытные трехоски, — говорил он, — а вот гордость нашей колонны — шина «сверхбаллон». Смотрите, какая она толстая.

Население смотрело на Панюкина с большим восхищением, чем на толстую шину. .

-Сеня был доволен.

Все дело в том, что в колонне было двадцать три автомобиля, в которых сидело сто человек, и это было вроде небольшого леса, в котором легко мог спрятаться Сеня Панюкин. То ли забыли о нем сообщить всем ста человекам, то ли были какие-то другие неувязки на ходу, но во всяком случае скоро к Сене Панюкину все

привыкли, как привыкли к проселочной дороге, к сигнальным гудкам, к доктору Нечаеву, к обгорелому на солнце носу вице-командора Катужкина. Как-то так случилось, что Сене стали даже поручать дежурства по колонне, по охране и по хозяйству. Сеня цвел. Он выполнял свои обязанности строже, чем все остальные дежурные. Лихо резал колбасу, сурово будил по утрам каракумцев и делал им жесткие и внушительные выговоры. Однажды вице-командора вдруг посетили какие-то неясные воспоминания касательно Сени: он спросил его, что он собственно делает в колонне.

— Я? Я? — изумился Панюкин. — Я заведу оформлением колонны.

Здесь же вдруг оказалось, что в колонне присутствует еще один заведующий оформлением, но так как тот тоже сказался «зайцем», то его немедленно и с позором выгнали. Оформление осталось за Сеней, и, чтобы как-нибудь проявить эту непонятную функцию, Сеня начал рисовать плакаты с лозунгами и развешивать их на автомобилях. Плакаты были отменно плохие, всем надоели, и все были довольны, когда Сеня незаметно свел вывешивание их на-нет.

В Оренбурге судьба резко повернулась спиной к Панюкину. Командор поймал Панюкина и строго спросил: Вы еще здесь? Зачем вы едете?

— Как так? — удивился было Сеня. — Я агитпропработник и заведу... — Но вдруг все вспомнил и замолчал.

Положение с грузом в колонне очень тяжелое. Мы списываем с пробега ряд участников, — сказал командор. — Вы тоже немедленно отправитесь обратно.

— Я хочу ехать в пустыню, — ответил Сеня.

До самого Ташкента молодой человек в очках и с шевелюрой вращался вокруг колонны, как некая туманность, как спутник

планеты. В городах он первый встречал колонну, стоя среди толпы, у арки, в комбинезоне, с воодушевлением размахивая фуражкой, с узелком, с книгой и кружкой. При стартах по колонне отдавался приказ осмотреть все машины — нет ли где-нибудь Сени Панюкина. Колонна бежала от него в ужасе, все-таки зная, что он опять обнаружится среди каракумцев. В Актюбинске он еще раз получил деньги на железнодорожный билет до Москвы, и, когда колонна покидала город, один из трех вице-командоров отвел Сению за руку в противоположную сторону и, дав сигнал колонне трогаться, вскочил в свою машину и умчался. Колонна ушла на Ташкент. Сеня сел на поезд и поехал в Ташкент. Свидание командора с Панюкиным в Ташкенте кончилось так:

— Если вы еще раз покажетесь в колонне, вы будете арестованы. Соответствующие органы предупреждены о вас.

— Я...

— Если вы еще раз придете упрашивать меня, вы будете также арестованы. Теперь нам будет не до шуток. Прощайте.

Где-то до Чарджуя было получено письмо от среднеазиатского филиала комитета пробега, в котором сообщалось, что некий молодой человек угрожает покончить жизнь самоубийством, если его не возьмут в колонну. Он худеет на глазах членов комитета, он мучает всех. Нельзя ли помочь ему и комитету? Командор ответил телеграммой, которая была кратка и сурова...

Все это я вспомнил для того, чтобы показать небольшой сколок энтузиазма, окружавшего колонну. В нем есть смешное и трогательное. Тут ничего не преувеличено. Я не бросаю камень в Сению Панюкина и даже жалею, что мы вошли без него в пустыню. Я ходил между рыжих холмов, окружающих колодец Дахлы, в середине пусть ни, и вспоминал роговые очки Панюкина. Он был энергичен и работоспособен. Такие люди нужны там, где природа

упряма, зла и сопротивляется человеку. Мы с товарищами погружали свои сапоги в песок, поднимались на песчаные сопки, опускались в молчаливые кратеры. И вдруг мы вздрогнули: перед нами появились черные очки Сени Панюкина и сам Сеня, с узелком и шевелюрой, с загорелым лицом и широчайшей улыбкой.

— Послушайте, Сеня, — произнес один из нас, — если вы тень инженера Панюкина, тогда вы, конечно, ничего не весите, и вас возьмут поэтому в колонну. Но если вы не тень, тогда мы ничего не понимаем.

— Я не тень!.. Я... приехал... в автомобиле уполномоченного Туркменсовнаркома... Навстречу вам! — захлебываясь и сияя, кричал Панюкин. — Я не тень. Шесть дней ехали... Нас десять человек... Я организовал встречу... Инженер Амелин... Автомобиль... Красноводск...

И он убежал за машиной, крикнув напоследок:

— Командор ничего не скажет. Все равно меня здесь некому арестовать.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ГЛАВА

13-го июля мы закончили пересечение пустыни и приехали в Красноводск.

Утром я вышел на улицу. На мостовой шел отряд пионеров. Впереди шатал барабанщик. В окне сидела собака и зевала. На углу чистильщик сапог пел песню. Росло дерево.

— Все кончено, — сказал я. — Пустыни больше нет.

Я еще раз ощупал себя и посмотрел по сторонам: нет ли барханов под ногами? Может быть, нужно будет лезть в кузов за лопатой? Из-за угла выехал грузовик. Мне захотелось добежать за ним, чтобы подтолкнуть сзади. Но в грузовике ехали рабочие-

тюрки; они спокойно сидели на мешках с хлопком, свесив босые ноги. Грузовик быстро промчался в переулочек и скрылся в пыли.

Я перешел улицу и зашагал к порту. Замечательный мир открывается передо мной — мир, в котором есть мостовые, собаки, пыль и музыка! Мальчишки гоняются за кошкой, железнодорожники идут на станцию, в порту режут пароходы, женщина кушает помидор — лучшая из женщин, толстая, как баобаб, с улыбкой, как солнце. Это был прекраснейший из городов—маленький Красноводск. Он похож на стакан воды, первый стакан воды после жажды. Стоит город, слышен шум, ходят люди.

Значит, все кончено. Кончились барханы, солончаки, кончились консервы, водная комиссия, колодцы. Это удивительно — я мог идти по дороге, не отыскивая следа. Я мог купить газету, мог зайти в музей, выпить лимонаду, искупаться в море. Я выбрал музей. Пройдя через площадь, я остановился перед домиком с колоннами. Это был музей памяти двадцати шести бакинских комиссаров. В него вела низенькая дверь, свежевыкрашенная белой краской; она пахла маслом.

Я толкнул дверь и вошел в переднюю.

На скамеечке сидела девушка.

— Вы хотите осмотреть музей? — сказала она. — Нужно начинать вот с этой комнаты. Вот газеты и воззвания того времени. Вот снимок Баку...

Я прошел комнату и вошел в следующую. Бакинские комиссары взглянули на меня со стен. Степан Шаумян, Джапаридзе, Арсен Амирян; их строгие лица были обрамлены трауром. Это было пятнадцать лет назад. Бакинских коммунаров привезли в этот городок. Ночью в Красноводске совещались англичане с эсерами, ночью повезли коммунаров в пески,

высадили за станцией Перевал и повели в пески расстреливать. Пески были холодны, шли туманы...

— Вот очки, — показала девушка. — Их недавно нашла на том месте одна экскурсия. Они принадлежали одному из комиссаров, — он обронил их при расстреле.

Она показала ржавые очки в футляре.

Я вышел. Город был великолепен. Целый день проходил я в порту и по улицам. На пристани ребята кидали в воду камни и ныряли за ними. Вода была прозрачна до дна. На дне лежали кошмы, какие-то штаны, бревна.

Городу недоставало деревьев. В июне, должно быть, скалы накаляются; они дышат на город, и он беззащитен.

В сквере на центральной площади, точно в гостиной, росли развесистые деревья. Я всмотрелся в пышные ветки и узнал их: действительно, это был сакса уж, дерево из Кара-Кум, единственной в мире его родины. Под саксаулом сидели мужчины и читали газеты. Знали-ли они, какое это замечательное и страшное дерево? Там, в пустыне, им" устилают дорогу, но оно дьявольски рвет покрывки.

Во дворе нашей базы я застал оживление и суету. Каждый занимался своими делами. Чистили брюки. В будочке покупали нарван и ситро. В кладовой получали чемоданы. Шли на телеграф. Каспаров брился, Гриша Шебалов одел галстук и теперь на крыльчке писал письмо в Москву. Цинзерлинг забирал из машины вещи, чтобы уехать в Ташкент. Мне захотелось повидать нашу двадцатую машину. Я разыскал ее в шеренге автомобилей. Она стояла, тихая и спокойная, под навесом. Я вспомнил, как мы ехали на ней через Сарыкамыш, стоя на крыльях и прислушиваясь к стуку ее мотора. Мне захотелось погладить ее, как лошадь, — погладить и похлопать по спине. Ее трудно было сейчас узнать — на колесах не было песка, сбоку не висели доски и канаты, из

кузовов исчезли лом, бочки, лопаты. Как хорошо пустыни нет! Что же дальше?

— Что же дальше? — спросил я Гришу и хотел заплакать, но раздумал и пошел за лимонадом.

В домике столовой заиграла музыка. Она играла военный марш. Там начинался банкет. Люди входили в домик. Трубач давил на щеке комаров и крутил трубою. Стояли ряды столов. Двор понемногу пустел. Музыка сыграла что-то из оперы «Кармен». За окном почернело. В домике зажегся свет, пробежал распорядитель. Теперь все были в сборе, и музыка заиграла туш.

— Товарищи!.. — сказал председатель райисполкома, и стал слышен стук ножей и вилок.

Ножи и вилки мы видели всего лишь семь дней назад по ту сторону пустыни. Теперь они опять легли комфортабельными шеренгами. Почти те же бокалы и салфетки, виноград и даже те же тарелки с надписью «за общественное питание», и те же лица за ©толом.

Вице-командор Катушкин стоял и говорил что-то, блестя золотыми зубами. Он продолжал, кажется, ту же речь, которую начал еще в Казани. Ему хлопали. Стоял шум, и ничего не было слышно.

Начали качать Эхта. Потом качали Катушкина. Он сиял в воздухе, как воздушный шар.

Инженеры были в свежих воротничках. У другого конца стола Аркаша Швасберг собирался танцевать лезгинку. Передо мной сидел Шебалов и откупоривал бутылку. Опять начинался марш.

В сторонке, у окна, я увидел шофера Сурина и вспомнил разговор у костра, ночью, возле колодцев Чегыл. Это был скромный парень, вечно державшийся в стороне, у своей машины; одет он был в трусы, гимнастерку и в мягкую войлочную шляпу. В таком виде он вошел в колонну.

В колонне водитель Сурин занимал не совсем обычное место.

Машина его шла сзади всех. Был то старый автомобиль, не входивший в состав пробегая. Автомобиль принадлежал ашхабадскому гаражу серного завода, серный же завод стоял в центре пустыни, а Ашхабад — на другом ее конце, и какими путями машина пришла в Хорезмский оазис, неизвестно. Командор согласился взять с собою машину до Красноводска; она радостно загудела своими сигналами и пошла.

Это был скрипящий выцветший грузовик, закоптелый и черный, как тендер паровоза. На боках его была нарисована цифра «26» — номер его гаража. С этой цифрой он совершал свои рейсы, где-то там, к центру песков.

Он отставал. Все время колонна боялась его потерять. То у него лопались покрышки, то засорялся карбюратор, то в радиаторе кипела вода, то случалось что-то неизвестное, отчего он стоял и не двигался с места. Тогда Сурин открывал капот и терпеливо лез в мотор и под мотор, и под кузов. Колонна шла вперед, и Сурин оставался один в пустыне.

Тогда с его машины сняли часть груза и послали вперед. Но грузовик не желал идти спереди. Мы пролетели мимо «серного форда», — он всегда стоял в стороне. С него были сняты баллоны, болты, гайки, и бензинопроводы лежали на песке.

— Опять фордишко зацепился? Не обронил ли мотор по дороге? — кричали водители, проезжая мимо и придерживая тормоза, чтобы высказаться. — Цепляйся, парень, дереву!

Сурин высовывал из-под машины голову, мокрую от масла и пота, и одобрительно смотрел на пролетавшие сверхбаллоны и трехоски.

На стоянки он приезжал после всех, когда костры догорали, бензобаки были заправлены, а суп был сварен и съеден. Рассказы подходили к концу, месяц поднимался и снова опускался. Тогда

приезжал Сурин. Он ставил свой «форд» в сторонке, очевидно из уважения к трехоскам; он вытирал шляпой пот со лба и лез в мотор и под кузов. Потом он вынимал сумку и доставал из нее сухую лепешку. У колодцев Чегыл к нему подошли два водителя. Колонна спала. Это было под утро. Мне помнится бледный и холодный рассвет, начинавшийся в тот час за песками. Перед колодцами Чегыл лежал холм — братская могила красноармейцев. Ветер стремительно сметал с ее гребня песок и нес в пространство. Далеко в бледной пустыне стоял куст; он казался всадником, монахом, согбенным человеком, идущим неизвестно куда.

— Ты извини за своего «форда», товарищ, — сказал водитель. — Ты извини, но идет по-свински. Нужно б тебе что-то придумать, парень...

Сурин извиняюще улыбнулся и подвинулся у костра. Он уважал хорошие марки машин и хороших шоферов.

— Конечно, — указал он, — старый «форд» не трехоска. Вот трехоска, да, хорошая машина. А потом мне бы баллон: у меня все покрышки изорвались, далеко не пойдешь. Вот была у меня машина «ЯЗ-5». Это была машина! Нет ее...

Он вздохнул и посмотрел на уголья. Там шипели и метались искры, какие-то дьяволы сталкивались друг с другом и улетали к небу.

— Что же покрышка? Покрышка — нежный предмет. Он как штиблет, когда в городе. Здесь же, при чрезвычайных обстоятельствах, обувь не соблюдаешь. А тебе не приходилось так идти, на спущенных, вообще на диске, без воздуха? Вот тогда ты шофер. А?

— На спущенных покрышках? — Сурин посмотрел на шофера. — Был у меня случай, знаешь ли, один.

Тогда он рассказал случай из своей жизни. Простой случай, происшедший в глубине пустыни, на трассе Ашхабад— Серные холмы.

Вот история шофера Сурина. Демобилизованным красноармейцем он пришел в ашхабадский гараж серного завода. Ему дали пятитонку «ЯЗ-5», посадили за руль и послали в пустыню. В пустыне он проработал ровным счетом два года, вывозя серу из центра Кара-Кум к железной дороге. Два года он видел пустынные ночи, костры, серные холмы Чеммерли, колодцы Вохурдок, Иербент, чеммерлийскую радиостанцию, два года он подбрасывал саксаул под колесей, спал на кошме, пил чай из кундюка. Я говорю — ночи, потому что он, как многие водители в песках, предпочитал ходить ночью, когда нет жары, когда «силы велики, звезды высоки, вода недорого, а песок крепче». У Сурина были товарищи: помощник шофера Хвостиков, — это был такой же скромный человек, как и шофер, — и их работяга «ЯЗ-5». Триумвират этот спаялся на серной трассе. Он освящен был бивачными кострами и звездным небом. Вместе они страдали на барханах, вместе спешили к Ашхабаду, и, когда выходили на фашинную трассу, старый «ЯЗ-5» радовался вместе с шоферами и рычал, как победитель.

Можно привыкнуть к пескам, как к табаку. Можно любить автомобиль на бархане и Большую Медведицу, нависшую над двенадцатью срубами колодцев Иербент, а голые пески, и моменты, когда колеса пробиваются через необыкновенные леса, где ветки и тени напоминают олени рога и водоросли. Мне не известно, нравилось ли Сурину и Хвостикову именно это, что здесь описано. Они не философы, а шоферы, и «песчаная работа» в жизни труднее, чем кажется. Когда Сурину и Хвостикову говорили: «сыпьте на заводе, они садились за руль и ехали, и

каждая поездка была, как большой бой, который продолжался от четырех до десяти суток. До бугров шла «фашинизированная трасса», начиненная хворостом, но это был миф, разрушавшийся под колесами; в глубине пустыни фашины ломались, утопали в песке, и там начинались сыпучие барханы.

Однажды они несколько дней тащили «ЯЗ-5» на руках, и по радио из Чеммерли все время говорили, что их все нет, а из Ашхабада спрашивали, куда же они делись. А в это время посреди пустыни два полуголых человека подталкивали автомобиль, который посерел от беспомощности и стыда.

— Ничего, — кричал веселый помощник Хвостиков, — ничего, что мы не пили второй день. Зато уж в Ашхабаде дадим отпойную. Полведра чистой за нами! — Он хитро подмигивал, и всем становилось весело.

Однажды они заблудились, потеряли дорогу, кружили всю ночь, а утром оказались на дороге.

— Так и следовало ждать, — сказал Хвостиков. — Я сказал, что «ЯЗ» выведет. Он дорогу нюхом чувствует. Эту машину вместо собаки можно поставить дом сторожить.

Однажды они ехали на серный завод. На день остановились в Иербенте, чтобы к вечеру выехать дальше. С ними ехал уполномоченный Союзсеры — товарищ Шишкин. Было то в очень беспокойном году, когда в пустыне, кроме рева моторов, частенько гремели и выстрелы. Несколько машин было сожжено басмачами, а их шоферы остались в пустыне навсегда.

— Ерунда, ничего не слышать что-то уже сколько времени, — сказали шоферы и залили в баки бензин.

С закатом они выехали с такыра. Необъятная плоскость с мачтой и дымками осталась сзади. Машина вошла в кусты, пошла подниматься на холмы. Сурин зажег фары.

— Дай-ка я сменю тебя, — сказал Миша, — а ты поспи в кузове.

— Ничего, ты сам вчера не спал. Иди поспи, потом позову.

Помощник стал на подножку и закурил; уполномоченный сел рядом с Суриным.

— Вот какая пустыня — кусты, — сказал он. — Мы скоро по боку эти кусты. Довольно поездили. Ты, Миш, что будешь делать, когда с серной трассы уйдешь? Н в гараж пойду.

Помощник подумал.

— Я? А я тоже в гараж. Примуса починять. Квартиру найму. Ты будешь приходить, а я патефон заведу. Галстук одену. Жизнь!

Он сплюнул папироску в сторону, посмотрел на бегущий песок, зевнул и полез в кузов. Через десять мину? Сурин взглянул в окно кабины и вдруг увидел: из-за длинного бархана справа, ровной цепочкой, вдоль всей гряды поднялись черные шапки.

Одни лишь шапки... Они двигались в каких-нибудь пятнадцати шагах — провожали автомобиль. У Сурина похолодели ноги. Он моментально погасил фары и переключил скорость. Он чувствовал твердое подбрасывание пола — под колесами были фашины. Нужно, чтобы их хватило километра на три, — тогда машина уйдет. Теперь, без света фар, было видно, что цепь людей лежала за барханом и целилась из винтовок в автомобиль. Первый выстрел попал в окно кабины, разбил стекло и ударился в стену. Потом стали стрелять очередью.

— Мишка! — обернулся на миг Сурин. — Ты не спишь? Вставай, Мишка! Мишка! — И дал газ. Машина теперь звенела и дрожала от предельной скорости.

Тогда стали стрелять в колеса. Они стреляли, целясь по очереди, так как автомобиль шел вдоль цепи. Но шофер чувствовал — все покрышки целы, машина держит ровно. Она



оставляла позади себя цепь шапок, и спереди их осталось всего четыре.

— Ну, «ЯЗ», — сказал Сурин, — ну, выноси, ну!

Три шапки осталось. Две. И вот последний человек в цепи прицелился, выстрелил. Передняя крышка прорвалась; тот выстрелил еще раз, и Сурин почувствовал, что обе крышки спустились и машина села на правый бок. Но она продолжала идти, рвать фашину, скакать без крышек, на дисках; потом вдруг сошла с фашин, села в песок и зарылась.

— Мишка! Мишка! — крикнул Сурин и открыл первую дверцу.

Справа бежали басмачи. Сурин-соскочил налево, за ним побежал Шишкин.

— Должно быть, Миша соскочил раньше, — сказал Сурин, прыгая в кусты. — А может, он там еще?

Потом вдруг подумал по-шоферски: «не выключил мотор», но вспомнил, что — глупость.

Цепляясь за кусты и проваливаясь в песок, они отбежали сажен за сто и сели отдышаться. Пригнувшись, они чувствовали запах холодного песка. Теперь здесь было тихо, дорога скрылась в темноте за буграми, черные тени кустов стояли вокруг них толпой, как люди, остановившиеся прислушаться.

Там, в стороне дороги, загремели какие-то тяжелые удары, еще продолжались выстрелы, доносились человеческие голоса; люди, пришедшие из ночи пустыни, овладели железной машиной — советским пятитонным «ЯЗ-5». Потом голоса стихли.

— Они идут сюда, — сказал уполномоченный Сурину, и они снова побежали.

Далеко уходить нельзя — можно потеряться в холмах, день застанет без воды и без пищи. Спереди же дорога и басмачи...

Опять послышались удары, и потом огромное варево засветило небо над песками.

Всю ночь до утра Сурин и уполномоченный проходили по барханам, боясь выйти на дорогу. А утром в стороне, на дороге, зарычал грузовик. И когда новый огромный автомобиль победно вылетел из-за бархана, и пассажиры машины увидели двух человек перед радиатором и стали их спрашивать, те не могли произнести ни слова. Их отпоили водой, и тогда они рассказали о ночи.

Проехав полкилометра, они увидели на песке груды металла и досок. Изуродованная и почерневшая пятитонка «ЯЗ-5» лежала молчаливо, как труп. Передние колеса зарылись в песок. Тормоза были опущены, и мотор еще тепл.

«ЯЗ-5» работал до последней минуты; как боец, как автомобиль, он все хотел преодолеть песчаный вал.

Миша Хвостиков лежал тут же, в двух шагах, с простреленным черепом. Помощник шофера был мертв, как и все мертвые люди, и ему больше не нужен был патефон. Его положили в кузов и прикрыли шинелью. Сурин посмотрел на помощника, на «ЯЗ-5» и отвернулся. Он остался без Миши и без машины, один.

В Ашхабад он приехал и пошел в больницу. Его положили в нервное отделение. Там было скучно. Он вернулся на работу; ему дали новую машину. Но он не мог больше ездить ночью. За Иербентом нужно в одном месте проезжать мимо разрушенной пятитонки «ЯЗ-5», лежащей при дороге. Каждый рейс, по два раза — это слишком много для человека. Проездив еще полгода, Сурин ушел с линии и перешел в ашхабадский гараж...

Любит ли человек дни, отмеченные барханами, звездами пустыни, неудержимыми автомобилями, подминающими пустыню под колеса? Сурин жил в городе, в гараже, в комнате, и, когда к нему приходила пустыня, он относился к ней просто, как человек, отдавший ей свою дань.

Когда же автопробег приблизился к берегам каракумских песков, чтобы еще раз победить их, Сурин не выдержал и помчался в Хорезм. Вот вся история шофера Сурина, ведущего последнюю машину в нашей колонне.

Вечер еще продолжался долго. Оркестр долго играл, котом устал, и трубы свалились изнеможенные. Над белыми скатертями, пронзая папиросный дым, еще горело электрическое варевое. В окна заглянул ветер и ушел обратно, в красноводскую ночь. Потом спели песню, и еще пели песни, какие-то незатейливые, обыкновенные песни. Шоферы и инженеры размахивали в такт руками, затагивались папиросками и снова пели об Украине и любви, слова простые, как земля и небо.

Потом где-то раздвинули стулья, чтобы начать танец Шамиля, потом кто-то из водителей произнес тост. Он говорил о победе и победителях и напомнил о сотнях километров, оставшихся впереди. Но, глядя на лица товарищей, все поняли, что время бежало; мы сидели на последнем полустанке, на котором люди увязывают чемоданы, чтобы разойтись. Завтра Жуков и Богданович уедут в Ташкент, профессор Цинзерлинг вернется для обследования староречий Аму-Дарьи, ботаник Гранитов вернется к ботаническому саду, шофер Сурин отправится с машиной в ашхабадский гараж. Перед нами же ляжет путь в Москву.

Потом кто-то поднялся и сказал два слова о тех, кто открывал каракумские тропы.

— ...кто остался там, — и он показал на стену позади себя, и все вспоминали скалы, с которых мы вчера спустились, и подъем Сары-Баба, и колодцы Чегыл, и могилы у Дахлы, и многое другое, о чем обычно не говорится в очерках. И о тех, кто сегодня и ежедневно открывает эти тропы.

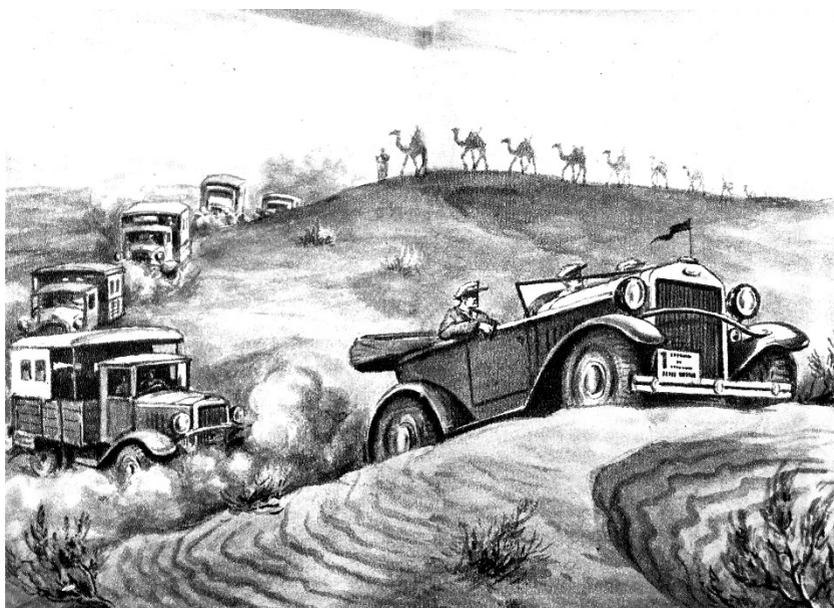


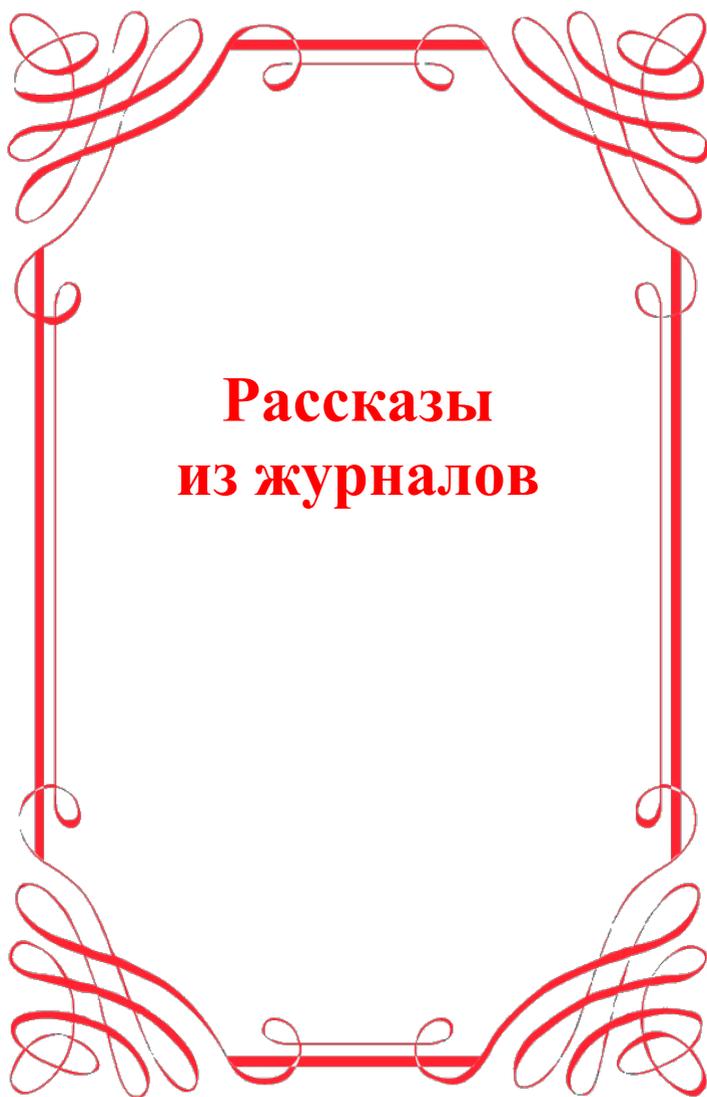
Тогда все встали, и музыка заиграла марш траурный, потом бодрый, потом все пели «Интернационал», который вылетал в окно, как прибой. Шоферы стояли и пели «Интернационал», и среди них стоял Сурин в трусах и сапогах и смущенно прижимал к себе войлочную шляпу.

Я вышел во двор и вдруг увидел огромную стену, стоявшую за домами. Это были скалы. Вверху же сверкала Большая Медведица, нависшая одновременно над двенадцатью срубами колодцев Иербент и над морем, над городом, стоящим у самого

краешка азиатского материка, и над скалами, за которыми лежит огромная пустыня. Там, где-то, за тысячу километров, лежал сейчас сожженный «ЯЗ-5». Здесь, в маленьком домике с освещенными окнами у подножья скалы, пели «Интернационал» шоферы, только что пересекшие пустыню. Еще в окно виден был Сурин: он сидел за столом, держа руками тарелку, как руль, и войлочной шляпой вытирал смущенное лицо.

В ночи где-то продолжался еще рев машины, пробивающейся через пески, продолжался автопробег, и падали еще очки с лица бакинского комиссара, и где-то за Иргизом шла экспедиция Чанова и Тихомирова по изучению казахского аула, и тысячи людей на огромном материке, лежащем за нашей спиной, поворачивали по-новому старую Азию.





**Рассказы
из журналов**

Серахская тропа



Мне кажется, что картины пустыни поражают убийственной простотой. Действительно, есть страшные чувства в жизни путешественников; тут не о чем говорить, и путешественники смущенно разводят руками. Никто не скажет, что думалось Козлову, когда он нашел, наконец, в великой Гоби мертвый город Хара-Хото. Был город. В ворота города въезжали люди на базар, и на воротах сидели босые тангутские ребятишки, швыряя в ослов камнями. Город умер. Через полтысячи лет, как бы на следующее утро, в ворота въехал путешественник и, рассеянно посмотрев на развалины, начал выкапывать кувшины и статуэтки Будды.

Так Амундсен, всю жизнь пробиваясь к полюсу, увидев, наконец, его, сказал растерянно:

«Вот и приехали».

Внизу лежали ледяные поля, лежал снег, под ним находилась невидимая точка, вокруг которой, просто, как огромный шар, поворачивалась земля! — оказал один ученый. Оно виднее всего в пустынях—здесь жизнь смахнула с огромной скатерти хаос вещей, оставив немногие, которые наглядны и прозрачны, как стекло. Истории больших городов не чувствуется в водовороте окружающих гигантов. В Кара-Кумах есть колодец Орта-Кую. Он знаменит по древним походам персов. Около него в прошлом столетии происходили известные бои русских солдат с хивинцами. «Колодец» в пустыне звучит так же, как слово «город». Он географический и исторический пункт. Красноармейский отряд,

приезжая к нему, видит ту же самую глиняную площадку и кривой сруб колодца; именно в него когда-то залезли солдаты, обезумевшие от жажды, несшие через пустыни свой тяжелый солдатский крест, взваленный на плечи генералами...

О серахсской тропе я много слышал еще в Ашхабаде. Говорили, что ею интересуется председатель совнаркома; нельзя ли ее восстановить. Это древняя тропа, она проходит удобными местами, ее трассу выработала практика столетий. Когда-то она соединяла огромный город Серахс с Хорезмским оазисом, и именно она была частью торгового пути в Индию, через Афганистан и землю беллуджей. Века назад по ней проходили войска Мамедин-Хана.

Уже третью неделю мы скакали по пескам; мы останавливались у колодцев, делали петли, занимались своими делами и понемногу углубляясь на восток, в районы, мало известные и нынче совершенно заброшенные. Мы отделились от ашхабадской дороги и других больших троп. Мы шли поперек движения народов; все транзитные пути через Кара- Кумы идут с севера на юг. Поэтому мы отмечали пройденное большими тропами, как условными рубежами.

— Скоро будет серахсская тропа, | сказал мне начальник. — Мы пересечете ее сегодня или завтра.

Я ехал рядом с проводником и разговаривал с ним об его искусстве. Меня интересовала судьба здешних путей. За несколько лет отсюда ушли последние кочевники, тропы зарастают травой и засыпаются песком, старики умирают, неужели скор никто не сможет здесь отыскать дорогу? Мы сами уже не раз блуждали, теряя нити следов.

— Однажды молодая девушка попала в пески, — сказал проводник, — спуталась с дороги и испугалась. «Здесь никого нет, никто не ходит», — заплакала она. Тогда перед ней появился один

святой, покровитель караванов. «Сядь у куста, — сказал он, — нагнись и смотри на песок, только не двигайся. Ты увидишь, как идут люди». Она села и действительно увидела все караваны, прошедшие здесь. Они шли и шли. Девушка заметила, как песок раздавался в сторону под копытами, и почувствовала мелькание тысяч и тысяч ног... Ты говоришь—никто не ходит. Зачем нет? Другой раз кто-нибудь и пройдет.



— Серахсская тропа, — кинул здесь мне начальник, обернувшись, привстав на стремяна и показывая назад плеткой.

Мы ее пересекли. Я оглянулся. Мы только что спустились гуськом с холма, собираясь подняться на следующий холм. Справа из кустов выбегала тропинка и, пересекая ложбинку, опять терялась слева, в кустах. Я повернул коня и отстал от отряда. Тропинка, выбитая в песке, бежала под ногами, бежала куда-то, не обращая внимания на меня. Знаменитый рубеж! Так ждешь впервые края моря, и он в действительности есть, этот край, но такой же, как и край всякой воды.

Мне вспомнились скалы и гроты, в которых слабые капли, падая друг за другом, выбивают в течение времени отверстия в тяжелых камнях. Так муравьи в великом своем движении выбивают тропинки на лугах—огромных для них пустынях. Как хотите, это прекрасная легенда о девушке; как велик труд, будни человеческих поколений, что выбивают тропы, которые не сотрутся, пробивают скалы, утаптывают пески; что, по сравнению с ними, войны и дела отдельных людей! Я приехал немного за

кусты, по тропе, которая протоптана в течение многих столетий. Мне даже показалось, что я вижу мелькание ног и слышу звон каравана. Нет, это куст, сухие звенящие цветы. Хлестнул куст; сухие коробочки, как всегда, зазвенели и побежали по песку, подгоняемые ветерком. Это растение «Смирнова Туркестана».

Я повернул коня. Тропа бежала дальше на песчаный холм и дальше. Она была шириной в две ступни и отличалась от окружающего песка тем, что была выбита и на ней не росла трава, и все это было вообще так просто, что мне даже не о чем рассказывать.



Черкез

Вот история жизни молодого джигита Черкеза Такула из племени багаджа. Как и тысячи других кумли, родился он в кибитке, на кошме, и ему дали имя Черкез — так называется одно небольшое и красивое деревце пустыни. Другие маленькие туркмены, его сверстники, назывались Кандым — тоже деревце, Елбарс — тигр, Сюиджи — сладкий, и был даже один, которого звали Курра, что значит — осленок.

В полтора года Черкез уже самостоятельно выползал из кибитки и видел мир. Мир был прекрасен: перед кибиткой расстилался огромный глиняный такыр с колодцами. По такыру ходили верблюды, овцы, мужчины в папахах и женщины в ярко-красных платьях. Женщины перетирали на камнях зерна, варили мясо, таскали воду. Мужчины стригли овец, объезжали лошадей, мешали табачный порошок с маслом и солью, чтобы сделать из него хороший жевательный табак. Все это было хорошо. Главное, все это было залито солнцем. Дальше, за такыром, возвышались желтые сыпучие холмы, тогда пока еще неизвестные Черкезу.

В два года он уже играл со своими товарищами на такыре. Они бегали и кувыркались, их бодали козы, они попадали под ноги

верблюдам, но это ничего; они становились от этого только крепче. Ребята играли в войну, в лисицу и лошадь. Самый страшный зверь, которого увидел Черкез, была ящерица — ее принес отец из песков и назвал вараном.

У Черкеза была маленькая сестренка Амин. По вечерам, когда темнело и на такыре ходили дьяволы, они лежали в кибитке и слушали рассказы и песни отца. Отец рассказывал о воинах, о древних хорезмских ханах, о хитрой черепахе, о смешных русских генералах, о драке змей с джейраном и опять о туркменских воинах, которые носят шелковые халаты, железные шапки и большие мечи. На самом деле Черкез не видел воинов, и отец его не был воином. Он был пастухом, носил дырявый халат и ель-кен — кожаные подметки, привязанные к ногам веревочкой. Он пас стада Иман-Гуल्या, который жил на этом же колодце .

Когда Черкез подрос, он стал выходить за такыр и начал узнавать песчаные холмы и множество новых предметов. Мир вырос, и Черкез был похож на мореплавателя, идущего в море. Перед ним лежали желтые пространства, сулящие неожиданности и тайные опасности. Он еще не стал подпаском, как его старший брат, уходивший с отцом, но его стали интересовать совсем другие вещи, нежели кибитки, кувыркание и игра в лисицу.

Он не проводил больше времени и с сестренкой. Говорят: “Дочь доит верблюдицу, а сын смотрит на дорогу”. Черкез с Кандымом, Курра с Елбарсом день проводили в песках. Они отыскивали следы лисы, длинной рогатиной ловили варанов, собирали стволы дерева сезен, которое не гниет и из которого делают колодцы. К этому времени все они стали сильными и загорелыми юношами, и соревнование между ними касалось таких вещей, как поднимание одной рукой барана, езда на лошади, находка зверя турсак. Они умели уже различать следы и тропы.

Они знали уже следы друг друга и всех живущих на колодце и почти всех верблюдов своего колодца.

“Ах, Сюиджи, Сюиджи! — часто смеялись они над своим слабым и тихим товарищем. — Он принял это за следы лисы, эту простую норку жука”.

Сюиджи имел слабые глаза и плохие ноги, он улыбался и шурился, слушая своих товарищей.

Обыкновенно они собирались на далеком холме, у заброшенного такыра, где выстроили себе настоящий чабанский шалаш из веток саксаула. Они лежали здесь, жевали настоящий табак и рассказывали друг другу о том, кто кем будет. Один хотел стать сардаром-воином и искателем троп, другой — охотником, третий хотел быть тоже Иман-Гульем и иметь, как и он, две тысячи овец, три жены и самую красивую кибитку. С их холма хорошо была видна пустыня, она блестела под солнцем и холмами уходила к горизонту. Где-то там, как рассказывают, находились каменные дома, колеса, реки и много другого странного. Их тоже, конечно, интересно было бы увидеть, но, во-первых, еще неизвестно, правда ли все это, а во-вторых, будучи взрослым, Черкез успеет их повидать, когда повезет шерсть в город.

Когда утром Черкез был занят водопоем и сразу не мог идти с друзьями, то, кончив дела, он отправлялся за такыр и смотрел на следы трех своих товарищей. Он ощупывал их — иногда это были вчерашние следы. Тогда Черкез искал среди множества сегодняшних следов, куда пошли приятели. Вот здесь брат пошел к каху — дождевой яме, у которой пасутся овцы. Вот братья Крим отправились, наверно, за верблюдом. А вот и следы друзей. Черкез шел по следу и видел, что приятели делали. Он спешил вперед и смеялся. Вот здесь они искали лису — след ведет к норе. Ах, чудачки, им ничего не удалось — это ведь брошенная нора! Здесь

они сидели. Вот Сюиджи ломал ветку. Наконец Черкез догонял товарищей.

Однажды Черкез задержался один в песках, и опустилась ночь. Следы спутались. Черкез лазил по песку и щупал руками, но дороги не было видно. Тогда он сел и стал думать. Случайно взглянув на небо, он увидел яркие-преяркие звезды. В стороне он отыскал звезду “Железный кол” — как называл ее отец. К этому колу привязана на цепи медведица. Все звезды ходят кругом кола. Тогда Черкез разыскал звезду, ведущую к своему колодцу, и по ней вернулся домой. Дома уже спали. Только сестренка сидела испуганная и шила ему рубашку. Она тоже подросла. Она была худенькая, с тоненькими ручками, но носила уже красное платье и саммок — большой женский убор на голове.

— Ты где же был? — тихо спросила она, испугавшись и обрадовавшись.

Черкез любил свою сестру — это конечно, но он смотрел на нее немного свысока, потому что так было нужно: он — мужчина, а она всю жизнь должна быть у кибитки, она ничего не знает.

Отец был пастухом у бая и половину платы получал так: в стаде хозяина ему была подарена овца. Она должна была все время находиться с другими, потом родить ягнят, и эти ягнята тоже принадлежали отцу Черкеза. Они также паслись со всем стадом и, в свою очередь, должны были стать овцами и дать приплод. Так как в стаде были и свои овцы, то пастухи хорошо ухаживали за всем стадом. Во-вторых, они служили долго, им трудно было уйти, им все хотелось, чтобы собственные овцы выросли в большое стадо. Были пастухи, которые так и умирали, не дождавшись стада. Тогда овцы оставались хозяину.

Отец Черкеза решил, что он хитрее, и, дождавшись двадцати овец, захотел сам стать хозяином.

Здесь в жизни Черкеза произошло первое крупное событие. Хозяин оказался еще хитрее: он не отдал отцу ничего. Тогда все на колодце начали говорить об этом, кричать и порицать Иман-Гулыя. Отца Черкеза все любили: он был весельчак, добряк и рассказывал смешные истории. Теперь он плакал и разводил руками: вот и вся жизнь — двадцать лет он зарабатывал свое стадо. Он, и Черкез, и маленькая Амин мечтали о том времени, когда они получат свое хозяйство и будут счастливы.

Так в первый раз тяжело обманули Черкеза с его отцом.

Утром соседи пошли к колодцу, чтобы поить верблюдов. Но на нем сидел сам Иман-Гулый, толстый, и в ватном халате.

— Вам что, воды? — сказал он. — Нет, я не могу вам дать больше воды. Я хочу очень пить, боюсь, не хватит.

Колодец был его, и никто не мог ничего поделаться. Но Иман хотел только попутать, чтобы никто больше никогда не кричал: он любил тишину и не терпел, когда кричат на колодце.

В конце концов он выдал отцу Черкеза семь овец, и тот стал хозяином.

С тех пор прошло несколько лет, и мир очень изменился за это время. Вот какие перемены произошли на колодце: Черкез, Сюиджи и Курра стали большими. Мать умерла. Отец стал старым, брат — взрослым. Разве только одна Амин осталась маленькой, но ей это полагалось — она была стройной семнадцатилетней девушкой. Колодец уже принадлежал не Иман-Гулыю, а аулсовету. Председателем аулсовета был низенький приезжий туркмен, в пиджаке, с бритой бородой. Он сидел в кибитке Совета и писал бумаги. Это была очень непонятная жизнь: на баранов была бумага, на верблюдов — бумага, на шерсть — бумага, даже ящерицы и джейраны записывались в бумагу. У бритого туркмена были помощники. Иман-Гулый остался таким

же толстым, но стал гораздо добрее. Он был членом аулсовета. На этот колодец пришел аулсовет, но жизнь почему-то не изменилась.

Она становилась даже хуже. Где прекрасный мир, где тропа друзей, где шатер мечтаний? И Черкез — взрослый человек, у него серьезное лицо, и день перед ним стоит серьезный и холодный, как стол председателя аулсовета. Почему в жизни так много непонятных трудностей?

Однажды у отца Черкеза отобрали всех овец и верблюдов. Ему прочитали бумажку с печатью, где было сказано, что он бай, что он богатый скотовод и скот его подлежит национализации. Черкез не знал, что такое национализация, но товарищ его, Сюнджи, сказал, что это ошибка, что это выдумали какие-то

нехорошие люди, враги, и он должен поехать в аул и рассказать обо всем.

— Ты сын пастуха,— сказал он,— и тебя должны выслушать с почетом. Такой теперь закон. Езжай.

Черкез сел на осла и поехал в аул. В ауле люди показали ему глиняный дом, в доме за столом сидел человек в пиджаке, и перед ним толпились пастухи. Черкез снял шапку и вынул оттуда бумажку.

— Я бедняк,— сказал он и показал бумажку с



печатью. Человек прочел бумажку и внимательно посмотрел на Черкеза.

— Ты бедняк? — сказал он, сделав озабоченное лицо и качая головой.— Да ну? Что ты говоришь? Ай-ай-ай...

Он растрогался, опять качал головою и даже чмокал губами и еще два раза спросил Черкеза — кто он, и Черкез обрадовался и улыбнулся, и человек, глядя на него, тоже улыбнулся, и они смотрели так друг на друга и смеялись. Потом человек вдруг нахмурил брови и сказал:

— До свиданья,— и показал рукой на дверь.

— Я бедняк,— повторил Черкез, испугавшись.

— Чит! — закричал вдруг человек, вставая.— Долой! Долой отсюда, мне некогда!

— Мой отец был пастухом и заработал овец у бая в течение двадцати лет...

Но человек так кричал и топал ногами, что Черкез выскочил на двор и, забыв надеть шапку на голову, пошел, сам не зная куда, К вечеру он добрался до своего колодца и молча лег на кошме в кибитке. Он ничего не понимал. Он не знал, что он опять говорил с врагами. Его опять обманули. Отец и брат смотрели на него и ничего не спрашивали. Сестра Амин сидела в углу и плакала. Пришел Сюиджи, посидел и ушел, разводя руками. Потом пришёл Иман-Гулый, который стал теперь добрее.

— Такое время,— сказал он,— ничего не поделаешь. Я сам стал бедняком. Крепитесь. Может быть, будет еще хуже. Вот, говорят, скоро и у нас объявят колхоз. Все мы под богом.

Но через несколько дней вдруг все пески заговорили о джигитах. Это было как пламя. Оно шло от Мерва и от Казанджика, с севера и с юга, от афганской границы.

И однажды утром к колодцу прискакал отряд. Это были необыкновенные туркмены — на взмыленных конях, на ковровых

попонах, бряцающая серебряной сбруей, в шелковых халатах, с черными бородами, обритыми по правилам племени. Словно примчавшись из туркменской сказки, спрыгнув на песок, придерживая кривые турецкие сабли, они прошли в кибитку Иман-Гулыя. Там они пили чай и молоко. Они смеялись, выходили к толпе и говорили:

— Конец, конец, дорогие туркмены, нашему аулсовету, и женотделу, и костезаготовкам, и кибитке-читальне. Вернулся бог, и все колодцы и все аулы и города уже с нами,— что вы скажете?

Что скажут худые песчаные люди в дырявых халатах, слушая таких знатных и блестящих сородичей, которых видят они в первый раз в жизни и которые пришли, может быть, из самого Хорасана?!

— Ты пойдешь? — спросил Черкез Сюиджи. Сюиджи покачал головой. Елбарс и Курра тоже остались.

Полтора года Черкез с отцом, братом и сестренкой мчались по пескам взад и вперед. Полтора года Черкез стоял на постах, ездил на верблюде, прижимая к себе винтовку, украшенную кисточками, стрелял, убегал, варил суп из кореньев, спал под открытым небом навзничь, как мертвая вещь, как сломанная ветка, как человек, у которого нет больше дороги. Он открывал глаза и видел небо, но ему не хотелось смотреть на него и не хотелось просыпаться. Горькая правда струилась, как едкий дым. Черкез медленно открывал глаза. Он боялся сказать себе, что его третий раз обманули.

Отца его убило бомбой во время страшного боя у Бохкал-Кую, когда джигиты бежали, закрыв глаза и уши.

Его брат умер раненый, почернев от болезни, когда три дня они не пили воды: отступая, его сбросили с верблюда на песок.

Черкез, обернувшись, не успел рассмотреть, как он упал между ног бежавших верблюдов.

Только один человек остался у него, с которым он мог поговорить о своих мыслях,— маленькая Амин. Он приходил к ней и садился возле шалаша, у которого она шила одежду и кипятила чай. Он садился и смотрел на нее и ничего не говорил. Она стала худой, бледной, глаза ее провалились.

“Вот удивительно,— думал он,— она всю жизнь молчала, а никто не подумал бы, что она будет держаться крепче всех и что она все понимает”.

— Ничего,— говорила она, смеясь,— я тихонько уйду, разыщу наш колодец и расскажу, что ты ошибся. Вот и все.

У костров тихо, как тени, скользили женщины. Верблюды лежали, дожевывая траву. За верблюдами простирались шалаша, кумганы, ведра, бочки, халаты. За ними на холме стояли шатры атаманов. Иногда оттуда раздавались крики и ругань. Атаманы спорили, кому быть главным. Каждый из них доказывал, что он родственник знаменитого Дурды-Мурда и Ахмед-Бека и всех славных погибших главарей.

Однажды к Амин пришли джигиты и сказали, что она будет прислуживать начальнику.

— Нет,— сказала она.

— Нет, будешь! — сказали те, смеясь, скаля зубы и размахивая плетками.

Они взяли ее за руки и понесли. Тогда Черкез побежал к атаману. Тот сидел на ковре и, подвинчивая бинокль, смотрел в него сперва с одной стороны, потом с другой, потом — прикрыв один глаз рукой, потом — открыв его.

— Я занят,— сказал он, увидев Черкеза.

— У меня убиты отец и брат! — закричал Черкез.— Я целый год сражаюсь в джигитах!

— Не кричи, — сказал тот, — здесь не пленум аул-совета.

— Твой отец и брат не прочь тебя увидеть, — сказал другой медленно и сквозь зубы, похлопывая рукой по револьверу.

Ночью Амин ушла из лагеря.

Черкез лежал у костра и смотрел на красные угли.

“Амин, Амин, — думал он, представляя ее бегущей в легком халате и в красных штанах по барханам, и вдруг он испугался. — Ведь она не знает ни одной тропы. Бедная сестра! Она не понимает даже следа навозного жука. Она по-гибнет одна, ничего не понимая и не умея”.

Он тихо осмотрелся, взял винтовку и вышел из лагеря.

Он бросился бежать. Он бежал по песку всю ночь по следам Амин, освещаемый луной. Он обливался холодным потом.

На рассвете он увидел сестру. Она сидела под кустом, сжавшись в комочек, и дрожала, смотря кругом широко открытыми глазами. Он накинул на нее свой халат, и они пошли.

Вот они остались одни, вдвоем. Куда они шли? Где для них осталось место? Вот идет сестра, вот рядом он.

— Холодно, сестра? Где твой дом, сестра?.. Ничего, есть еще в руках винтовка, и будет тепло.

— Ничего, — сказала Амин, — мы построим шалаш. Ты убьешь зайцев.

— Конечно, ничего! — сказал Черкез и заплакал в первый раз в жизни, но отвернулся.

Он посадил сестру, а сам свернул в сторону. Он велел сестре сесть под кустом и отдохнуть, пока сам не вернется.

Черкез поймал заячий след, потом начал искать колодец. К утру он вернулся назад. Подходя к замеченному бархану, он услышал крики. Он всполз наверх и выглянул из-за куста. Внизу стояли десять басмачей, спешившись. Они окружили Амин. Она была голая, со связанными назад руками. Они поставили ее на

бархан. Амин была очень худая, и у нее дрожали и подгибались колени. Басмачи ругали ее. Потом Амин закричала, один басмач взял винтовку за дуло и, сильно размахнувшись, ударил Амин по голове.

Черкез побежал по барханам. Он больше ни о чем не думал. Два месяца он бегал по пескам, как загнанная лиса. Он огибал жилые колодцы и прятался от свежих следов.

Ночью он выходил на гребни барханов и искал одичавших верблюдов, брошенных басмачами. Чтобы не было выстрелов, он подходил к измученному, голодному животному и бил его прикладом. Он рвал верблюжье мясо и пек его в горячем песке. Он вырывал под кустами корни сладкого растения косяк, ел дикий чеснок, ел севдек, чырш и семена трав. Он собирал ветки растений чомыч и делал из них жвачку. Когда лето иссушило дождевые ямы, он отыскивал потаенные места, где басмачи прятали снег на лето. Он глубоко выкапывал песок, вынимал куски полурастаявшего снега и ел их. Его рубашка изорвалась, и он связал ее куски стеблями селина.

По ночам, когда приходил холод, он укрывался ветками кустов... “Холодно, Черкез? Где твой дом, Черкез?” Он зарывал голову в песок и ни о чем не хотел думать.



Иногда он приползал к далекому колодцу. Он бродил вокруг него и подолгу останавливался над следами. Да, вот они. Это след Елбарса и Курра, старых друзей детства. Вот они сегодня прошли здесь с верблюдами. Вот их чабанский шалаш. Здесь они мечтали когда-то стать воинами и поехать в город и жевали табак. Черкез больше никогда не плакал. Он только ощупывал высохшие ветки руками и удивлялся, когда они оказывались в самом деле ветками. Разве это действительно было когда-то?..

Иногда он подползал совсем близко к такыру и, лежа в кустах, видел людей и два глиняных дома, выросших посредине. Это Совет и правление колхоза. Это совсем не такой Совет, как был раньше. Черкез слышал, что бритого туркмена давно выгнали, а Иман-Гулый сидит в тюрьме. Как много перемен на такыре! Вырыто три новых колодца. Женщинам привезли швейные машины. Жизнь стала хорошей, а Черкеза здесь нет. Он прятался в кустах, как зверь. Мимо него проходили тучные стада колхоза. Кто там гонит их к водопою — может быть, Елбарс или Курра?

Однажды утром, придя на свое место, он нашел много следов, ушедших от колодца. Он знал, что это был отряд туркмен, поднявшихся бить басмачей. Черкез отправился сзади него, он видел знакомые следы. Отряд уходит вперед, а далеко, за несколько километров сзади, он пускает следопытов. Те смотрят — не идет ли кто за отрядом.

Теперь шли так: отряд, потом Елбарс и Курра и сзади всех Черкез. Он радовался, что следопытами идут его друзья и он видит все, что они делали. Иногда он даже смеялся: как будто он опять идет вместе с ними. Вот они останавливались, разводили костер, вот искали тропу. По обрывкам хлыста он видел: скоро Курра остановит верблюда, чтобы сломать новую ветку. Чудак, он по-прежнему выбирает длинные кривые палки, которые достают до хвоста верблюда. Иногда Черкезу очень хотелось догнать их и

идти вместе. Но он очень боялся, что все хорошее опять куда-то исчезнет. Во всяком случае, он еще успеет это сделать.

И вдруг он увидел — еще кто-то появился между ним и разведкой. Это следы некованных басмаческих коней. Их двое. Они видят разведку, потому что по следу видно — они все время осаживают коней.

Тогда Черкез забыл обо всем и решил предупредить товарищей. Да, он скажет, что его обманули, пусть его тоже примут в хорошую жизнь. Но теперь получилось так: спереди отряд, потом разведка, потом басмачи, и сзади всех Черкез, и он один — пеший. Нет, ему никак не догнать разведки.

Черкез бросился бежать вперед. Только выбежав на бархан, он заметил двух людей, поджидавших его. Пуля пролетела над ним. Не успев остановиться, он поднял винтовку и выстрелил в высокого, дородного басмача. Тот упал. Другой выстрелил в Черкеза. Когда до Елбарса и Курры долетела перепалка и они примчались назад, они нашли своего бывшего товарища лежащим на их тропе лицом вниз с винтовкой в правой руке. Вот его могила под этим барханом. Снимите перед ней шапки! Здесь похоронен Черкез, трижды обманутый в жизни, в конце ее нашедший дорогу к правде, молодой джигит из племени багаджа.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕЩЕЙ

Мы разбирали басмаческий склад, запрятанный в тишине потайных тропинок. Волны ковров расстилались на остывшем песке. День догорал. Бледный полумесяц подымался над текинскими коврами и медными самоварами. Сидя па песке, я записывал предметы. «Чувалы, туфли, — говорил я, слюнявя карандаш, — сухие семена для окраски ковровых ниток».

Три туркмена ходили среди мешков, переворачивая их ногами,

«Весы. Гири».

«Чувалы с витой полосатой веревкой».

Три дня искали это место следопыты. Умершими, покинутыми тропинками подъехали мы к нему вслед за проводниками. «Вот»— сказали они. Молча мы подошли к краю бархана—в котловине лежала грудa добра, прикрытого ветками и кошмами. Они почернели от времени и зимних дождей. Отбросив кошму, мы увидели рыжую фалангу, свирепо запрыгавшую по кошме на безобразных своих ногах. Кавалерист сапогом раздушил паука, последнего обитателя становища. Перед нами раскинулось мертвое скопище вещей. Они заняли котловину.

Чувалы, и опять ковры, и опять чувалы.

Галоши.

Доска с азбукой арабчи.

Заграничная краска, «индиго» для ковров...

Черный старик в необыкновенном халате, изодранном до конца, бродил по вещам, разворачивая их палкой песчаной акации. Это был один из проводников. Халат его, с оторванными спереди

полами, создавал странное подобие фрака. Старик прыгал и качался среди вещей, словно аист на горячем пепелище из полуслепых и гноящихся глаз его по носу спадали слезы.

— Горе, горе...— бормотал он и качал головою. — Вот был день и приходят ночь. Что там за нею, увидят еще старые глаза?..

— Книга. Книга — бухгалтерия! — крикнул Мамед, швыряя мне книжку — тощий баланс разграбленного когда-то кооператива.

Амулеты. Гвозди. Медные пуговица.

Карандашей школьных 500 штук.

Чалма, очки, облигации займа.

Кривая турецкая сабля, почерневши за несколько веков своей жизни.

Фанерный баул, подушка, колокола для каравана...

Я копнул ногою колокол, он звякнул железным языком и, набитый песком, умолк. Нет твоего каравана. Он сейчас идет где-то горными долинами Афганистана, колокол! Он лежит зарытый в песок, его нет, колокол.

Два старых караванщика, держась за поводья верблюдов, сидели на корточках, горящими глазами пожирая богатство. Небо бледнело. Черные верблюды на гребне бархана нюхали воздух вечера. Бывший басмаческий атаман, приведший нас, в русской косоворотке, босой, в папахе, сидел на песке. Косынкой вытирал пот с черного лица и сплёвывал песок. Наш караван еще не подошел. Мы раскладывали ковры, чтобы проветрить, — черные извилины червяков разъедали красные и синие орнаменты, черные извилины и пятна как оспа.

Снова захныкал старик во фраке.

— Вот, они были богатые и большие люди, — сказал он, поднимая кожаный футляр для пиалы. — Богатый человек на коне и на верблюде имеет свою пиалу в футляре. Такие вещи носили с

собой, идя в Мекку. Где Мекка? Где Медина и Бухара? Где теперь они, спрашиваю я?

Он никого не спрашивал, он шел по вещам, тряся бородой и руками, оглядывая вещи и поворачивая их палкой.

Туркмены молчали. Они, нахмурившись, смотрели на пустыню. Она была далеко видна с гребня. Пески были мертвы. Слабый туман подымался снизу. Месяц совсем взошел, осветив пески медным цветом.

— ...Да, вот Волихарс, — тихо оказал караванщик, — Волихарс, то был самый крупный бай во всех песках. Волихарс, в Тедженском районе, на Елбарслы-Кую, на Колодце Тигра ... Десять тысяч баранов и пятьсот овец.

— Волихарс, Волихарс! — забормотал старик, поднимая руки и ни к кому не обращаясь. — Худай-Верды-Харс, сын Волихарса, — он купил жену так. Вот точная история, которую достоверно знают все старики, она была большая красавица, и отец не хотел выдавать ее замуж. Харе оседлал коня, желтого коня из рода Мелекуша, с посеребренной уздечкой, и приехал к отцу...

— Штаны, тельпек, пачка спичек, — сказал кавалерист, вытряхивая мешок.

Шомпол. Сбруя. Самовар.

Елькен — песчаная обувь — подошвы с кожаными ремешками.

— Договорившись с отцом, Харе велел собрать в Елбарслы всех людей, всех скотоводов и бедняков всех. Потом он велел привезти весы, большие весы, на которых вешают на базарах хлопок.

Бывший банд атаман с досадой взглянул на старика и сплюнул. «Что тебе Харе? Что тебе Берды-Харс, дурак?» — сказал он сквозь зубы. Он поднялся на бархан и пошел в даль, сбивая по дороге кусты плеткой.

— Тогда Харе посадил на одну чашку весов невесту, а на другую велел сыпать деньги, серебро, это были все, — обратите внимание, — персидские кроны! Он зарезал баранов. Он угощал всех гостей. Где же гости? Где костры, на которых жарят баранов? Тучные тропы умерли. Тошие тропы ведут в кооператив. Где пастбища? Колодцы засыпаны. В колодцах лежат мертвею овцы. Дикие верблюды воют в песках, их едят клещи...

В это время за барханом раздался шум. Подошел наш караван. Над гребнем бархана возникли папахи, винтовки, крики, тихое ржанье лошадей.

Добротрядец, опоясанный патронными лентами и красным шарфом, соскочил вниз и стал посредине вещей, тряхнув папачой и крепко поставив перед собой на песок винтовку. Это был молодой туркмен из рода Рыжебородых, колена Идущих.

— Вещи к месту, — сказал он весело, показывая белые зубы. — Который человек не нужный — в сторону.

Доброотрядцы и кавалеристы стали уворачивать ковры и выючить верблюдов.

Месяц стал ярче. Причудливый туман шел с долин. Старик сел в сторонку и начал тихо выть что-то, рукой глядя бороду, качаясь из стороны в сторону и глядя на месяц. Это была какая-то песчаная песня, в которой нельзя было разобрать никаких слов.

— Вот дюзли-диль — соленый язык, — сказал Мамед, ложась рядом со мной и кивая на старика. — Он, понимаешь, бедняк и всегда бедняком был. Старая кровь, он плачет за ушедшее. Сколько добра принадлежало богачам? А он никогда хорошей овцы не имел.

У него два сына в басмачах, поэтому за них он служит проводником. Слепой старик.

Потом Мамед встал и пошел за бархан. Он был в сапогах, в толстовке. Он был кочевник, но держался по-европейски и мочился, не приседая на корточки.

Верблюды были навьючены. Они поднимались, тяжело ступая. Караванщики бросились на мелочи, выбирая из песка нитки и пустые тыквы для жевательного табака.

— Эй, старик, на, богатей! — крикнул молодой доброотрядец, кидая кундук — медный кувшин для чая.

Старик протянул худые руки к кувшину и начал засовывать его в мешок. С носа его еще падали капли.

Мимо меня прошагал последний верблюд. На нем колыхались курджумы, то было народное добро; сверху сидел молодой доброотрядец, держа винтовку на коленях, и по углам качались четыре высоких туркменских самовара.

Караван пошёл цепочкой по песчаным долинам, освещенный месяцем. Сзади всех ковылял, еще причитая, старик во фраке, с палочкой и мешком в руках, оглядываясь на пепелище. За веревку он тянул своего белого верблюда. Это был икки-еркуш — поэтому он кричал тонким и противным голосом, как то полагается двугорбым верблюдам.

Очки

Разбирая одно брошенное в пустыне становище, мы увидели лежащими аккуратно в сторонке три предмета: старую скомканную чалму, очевидно принадлежавшую лицу какого-нибудь святого звания, сломанные очки и тетрадку. Общая тетрадь, разграфленная по- бухгалтерски, очевидно принадлежала некогда кооперативу. Первые листки ее содержали несколько записей полурусским и полулатинским шрифтом: «Мясной баран—689. Семенной баран —197. И сдал — Ораз Довлет, получил — Надыр...» Может быть, это были и басмаческие записи. Дальше шли несколько страничек, исписанных мелким арабским бисером, между листами были вложены такие же записки. Командир отряда перелистал тетрадку и кинул ее мне. «Ну-ка, она почти чистая, годится для ваших заметок».

Она дослужила свою службу; я ее честно и плотно заполнил. Привезя ее уже домой, я дал перевести записи товарищу, знающему «арабчи». Записи оказались перепиской нескольких бандатаманов, стоявших в разных концах песков, по поводу одного любопытного дела; так сама собой получилась небольшая новелла.

Записки были ответами на послания банд-атамана. А его письма, очевидно, в черновике были занесены в журнал грамотным секретарем, каким-нибудь бывшим байским приказчиком или мусульманским судейским крючком. Я его представляю сидящим на песке перед бочкой, высунувшим язык на сторону и старательно выводящим каракули...

Примечателен выпяренный стиль писем банд-главарей, прожженных мелких рыцарей, считающих каждый себя большим военачальником, и почитателей святости. Вот эта переписка.

«Он — преславный!»

«Знаменитому начальнику войска, обладателю пронизательности Ануш-Мухамед-Пехлеван-Беку. Дорогой брат! При этом послании с джигитом нашим и присовокуплении устных пожеланий добра и великих дел посылается от меня просьба: наш святой и всем нам дорогой ишан, находящийся, как всем то известно, при нашем войске, благородный Али-Мрат, волей судьбы оказался в тяжелом положении, — при сражении 12 июня, убегая ма своем благородном верблюде, он свалился головой вниз и, разбив очки, таким образом оказался, как рыба на песке, или джейран с вырванными ногами. Известная его ветхость и древний возраст делали без того зрение плохим, а теперь он не видит и своего носа. Мы его держим теперь при караване с женщинами и детьми, где его водят за руки под кусты делать всякие вещи, необходимые человеку. Это умаляет святость, делает достоинство бледнее и путешествие его молитв медленнее. Очки, лишенные стекол, на носу святого человека всё равно что луна без света. Так как мы находимся в глубине песков, а общее это дело для нас важно, твоё достопочтенное повеление будет послать одного из множества твои джигитов в Мерв, до которого от вас два перехода, и показать сломанные очки и заказать в амбулатории или в каком-нибудь учреждении новые стекла.

Благодарный и помнящий джигит. Брат за общее дело Хаджи-Юсуф»

«Велик Аллах!»

«Убежищу мира, благороднейшему из джигитов. Правда, Сын Света, святой ишан Али-Мрат лишился очков! Известие о том повергло нас в печаль. У нас много джигитов, и все они почитают его святость и радуются присутствию. Но, осмотрев всем нашим штабом очки, мы увидели, что одно очко ему сохранил бог. Мало света стало на земле. Нет мира. Нет стада. Мы ездили на коне, теперь ездим на ишаке. Не может ли ишан ходить с одним очком? Зачем ему два, когда времена тяжелые и все мы под богом? Битая овца лучше небитого козла. Целуй край его чалмы.»

«Он—богат!»

«Дорогой непобедимый брат Бехадур. Джигит наш расскажет, что ишан наш Али-Мрат разбил очки и ему нужно вставить в амбулатории стекла. Очки без стекол на носу святого — мечеть без окна. Я послал письмо Ануш-Мухамеду и получил от него ответ. Этот старый вор, хвост ящерицы, рыжий суслик, считающий себя храбрым воином, отказался сделать, и я знаю истинную причину: от его отряда со всем штабом осталось четыре джигита и одна хромая старуха, и они отсиживаются сейчас на колодце, переводя дух. От тебя, как брата по роду и колену, повеление: закажи стекла, показав очки. Ишан, святой отец и брат солнца, тыкается носом, куда попало;

вчера угодил в колодец и повредил ногу, ребятишкам смех и затемнение почета».

«Он!»

«Несомненно благороден и всеми нами почитаем ишан Али-Мрат. Свет очей! Драгоценный клад! Порог святости!

Почему он, старая кукла, не может усидеть на седле? Вы бы его привязывали веревками, что ли! Святой, падающий с верблюда, — автомобиль, тыкающийся в арык. От него мало пользы.

Плохие дела в Мерве. Ездил посланный джигит с очками в аптеку, там стекло не дали и послали в амбулаторию. В амбулатории осмотрели и оказали, что очков им мало, нужен сам старик или рецепт. Что поделать—волокита! Проклятье бога и бюрократизм на каждом шагу! Если б я был в Мерве, я пожаловался бы в райсовет. Но сейчас я занят большими и безотлагательными делами.

Что делать! Нельзя ли достать в кооперативе обыкновенные стекла? Пусть все видят, что у ишана есть стекла, а остальное даст Аллах. Ведь рецепта у него не спросят?»

«Его воля»

«Непобедимый и досточтимый брат по роду. Благодарение за заботы и почитание святости. Святому ишану Али-Мрату не нужны больше очки. При перестрелке в ночь на пятницу он убит пулей, залетевшей к верблюдам в тыл. Он отправился с небесным караваном в последний путь. Разве мог он

видеть пулю, летящую к нему? Разве можем мы видеть свою могилу? Кто узнает судьбу? Услышит ее голос? Мы уходим вдаль, уходим без ишана. Может быть, душе его потребуются очки, и она вернется за ними, то пусть возьмет хотя бы такие, — какие есть».

Мы нашли помятую и грязную чалму, бывшую когда-то белой, и очки, — они лежали в стороне, под кустом, слетка засыпанные песком. Вот и конец ишана. Сейчас его душа ходит без очков. У меня на столе лежит кооперативная книга с записками на бухгалтерских графах, и на ней—этот странный сувенир — помятые оловянные очки, без стекол, перевязанные веревочкой.

Восстание холостяков

Бунт холостяков, как часто это случалось в басмаческих лагерях, произошел близ Узун-Кую, вечером, при расстановке ночных постов. Дело было вот как.

Три бандатамана — Ораз Кокшал, Азан- Окуз и Бек-Непес — отступали по пескам от добровольческих туркменских частей. Три атамана мчались на лошадях, засыпали за собой колодцы, путали тропинки. Три верблюжьих каравана бежали за ними, гремя казанами и чайниками, сотрясая на горбах своих гроздья детей и женщин, давно потерявших способность кричать от страха и усталости. По дороге Бек-Непес был убит, и осталось два атамана.

Остановившись у далеких колодцев, они успокоились и решили соединиться вместе.

— Горе, конечно, — оказал Азан-Окуз, входя в кибитку к жене Бек-Непеса, сняв у порога сапоги и вешая саблю, — был Непес, нет Непеса. Он был наш друг, и нам нужно быть всем вместе. Я перетащу твою кибитку к своему лагерю.

Жена Бек-Непеса была известной красавицей. Лицо ее было подобно месяцу, а глаза — углям, если не говорить о других подробностях.

В это время полог откинулся, и в кибитку вошел Ораз Кокшал.

— Несчастье велико, но славен бог, — сказал он, снимая сапоги и вешая свой полевой бинокль на ветку, — ты можешь перейти в мой шалаш...

Тут он заметил Кокшала, и борода его передёрнулась. Они сели все на ковер, и женщина поставила посредине казан с чалом — верблюжьим молоком.

— Кушай, дорогой Ораз, первый. Тебе мое уважение и почет, — пригласил Азан, прикладывая руку к сердцу.

— Нет, нет, как я, такое ничтожество, могу быть первым? — запротестовал Ораз. — Я не могу быть первым, я могу быть только вторым...

Здесь они замолчали и опустили глаза к земле. Потом пожевали по кусочку лепешки. Наконец заговорил Ораз:

— Я думаю насчет ее... Я думаю, что жене нашего друга и богатыря Непеса здесь небезопасно находиться одной. Она свободно может поместиться у меня, — сказал он, покосившись на Азана.

— Напротив. Зачем тебе стеснять себя в этом деле? У меня с собой большая кибитка и маленькое семейство, — сказал Азан и схватился рукой за бороду, чтобы она не очень тряслась.

— Слушай, Азан, — сказал Ораз, выходя из кибитки. — Сделаем так, как я говорю. Так будет лучше. А иначе будет плохо. А зачем плохо, если можно хорошо?

— Нет, зачем же, — сказал другой, хватаясь за револьвер, — зачем хорошо, когда можно еще лучше?!

Они посмотрели друг на друга, потом перевели глаза на небо, потом опять посмотрели друг на друга, но из этого ничего не вышло. Тогда они разошлись, каждый на свой холм.

К вечеру Ораз подошел к лагерю Азана с цепью стрелков, с ружьями наперевес. Но когда они дошли до подножья бархана, из-за кустов их встретил залп сотни винтовок.

Атаманы воевали три дня и три ночи. Они окружали друг друга, гнали по холмам, стреляли. Джигиты мчались туда-сюда, размахивая руками, стреляя во все стороны. Красные части, видевшие их в бинокли с далеких холмов, думали, что в бандлагере все сошли с ума: что за война идет у них там несколько суток?

Наконец, все устали воевать, и один атаман позвал другого на переговоры. Они сошлись на холме, под кустом кандыма, постелив на песке коврик.

— Здравствуй, Ораз, как твое здоровье? — сказал один, прижимая руку к сердцу.

— Ничего, благодаря небу. Дела хорошо.

Они вынули из-за шелковых поясов кисеты, вложили в рот жевательный табак.

— Ты не помнишь, мы как-то раз говорили о жене Непеса? Я ее могу взять к себе. Как ты думаешь?

— Нет, пожалуй, не стоит, — ответил другой, поморщившись.

Тогда один вынул из-за пояса маузер и убил другого.

— Ах, Ораз, Ораз, я же говорил, что, выйдет неприятность, — сказал он.

Так остался один атаман, и к нему присоединились все три отряда. Потом подошли еще несколько мелких и крупных бандглаварей и помощников главарей. Это был огромный ный лагерь. Он состоял из сотни костров, дыма, верблюжьих и детских криков, ругани и пастушечьих шалашей—кюма. В кюма лежали джигиты, играли в карты, пили водку и чай, шили кожаные башмаки, сушили шкуры баранов, смотрели на солнце и звезды, чесали животы, пели песни и рассказывали друг другу старые туркменские анекдоты про знаменитого Алляр-Коса— «безбородого Коса» — и никто не убивал друг друга за эти старые анекдоты, потому что безбородый шутник Коса вечен, он — лучший друг песчаного туркмена у костра и в караване. Вот Коса хитростью переманивает зайца, вот он обманывает богача, вот он избличает неверную жену... Вечером начали расставлять посты на бархана. Дежурный помощник шел меж костров и выкликал имена. Его посылали к дьяволу. С ним спорили; скорбный час

холостяков настах. Дело в том, что в ночных дежурствах стояли одни лишь холостяки, так как женатые должны были ночью заниматься совершенно другими делами. А днем постов не было почти совсем.

Они стояли около кустов, редкой цепью, держа в руках винтовки и глядя в ночь. Холостяки тихо подползли друг к другу и вместе смотрели на небо, утыканное звездами, на огни лагеря в песчаных котловинах. Скверная доля холостяков. Тот, кто холост, тот беден. Кто богат, тот имеет не только одну, но и несколько жен — вот уж ему совсем некогда дежурить на барханах. Тот, кто богат, у того есть свои верблюды, они везут кибитку, жены варят им каурму и пекут лепешки. Тот, кто беден, — он и в походе обездолен, носит рваные тряпки, спит под открытым небом, в отрядном котле дует ветер — холостяки едят сухари и редко сообща пекут в горячем песке лепешки, да и то лишь когда удаётся на миг пограбить аулы—где же справедливость, небо? Выходит, что и по ночам не спать должны лишь одни бедняки.

— Смотрите, что мы получили? Они нас звали драться за лучшую жизнь? — сказал кривой Яр-Баба, старый туркмен, никогда не имевший жен. — Смотрите—мы деремся жену Непеса, а сами живем, как бараны под кустом. Смотрите, смотрите, что делается...

Лагерь погружался в сон. Семейная жизнь спускалась на кибитки. Гаремы в шалашах дымились под луной, многие джигиты погибли в песчаных боях, жены их оставались без поддержки, к красным идти страшно, они шли вторыми и третьими женами к богачам.

— Надо спать, — сказал Яр-Баба, кривой туркмен, и выстрелил из винтовки.

К нему прибежал дежурный. «Надо спать», — сказал Яр-Баба и, подмигнув единственным глазом, повел постовых в лагерь.

Лагерь поднялся. Все шумели. Костры догорали. Мужчины щелкали затворами. Верблюды проснулись и опрокидывали ведра и бочки. Дети плакали. На бочке горел фонарь «Летучая мышь» и лежал наган дежурного и папаха.

Из кибитки вышли атаманы. Один вышел с черной бородой и в хивинском халате. Он кричал. Другой, тоже в халате, спрашивал у холостяков — чего они хотят. Третий бандатаман шел с портфелем подмышкой, в кальсонах и в клетчатой кепке. Он был раньше членом тедженского райисполкома и был панислаμισмом и призывал всех к порядку. Он вынул карандаш и стучал им по бочке, стучал карандашом по бочке и кричал: «ваше слово», «ваше слово», но все кричали без очереди. Потом он начал писать на бумаге и, сделав важное лицо, прочитал:

«Велик Аллах.

«Именем нашего дела и святого пророка.

«Протокол от седьмого августа.

«Слушали... Постановили...

«Заслушав объяснения товарища Юсуп-Верд ы-Бея...»

Он кашлянул, зачеркнул слово «товарища» и опять сказал:

— Заслушав....

Но его никто не слушал, все продолжали кричать. Молчал один кривой Яр-Баба, он только подмигивал товарищам. Тогда на свет вдруг вышел седой старик, в чалме, с печальным и красивым лицом, с палкой. Все замолчали. Это был святой мулла из Хорезма. Он печально смотрел на всех и, остановившись взглядом на фонаре «Летучая мышь», покача головою:

— Да, я знаю, мне не надо рассказывать, — сказал он, — я и сам давно все вижу. Женщина — колодец зла. Все тяжести, все обязанности должны быть разложены на всех, каждому по его силам, а не только тем, кто женат или холост. Труден путь — пусть каждый приносит свой труд...

— Может быть, мулла пойдет дежурить...— сказал Яр-Баба, прищуря единственный глаз.

Но бандатаман вдруг поднял револьвер и выстрелил в него.

Яр-Баба нагнулся, прыгнул за куст и исчез в темноте ночи.

Постовые вернулись на свое место. В небе горели звезды. Ночь шла. В лагере продолжалась семейная жизнь. Звезды шли к утру...

Перед рассветом постовые услышали свист и увидели за барханами лошадиные морды в белых чепчиках со звездами на лбу. Постовые ничего не сказали. Доброотрядцы в папахах, кавалеристы с бомбами за поясами, с детонаторами у козырьков, туркмены в милицейских фуражках, пригнувшись, прошли мимо постовых.

Спереди шел Яр-Баба. Кавалеристы шли, перешагивая через тела спящих на песке. Это лежали бедняки, спящие после тяжелой работы, навзничь, раскинув руки, храпя открытыми ртами в утреннее небо, — они могли спать спокойно. Кавалеристы прошли к кибиткам. К утру все было кончено.

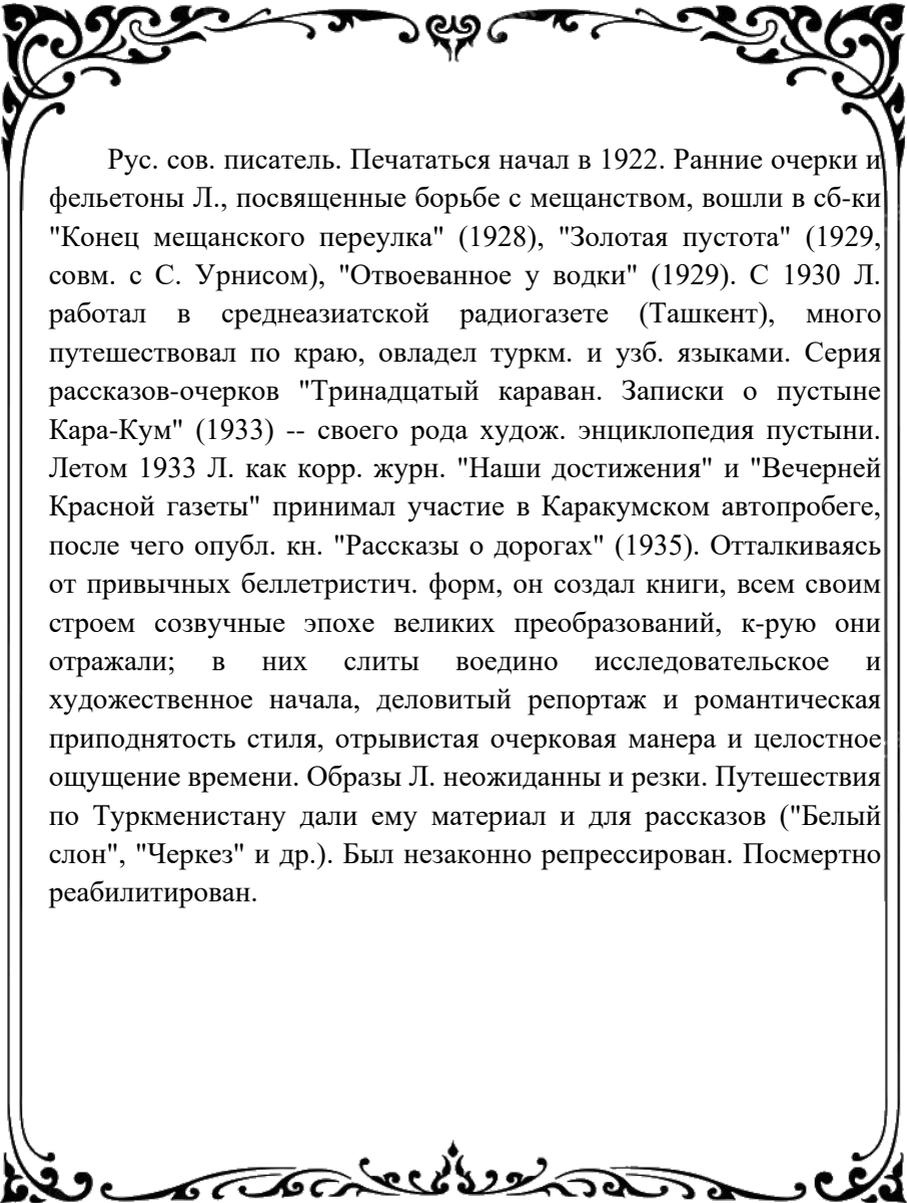
Один из уцелевших атаманов сидел на песке, удивляясь, думая, что продолжается странный сон. Куча винтовок лежала перед командирами в шинелях. Джигиты столпились, в кучу. Их допрашивал командир. На песке лежал портфель бандатамана и его рука. Не было ишана. В его кибитке было движение. У порога сидел на корточках кривой Яр-Баба и направлял винтовку на дверь, заглядывая туда. Он сотрясался от беззвучного смеха и подмигивал товарищам единственным глазом. Наконец, он не выдержал.

— Ай, мулла! Ай, мулла! — кричал он, хлопая себя по ляжкам. — Ну, мулла! Так значит— каждому по его силам? Сколько же ты взял на себя, а?!

Наконец, мулла вышел, удивленный. За ним вышла из кибитки женщина. За ней еще одна. И, наконец, вышли еще две женщины. Ода протирали глаза со сна. Начиналось утро.



ЛОСКУТОВ
МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
(1906 - 1940)



Рус. сов. писатель. Печататься начал в 1922. Ранние очерки и фельетоны Л., посвященные борьбе с мещанством, вошли в сб-ки "Конец мещанского переулка" (1928), "Золотая пустота" (1929, совм. с С. Урнисом), "Отвоеванное у водки" (1929). С 1930 Л. работал в среднеазиатской радиогазете (Ташкент), много путешествовал по краю, овладел туркм. и узб. языками. Серия рассказов-очерков "Тринадцатый караван. Записки о пустыне Кара-Кум" (1933) -- своего рода худож. энциклопедия пустыни. Летом 1933 Л. как корр. журн. "Наши достижения" и "Вечерней Красной газеты" принимал участие в Каракумском автопробеге, после чего опубл. кн. "Рассказы о дорогах" (1935). Отталкиваясь от привычных беллетристич. форм, он создал книги, всем своим строем созвучные эпохе великих преобразований, к-рую они отражали; в них слиты воедино исследовательское и художественное начала, деловитый репортаж и романтическая приподнятость стиля, отрывистая очерковая манера и целостное ощущение времени. Образы Л. неожиданны и резки. Путешествия по Туркменистану дали ему материал и для рассказов ("Белый слон", "Черкез" и др.). Был незаконно репрессирован. Посмертно реабилитирован.

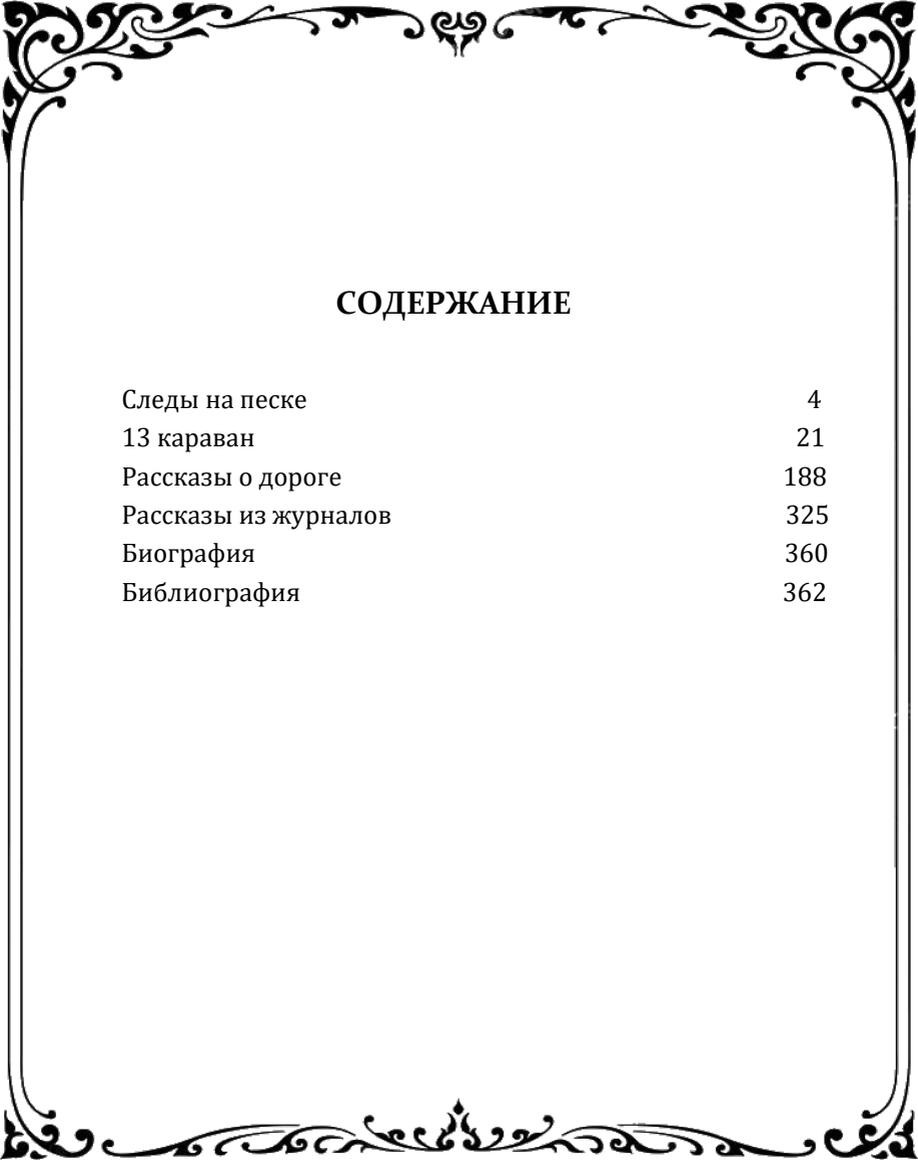
ИСТОЧНИКОВАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

В книге использованы рассказы из журналов «Эхо» 1930, «Вокруг света» 1930.

Тринадцатый караван: Записки о пустыне Кара-Кум. [Для детей старш. возраста] / Рис. В. Эльконина. - [М.] : Мол. гвардия, ф-ка книги "Кр. пролетарий", 1933.

Рассказы о дорогах: [Для старш. возраста]. - Изд. 2. - Л. : М. : Детиздат, "Образцовая" тип. и типо-лит. им. Воровского в Мск., 1936.

Иллюстрации Н.Кочергина, и др.



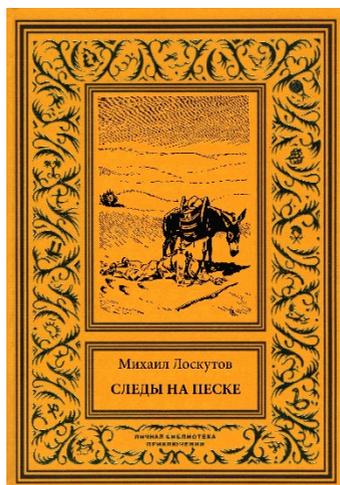
СОДЕРЖАНИЕ

Следы на песке	4
13 караван	21
Рассказы о дороге	188
Рассказы из журналов	325
Биография	360
Библиография	362

Электронное
литературно-художественное издание

ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ • ПУТЕШЕСТВИЯ •
ФАНТАСТИКА



LEO